

Е. П. ГРЕБЕНКА

Е. П. ГРЕБЕНКА

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ



«РАДЯНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК»



Е. П. ГРЕБЕНКА



ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ



„РАДЯНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК"
КИЕВ-1954

ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ ГРЕБЕНКА

История отечественной литературы знает многочисленные примеры, когда украинские писатели одновременно выступали и в украинской и в русской литературе (Котляревский, Квитка-Основьяненко, Шевченко, Марко Вовчок, Старицкий, Леся Украинка и др.). Эти примеры еще раз свидетельствуют о том, что процесс развития украинской литературы шел в тесной связи с развитием русской литературы, что украинские писатели всегда ориентировались на передовую русскую общественную мысль, на русскую литературу.

Евгений Павлович Гребенка пришел в литературу в первой половине прошлого века. Он известен нам, как автор многих басен, большинство из которых вошло в число лучшего наследия украинской классической литературы. Его перу принадлежат также лирические стихотворения на украинском и русском языках, русские романы, повести и рассказы.

Восприняв влияние прогрессивных гуманистических идей времен Отечественной войны 1812 года и восстания декабристов, воспитанный на лучших образцах русской и украинской литературы, народного творчества, Е. Гребенка принадлежал к тому крылу либерального дворянства, которое в общественном развитии России сыграло свою прогрессивную роль.

Общественно-политические условия, в которых начал свою творческую деятельность Е. Гребенка, были неблагоприятными для развития литературы. Это был период жестокой реакции Николая I после подавления восстания декабристов. Смело выраженная мысль и даже незначительный намек на «вольнодумство» жестоко преследовались царскими сатрапами. В 1826 году был учрежден «Третий отдел собственной его величества канцелярии», имевший своим непосредственным заданием строго следить за каждым подданным русского монарха и решительно подавлять любое проявление недовольства

существующим строем. Цензура, по существу, превратилась в настоящий полицейский надзор и обязательно находила «крамолу» даже в тех произведениях, которые совершенно не затрагивали никаких социальных или политических проблем.

Как человек гуманных взглядов, Е. Гребенка понимал несправедливость существующих порядков, в основе которых лежало право господства сильного над слабым, закон социального неравенства. Однако он не пришел к выводу о необходимости замены этого строя, тем более — замены революционным путем. Являясь представителем либерального дворянства, Е. Гребенка считал, что существующий строй необходимо только «улучшить», и тогда все будет хорошо. В его баснях, поговорках, рассказах звучит сочувствие угнетенному и оскорбленному человеку. Он осуждает и высмеивает отдельные черты крепостнической системы — жестокость помещиков, самовластие царских чиновников, взяточничество и т. п. Именно эти «погрешности» существующего строя, по его мнению, и необходимо исправлять. Человек должен быть гуманным, необходимо уважать человека труда, уважать труд других и — вместе с тем — быть довольным своим положением в обществе.

Е. Гребенка обращался и к исторической тематике. Его интересует личность Богдана Хмельницкого, воссоединение Украины с Россией в 1654 году, жизнь и быт запорожских казаков.

В литературном наследии Е. Гребенки большое место занимают лирические стихотворения, рассказы, повести и романы, написанные на русском языке. Украинские буржуазные националисты упорно игнорировали этот факт, провозглашая Е. Гребенку только «украинским байкарем», и лживо утверждали, что его русские произведения «не оставили следа в литературе». Эта явная ложь им была нужна для подкрепления своих враждебных «теорий» о «самобытности» украинской литературы, о ее «отрубности» от великой прогрессивной русской литературы.

Так было и с русскими повестями и рассказами Г. Квитки-Основьяненко, Марко Вовчок, даже Т. Шевченко. Украинские буржуазные националисты не только игнорировали полноценность этих произведений, но и пытались доказать их «враждебность» украинской культуре, «случайность» появления их у украинских писателей. Они делали все возможное, чтобы эти произведения не печатались, не доходили до широких масс читателей.

Но факты говорят о противоположном. Украинская литература развивалась в неразрывной связи с русской литературой, культурой, училась у нее, наследуя ее революционно-демократические традиции. Творчество украинских писателей на русском языке — еще одно доказательство этой многовековой неразрывной и органической связи.

Представители прогрессивной русской литературы внимательно и чутко относились к молодой украинской литературе, к деятельности украинских писателей. Об этом свидетельствует, в частности, отношение великого русского критика-революционера В. Г. Белинского к Е. Гребенке. Отмечая ограниченность мировоззрения Е. Гребенки, указывая на неровность его прозы, на отдельные неудачи, требуя, чтобы он был писателем оригинальным, а не слепо подражал другим, В. Г. Белинский в общем давал положительную оценку многим его произведениям, призывал писателя к дальнейшим творческим исканиям.

Стремление показать жизнь народа, элементы реализма в отражении действительности того времени, использование богатств народного творчества и неисчерпаемых сокровищ народного языка — все это обеспечило Е. Гребенке почетное место среди украинских писателей первой половины XIX века.

* * *

Евгений Павлович Гребенка родился 2 февраля (21 января ст. ст.) 1812 года в имении «Убежище» вблизи города Пирятина на Полтавщине. Отец его в молодые годы служил в армии, но вскоре вышел в отставку и, возвратясь домой, занялся своим имением. Было у него 50 «душ» крепостных. После смерти первой жены он женился вторично. Сыном от второй жены — Надежды Ивановны Чайковской — был Евгений Павлович.

Начальное образование Е. Гребенка получил дома. Первое время его воспитывала няня (крепостная), о которой он потом вспоминал в своих письмах с чувством глубокой благодарности. С большим вниманием он слушает ее песни, сказки, рассказы. Так перед ним еще в детстве раскрывалась богатая сокровищница народного творчества.

В 1825 году, когда Евгению Павловичу исполнилось 13 лет, его отдают на учебу в Нежинскую «гимназию высших наук» (позднее эта гимназия была превращена в лицей). Гимназиальные программы далеко отставали от требований, подсказываемых самой жизнью, и ни в какой степени не могли удовлетворить интересующуюся всем молодежь. Занятия по словесности и поэзии велись на очень низком уровне. Преподаватель литературы Никольский был верным стражем «канонов» классики (хотя и сам писал оды и поэмы), русскую литературу он признавал только до Хераскова и Державина (отчасти Карамзина), а о Пушкине и его современниках не хотел даже и слышать. Поэтому воспитанники лицея, которые по-настоящему любили и интересовались литературой, вынуждены были изучать ее самостоятельно. К числу таких лицеистов принадлежал и Е. Гребенка.

В одном из старших классов этого лицея учился Н. Гоголь, а также в этом лицее учились писатели и фольклористы Н. Кукольник, В. Забила, А. Афанасьев-Чужбинский.

В тот период во многих учебных заведениях было традицией выпускать рукописные журналы, в которых помещались художественные произведения. Такой журнал издавался и в Нежинском лицее. В этом журнале Е. Гребенка помещал свои рассказы и стихотворения.

Литературные интересы Е. Гребенки были довольно обширными: он увлекается произведениями Котляревского (в частности «Енеїдою»), Пушкина, Козлова, изучает зарубежную литературу. В 1828 году он читает в рукописном списке «Горе от ума» А. Грибоедова.

В 1829 году Е. Гребенка впервые выступает публично со своим произведением — перед учениками класса читает стихотворение «Степной курган», написанное на русском языке (в 1834 г. это стихотворение было напечатано в журнале «Сын отечества»). В это время Евгений Павлович начинает работу над переводом поэмы А. Пушкина «Полтава». Началу этой работы предшествовало глубокое изучение материалов по истории Украины, исторических песен и рассказов, которые присылала ему сестра.

В 1831 году Е. Гребенка окончил лицей и спустя несколько месяцев поступил на военную службу в 8-й Малороссийский казачий полк. Время пребывания на военной службе было непродолжительным, вскоре он подает в отставку и в 1834 году приезжает в Петербург. В этом же году Е. Гребенка издает сборник сказок и лирических стихотворений «Малорусские приказки». Сборник пользовался большим успехом, о чем свидетельствует тот факт, что в 1836 году появляется второе издание книги.

Свою службу в Петербурге Е. Гребенка начал в канцелярии Комиссии духовных училищ. Однако его не могла удовлетворить сугубо канцелярская работа, и в 1838 году он поступает преподавателем русского языка и литературы в Дворянский полк, затем в Кадетский корпус, а еще позже — в институт корпуса горных инженеров. Кроме литературы и языка, он преподает минералогию, ботанику, зоологию.

Во время пребывания в Петербурге Е. Гребенка принимает активное участие в литературной жизни. После выхода его перевода поэмы «Полтава» с посвящением А. Пушкину он познакомился с автором поэмы, который чутко и внимательно отнесся к молодому писателю. Вскоре Евгений Павлович сближается с Т. Г. Шевченко и принимает участие в освобождении поэта от крепостной зависимости.

Начиная с 1838 г., в журналах и альманахах систематически печатаются произведения Е. Гребенки. Большинство из них посвящено жизни интеллигенции и чиновничества.

«Малорусские приказки» и другие произведения Е. Гребенки делают его известным среди русских писателей и критиков. Он бывает на литературных вечерах, устраивает их у себя дома. Его вечера посещают известные деятели русской и украинской литературы и искусства: Панаев, Даль, Григорович, Якубович, Маркевич, Сошенко. Приблизительно с 1837 года эти вечера начал посещать и молодой Т. Г. Шевченко. В своих «Литературных воспоминаниях» Панаев указывает, что на этих вечерах иногда бывал также В. Г. Белинский. Здесь велись оживленные споры на литературные темы, возникали и обсуждались планы отдельных изданий.

В 1838 году Евгений Павлович ведет переговоры с Краевским об издании на украинском языке «Литературных прибавлений» к журналу «Отечественные записки». Он начинает собирать материалы для этих «приложений», но планы не были осуществлены. Весь собранный материал писатель включает в альманах «Ластівка», изданный в 1841 году. В этот альманах вошли произведения Т. Г. Шевченко («Причинна», «Вітре буйний», «На вічну пам'ять Котляревському», «Тече вода в синє море»), Г. Квитки-Основьяненко («Сердешна Оксана»), поэтические произведения самого Е. Гребенки, а также стихотворения В. Забилы, Л. Боровиковского и др.

Вместо предисловия к альманаху «Ластівка» Е. Гребенка помещает очерк «Так собі до земляків» и послесловие «До побачення», рисуя в них в идиллических красках жизнь на Украине, где «і степи, і ліси, і сади, і байраки, і щуки, і карасі, і вишні, і черешні, і усякі напитки, і добрі коні, і добрі люди — усе є, усього багацько». Писатель рассматривает красоту природы Украины и ее богатства глазами восторженного помещика. Это выступление Е. Гребенки получило резко отрицательную оценку В. Г. Белинского.

В литературе Е. Гребенка выступал весьма активно. Он часто печатается в «Отечественных записках» (1840—1844), в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду», которые затем были преобразованы в «Литературную газету» (1838—1844), в «Современнике» (1844—1848), в литературных альманахах.

В 1845 году в Петербурге, под редакцией Н. Некрасова, был опубликован сборник «Физиология Петербурга». В нем наряду со статьями В. Г. Белинского, Н. Некрасова, И. Панаева, Д. Григоровича были и статьи Е. Гребенки.

В 1847 году Е. Гребенка начал собирать все свои напечатанные произведения для издания полного собрания сочинений. В этом же году он издает четыре первых тома, а еще четыре — в следующем году. Смерть помешала выполнить все издание до конца.

Переправляясь через Неву, Евгений Павлович простудился и заболел. 15 декабря (3 декабря ст. ст.) 1848 года писатель умер.

* * *

Начало литературной деятельности Е. Гребенки, продолжавшейся почти двадцать лет, относится еще ко времени его учебы в Нежинском лицее; последние повести и рассказы написаны в 1848 году.

Басни Е. Гребенки находятся на достаточно высоком идейно-художественном уровне, что и обеспечило им большую популярность, сохранившуюся и до нашего времени.

Сознательно подражая знаменитому русскому баснописцу Крылову, Гребенка все же не стал на путь только подражания своему учителю. В его баснях мы находим своеобразный местный колорит, знание народной жизни и быта, умелое использование лучших образцов народного творчества.

Фольклорная основа басен Е. Гребенки делала их понятными для широкого круга читателей, придавала им исключительную простоту и ясность. «Его басни, — писал Иван Франко, — отличаются ярким национальным и даже специально левобережным украинским колоритом, здоровым юмором и не менее здоровой общественной и либеральной тенденцией».

Писатель рисует социально-бытовые картины, критикует своеволие царского государственного аппарата, взяточничество, круговую поруку, интриганство, продажность суда, бахвальство и т. п. И хотя сам автор не делает смелых выводов, оставаясь верным своим либерально-умеренным взглядам, — в отдельных случаях реальные факты жизни, которые становятся объектом художественного изображения, сами толкают читателя на широкие и четкие обобщения.

К лучшим басням Е. Гребенки могут быть отнесены такие, как басня «Ведмежий суд», являющаяся острой сатирой на царское правосудие, показывающая бесправие простого человека перед теми, кто обладает деньгами и властью; басня «Рибалка», в которой писатель подымает голос протеста против социальной несправедливости, взяточничества и круговой поруки; басня «Віл», изобличающая жестокость и лицемерие крепостников, и ряд других.

В «Малорусских приказках», кроме басен, Е. Гребенка поместил также несколько лирических стихотворений: «Українська мелодія» («Ні, мамо, не можна нелюба любить»), «Маруся», «Човен» и др. Основной мотив этих произведений — выражение протеста против насилия над человеком и его чувствами.

Значительное количество стихотворений Е. Гребенки написано на русском языке. Некоторые из них получили высокую оценку В. Г. Белинского, который отмечал, что они украшали столичные журналы. Лучшие из них — «Поехал казак на чужбину далеко», «Очи черные, очи страстные», «Молода еще девица я была». Написанные в духе

народно-песенного творчества, они пользовались широкой известностью, и так же, как и некоторые лирические стихотворения на украинском языке, стали популярными песнями.

* * *

Прозаическое наследие Е. Гребенки неравноценно как по своей идейной направленности, так и по художественному уровню. Наряду с повестями и рассказами, написанными в реалистической манере, правдиво изображающими отдельные стороны действительности, мы встречаем и произведения, в которых писатель идет по пути идеализации жизни крестьян, рисует ее в идиллических тонах. Среди многочисленных произведений писателя есть и совершенно беспомощные. Однако лучшими своими романами, повестями и рассказами, печатавшимися в «Отечественных записках», «Литературной газете», «Библиотеке для чтения» и др., Е. Гребенка завоевал симпатии читателя и получил одобрительную оценку даже такого требовательного критика, как В. Г. Белинский.

В 1837 году выходит из печати первый сборник прозаических произведений Е. Гребенки на русском языке «Рассказы пирятинца». С этих пор уже до конца своих дней писатель больше не возвращался к жанру поэзии.

«Рассказы пирятинца» не представляют собой чего-то особенно оригинального в русской литературе того времени. Они свидетельствовали о том, как молодой прозаик подражал лучшим образцам, уже широко известным произведениям, но, к сожалению, далеко не достигал их художественного уровня.

Образцом, которому следовал Е. Гребенка, были произведения Н. В. Гоголя, и в частности, его «Вечера на хуторе близ Диканьки». Как у Гоголя повествование ведется от имени пасечника Рудого Панька, так и Е. Гребенка в названии своей книги говорит, что он только фиксирует рассказы человека из Пирятина.

Подобно Гоголю, Е. Гребенка широко использует народное творчество — воспроизводит легенды, предания, рассказы. Но если Н. Гоголь к фольклорным образцам подходил творчески, в результате чего читатель получал высокохудожественное оригинальное произведение, то Е. Гребенка не достиг этого и ограничился тем, что шел уже по проложенному пути.

О том, каким образцам следовал Е. Гребенка, он сам говорит в рассказе «Телепень»:

«О, рудый Панько! Дай мне твоего волшебного пера начертать хоть слабую картину летней малороссийской ярмарки, представить этот водоворот двуногих и четвероногих, этот нестройный шум, говор,

мычание, ржание, крик, хохот, брань, песни; изобразить живописные кучи румяных яблок, пирамиды арбузов, золотые горы дынь. Много я написал бы, но все это будет слабое подражание. Прочитайте лучше «Сорочинскую ярмарку» нашего Панька...»

Рассказы «Двойник», «Страшный зверь», «Телепень», «Месяц и солнце», «Потапова неделя», из которых составлен сборник «Рассказы пирятинца», написаны в романтическом духе. В основе каждого из них лежит какая-то легенда или народное предание.

Так, в рассказе «Страшный зверь» («Народное предание») автор повествует о казаке Иване и его двух сыновьях. В сад к ним начал забираться страшный зверь. Старший сын пошел его ловить и проспал ночь. На вторую ночь пошел младший сын и убил страшного вепря. Но когда он возвращался домой, его убил старший брат. Пришла весна. На могиле младшего брата выросла болиголова, из которой пастух сделал «чудо-свирель». Печальная песня полилась, когда он приложил ее к губам:

По малу, малу, овчарю, грай,
Не врази мого серденька вкрай.
Мене брат убив, на лугу зарив,
За того вепря, що в саду рив.

Так был разоблачен убийца, который «долго бродил по лесам и пустыням и влачил жизнь, очерненную пагубным злодеянием», пока и сам не умер страшной смертью.

Такие же по своему содержанию и форме другие рассказы этого сборника; они свидетельствуют о том, что в то время писатель еще далеко стоял от изображения реальной жизни. Только в отдельных местах мы встречаем отдельные намеки на современность и даже некоторые реалистические картины. Так, рассказ «Потапова неделя» оканчивается словами:

«О, господи! Какое несчастие! — говорили слушатели. — А давно ли, подумаешь, прошлое воскресенье он с нами вот тут под трактиром бранил нового управителя и пил водку, как человек в добром рассудке!»

Тематика сборника «Пирятинские рассказы» нашла свое отражение и в некоторых более поздних произведениях писателя, в частности — «Вот кому зозуля ковала», «Мачеха и панночка» и др.

Как своими социально-общественными взглядами, так и талантом Е. Гребенка значительно уступал Н. Гоголю. Этим и можно объяснить то, что его рассказы лишены своеобразия и оригинальности, что они являются лишь более или менее удачной обработкой сюжетов народного творчества.

За время с 1838 по 1842 гг. были опубликованы новые произведения Е. Гребенки: «Братья», «Путевые записки зайца», «Верное лекар-

ство», «Записки студента», «Кулик», «Нежинский полковник Золотаренко» и др. Среди них особенно выделяется небольшая повесть «Кулик», в которой рассказывается о трагической судьбе двух крепостных, оказавшихся жертвой помещичьего произвола.

В повести правдиво изображена пустая паразитическая жизнь помещиков-крепостников. К отставному поручику Медведеву приезжает разорившийся помещик Чурбинский, которому, скуки ради, Медведев помогает жениться на дочери богатой вдовы-помещицы Фернамбук. Неожиданно между этими семьями возникает ссора: Медведев считает, что его оскорбляют тем, что подают на стол кушанья с «деревянным маслом», а Фернамбукова считает, что Медведев вмешивается в дела ее имения. Эта распря не стоила бы и гроша, но трагедия заключается в том, что это решило судьбу двух крепостных — Петрушки и Маши, глубоко и сердечно полюбивших друг друга. Чурбинский категорически отказывается продать Машу Медведеву и назло своему «врагу» готовится отдать ее замуж за старого приказчика Потапыча.

«Да у меня для Марьи есть жених получше этого сорванца, я ее сделаю счастливою. Позвать ко мне Машу». — «Я пришла ни живая, ни мертвая». — «Послушай, Маша, — сказал барин, — я давно хочу наградить тебя за службу и составить тебе партию. Потапыч, наш приказчик, очень желает на тебе жениться; я, со своей стороны, согласен... Что же ты молчишь?» — «Помилуйте, барин, — сказала я,— у приказчика дети от первой жены старше меня; мне Потапыч годен в отцы, а не в мужья». — «Дура!.. А богатство его разве ничего не значит?»

И когда бедная девушка наотрез отказалась выйти замуж за Потапыча, помещик-самодур приказал обвенчать ее с дурачком Фомкой, «что пасет господских свиней; правда, он не пересчитает на руках пальцев, зато человек молодой...»

Не видя выхода из создавшегося положения, Петрушка и Маша решают умереть. Петрушка застрелил Машу, но ему помешали покончить жизнь самоубийством и бросили в тюрьму, где он вскоре и умер. Когда Медведев спросил своего соседа, что нового в городе, тот ответил: «Новенького? Гм! Особенного ничего. Разве, что ваш Петрушка вчера умер». И потом добавил: «Впрочем, вы тут много виноваты: зачем было давать ему читать книги?!! Сам бы не выдумал такой штуки!»

Смерть крепостного для помещика-крепостника не представляла собой «ничего особенного», он сожалел только о том, что потерял еще одного работника.

В повести дана реалистическая картина жизни помещиков, их жестокости и самодурства, их скупости и ханжества. Так, помещик

Чурбинский, который разорился до того, что даже не имел фрака, чтобы венчаться со своей невестой, получив после женитьбы богатое имение, не забывает все же такой мелочи, как то, что в городе остался горшок масла. Он пишет своему знакомому:

«И еще сделайте одолжение: у меня на квартире остался горшок коровьего масла, подаренный мне Катериною Федоровною; масло очень хорошее, доброго качества и приятного вкуса; его было десять фунтов, мною израсходовано оного масла 2 фунта, следственно, осталось 8; без меня же оно убыть не могло, ибо, уезжая, я запечатал горшок собственною моею вензелевою печатью, а потому возьмите на себя труд, посмотрев предварительно, не нарушена ли печать, взять горшок и приказать вашему Петьке продать заключающееся в нем масло; еще раз повторяю, что масло очень хорошее, чтобы Петька при продаже не опростоволосился».

В. Г. Белинский, внимательно следивший за всем, что появлялось в литературе, писал об этом произведении:

«Кулик» — повесть г. Гребенки — показывает, что замечательное дарование этого автора крепнет и что гуманное начало начинает, в его повестях, брать верх над комическим элементом. «Кулик» — одна из лучших повестей последнего времени. Нельзя не завлечься его живым рассказом, нельзя не тронуться ее развязкой, трагической без всякой натяжки. Особенно хорошо в ней то, что автор умел представить своих героев верно с действительностью, т. е. людьми низшего класса и в то же время «людьми», и возбудить к ним участие, не становя их на ходули ложной и притворной идеализации» *.

Положительную оценку дал В. Г. Белинский и другому произведению Е. Гребенки — «Путевые записки зайца», указав также на его слабые стороны: «Эта книжечка издана очень мило... Что касается текста, в нем много хорошего, жаль только, что он растянут. Похвалы старине, которыми г. Гребенка начинает свою книжку, могут показаться немного странными. Но все это не беда, потому что картинки — повторяем, прекрасные» **.

К лучшим произведениям Е. Гребенки можно отнести его «Записки студента», во многом носящие автобиографический характер. По существу — это рассказ писателя о своих детских годах, учебе в лицее, службе в армии. Вместе с тем в повести использованы непосредственные впечатления и наблюдения Е. Гребенки после его приезда в Петербург.

Особенно сильно написана та часть повести, в которой рассказывается о жизни героя в Петербурге. Петербург был городом, куда

---

* В. Г. Белинский, Сочинения, т. V, стр. 510—511.
** В. Г. Белинский, Сочинения, т. VIII, стр. 495.

многие стремились в поисках счастья, службы, чинов. Сюда с надеждой на протекцию своего дяди-генерала приехал и герой повести. Генерал встретил своего племянника довольно холодно: «Когда я ему отдал письма, он, не читая их, подал мне два холодные как лед пальца и хладнокровно проговорил: — Очень рад, садитесь. Вы вероятно приехали на службу? — Точно так.— Здесь чрезвычайно трудно доставать места по статской службе». Мечты рушились. Город встречал героя сурово.

«Грустно я вышел на улицу. Мой дядюшка человек надутый; его дети жалкие, пустейшие создания. Никогда нога моя не будет в этом доме. Если бы мне пришлось умереть на улице от холода, я не укроюсь у него под воротами».

Начинаются длинные и безрезультатные поиски службы. Лишь в одном департаменте герою повести дали работу, дали только потому, что директору показалось оригинальным и неслыханным — человек ищет работу без протекции! «Удивительное приключение! Я сегодня же расскажу об этом в Английском клубе — похохочет князь Федот!..»

Много тяжелых испытаний пришлось пережить герою повести «Записки студента» во время его пребывания в Петербурге. Карьеризм, невежество, слежка и доносы, тупость и самодовольство — вот что видит автор в окружающей его действительности. Понятия честности и разума, справедливости и доброты отодвинуты на последний план. Даже родственные связи, когда один богат, а другой беден, не играют никакой роли.

Морали господствующего класса Е. Гребенка противопоставляет мораль простых людей. Не родной дядя-генерал, а простая старая женщина оказывает помощь герою повести в последние дни его жизни. На свои деньги она его и хоронит.

Подчеркивая это, Е. Гребенка пишет:

«Недавно члены какого-то человеколюбивого общества, сложась по четвертаку, схоронили безродного бедняка. Целую неделю говорили об этом поступке, и восемь статей было написано о нем в газетах...

Передо мною стояла простая, необразованная баба, которая, не будучи членом человеколюбивого общества, не складываясь ни с кем, на последние деньги, как могла, хоронила своего бедного собрата-человека и, как мне казалось, даже далека была от мысли публиковать о своем пожертвовании».

О судьбе «маленького человека» в условиях помещичье-крепостнической действительности рассказывает писатель в романе «Доктор».

В первой части романа говорится о детских и юношеских годах

Ивана Тарасовича Севрюгина. Погоня за деньгами, за богатством ведет к разрушению каких бы то ни было, далеких или близких, семейных отношений.

Сестра Ивана Тарасовича — Лиза выходит замуж за сына помещика Волдырева — Федора. Но вскоре умирает отец Лизы — Тарас Иванович. Разорившемуся Волдыреву нужны деньги, и он при помощи Лизы отбирает у ее матери имение, а мать и Ивана Тарасовича изгоняет из имения.

Сначала Иван Тарасович живет в небольшом городке вместе с матерью, затем отправляется в Петербург, где мы встречаемся с ним лет через десять, когда он уже стал доктором.

Своей честностью, искренностью, человечностью он завоевал известность и любовь среди бедняков города. Только один раз он «лечил» какую-то княгиню, которая на балу «покушала через меру каких-то упоительных бомбошек».

«— Нет, он больше не увидит моего дома. Представь, я ему говорю серьезно, а он отвечает мне: пустое! Так просто по-русски пустое! Точно кучер!..

— Ах, он грубиян!..

Принесли лекарство, и княгиня с ужасом прочла на коробочке: цена 40 копеек серебром.

— Посмотри, — закричала она кузине, — сорок копеек! Он мне приписал какого-то яда! Сорок копеек!

— Сорок копеек! — и кузина принялась хохотать.

— Да моей болонке, моему Сачо, порядочный собачий доктор прописал пилюлю в двадцать пять рублей, а этот!..»

Казалось бы, что Иван Тарасович достиг того, о чем мечтал. Но он был «маленьким человеком», к тому же честным и доверчивым, и жизнь в концеконцов жестоко смяла его. Вначале неудачный брак, затем бесконечные и разорительные вымогательства родственников жены — все это быстро довело его до нищеты. Первое время Иван Тарасович скитается по ночлежкам и трактирам, а потом приходит в свой городок, где и замерзает зимой на улице.

Много правдивого мы находим в этом романе Е. Гребенки. Хотя писатель еще и не доискивается причин трагедии Ивана Тарасовича, не пытается обобщать факты, а только фиксирует цепь событий, но и они говорят сами за себя.

Как герой повести «Записки студента» находит поддержку у простой старой женщины, так и Иван Тарасович встречает сочувствие у человека бездомного и почти нищего — Щелкунова.

Роман «Доктор» в свое время пользовался популярностью среди читателей. В одной из своих статей В. Г. Белинский отмечал, что это произведение имеет «много хорошего в подробностях».

Е. П. Гребенка выступал и в жанре исторического романа. Исторической тематике посвящены его романы «Нежинский полковник Золотаренко» и «Чайковский».

В первом романе рассказывается о том, как «наказной» гетман войск Богдана Хмельницкого нежинский полковник Золотаренко с полками казаков идет на помощь русскому царю Алексею, который вел борьбу с польской шляхтой, захватившей исконные русские земли, в том числе города Смоленск, Старый Быхов и др. Совместными действиями русские войска и казаки вынуждают неприятеля отступить. При освобождении города Старый Быхов полковник Золотаренко был убит.

В этом романе автор в основном идет за известной ему историографической литературой: «Историей малой России» Бантыш-Каменского и «Историей Руссов» псевдо-Кониского. Произведение написано в романтическом плане. Это относится и к рассказу о верной любви дочери полковника к демоническому лиходею Францишеку, и к рассказу о смерти полковника Золотаренко от серебряной пули, и к лихим предчувствиям при взятии Старого Быхова, пожару — в церкви, где лежал труп полковника, и т. п.

Роман «Чайковский» посвящен изображению исторического прошлого Украины. К работе над этим романом Е. Гребенка очень много готовился — изучал исторические материалы, легенды и рассказы о жизни и быте Запорожской Сечи, о походах и битвах запорожских казаков. Все это в значительной степени помогло писателю создать целый ряд правдивых картин из жизни прошлого нашего народа.

События, описанные в романе, произошли, как об этом утверждает автор, «в Пирятине лет двести-триста назад». В Пирятине живет лубенский полковник Иван с дочерью Мариной. В нее влюбляется сын местного священника Алексей, который после смерти своего отца возвращается из Киева. Полковник, узнав об этом, грозит Алексею, и тот вынужден бежать в Сечь, где его вскоре избирают войсковым писарем. Он принимает участие в морских походах казаков и храбростью заслуживает любовь и уважение своих товарищей.

Марина, узнав, что Алексей находится в Запорожской Сечи, одевается казаком и прибывает в Сечь, куда женщинам, под страхом смертной казни, запрещалось появляться. Сюда же приезжает и Герцик, приближенный полковника, с просьбой помочь полковнику в борьбе против татар. Он узнает Марину и выдает ее. По существующим законам Сечи и Алексей и Марина подлежат смертной казни, но их спасают товарищи. Обвенчавшись, они уезжают на зимовник старого казака Касьяна.

В это время Пирятин осаждают татары. Во время боя, преданный

Герциком, полковник смертельно ранен и вскоре умирает. Герцик завладевает его имением. Чтобы избавиться от Алексея и забрать себе Марину, в которую Герцик влюблен, он едет на зимовник. Однако ему не удалось осуществить свой коварный замысел — он гибнет от укуса ядовитой змеи.

Значительно лучше написана первая часть романа. В ней правдиво обрисованы жизнь и быт казаков в Запорожской Сечи, жизнь полковника и его окружение, походы казаков, природа Великого Луга, борьба с татарами и т. п. Во многих местах эта часть имеет большое познавательное значение.

В повести Е. Гребенка правдиво рассказывает о суровой жизни казаков, об их товариществе и братстве, о храбрости и мужестве, о верности своей родине, своему священному долгу.

В романе «Чайковский» мы встречаем большое количество действующих лиц, но, к сожалению, лишь отдельные имеют свои ясно очерченные характеры. Многие нам известны только по собственным именам да кратким объяснениям автора — кто они.

Интересно обрисован образ лубенского полковника. Это представитель казацкой старшины, которая постепенно превращалась в украинских феодалов. Используя свою власть, представители казацкой верхушки сосредоточивали в своих руках землю, а своих подчиненных ставили в положение крепостных.

Полковник — владелец многочисленных имений, он никогда и никому не уступит ни одного куска земли. Когда к нему является сотник с просьбой продать небольшой надел земли, полковник крайне возмущен. Вспоминая об этом, он говорит:

«...Взял его за воротник, вывел на крепостной вал и спрашиваю: «А где солнце всходит?» — Там, — отвечал сотник. «А заходит?» — Вон там, сказал он. — «Так знай же, пане сотник, что и всходит и заходит солнце на земле полковника, на моей земле то есть, понимаешь? А ты, поганое насекомое, посягаешь на мою славу, хочешь оттягать у меня землю? Хлопцы, нагаек!..»

С искренней симпатией нарисован автором романа образ Марины. Она — «героиня повести», как назвал ее В. Г. Белинский. Марина — девушка смелая, волевая, решительная, верная любви. Она не колеблется в своем решении встретиться с Алексеем — обрезает девичью косу и прибывает в Сечь, пренебрегая смертельной опасностью, которая угрожает ей.

Значительно бледнее образ Алексея. В его действиях нет той решительности и энергии, которые характеризуют девушку. Исключением, разве, может служить эпизод, когда во время морского похода Алексей собирается броситься в море, чтобы спасти своих товарищей.

Роман «Чайковский» нашел признание среди читателей, его положительно оценила также критика. В одной из своих статей В. Г. Белинский писал:

«Чайковский» г. Гребенки исполнен превосходных частностей, обнаруживающих в авторе несомненное дарование. Характер полковника, отца героини повести, многие черты исторического малороссийского быта поражают своей поэтической верностью. Но целое этой повести не выдерживает строгой критики. Особенно вредит ей мелодраматизм. Мстительная цыганка колдунья, злодей Герцик, кстати укусившая его змея — все это мелодраматические эффекты. Тем не менее, повесть г. Гребенки была одною из лучших повестей прошлого года» *.

«Скажем более, — писал В. Г. Белинский в другом месте, — в какой из прежних повестей найдется столько поразительно верных действительности черт, столько дельных сторон, как в Чайковском, повести г. Гребенки» **.

Высокую оценку романа «Чайковский» дал также Иван Франко. Во Львове роман был переведен на украинский язык. И. Франко отмечал, что эта книга «была излюбленным чтением галицко-русской молодежи в 60-х и 70-х годах» ***.

В произведениях Е. Гребенки на исторические темы чувствуется героизация исторических событий, писателя интересуют и увлекают, прежде всего, образы героев борьбы против захватчиков и угнетателей. В условиях современной писателю действительности это, в некоторой степени, звучало как призыв — любить свою землю, свой народ и его героическое прошлое.

Если упомянутые произведения имеют явно романтический характер, то ряд других повестей и рассказов написан в плане «натуральной школы» Н. Гоголя. Это проявилось прежде всего в социально-актуальной тематике, к которой обращается писатель, в правдивости изображения тех или иных общественно-важных явлений или представителей различных социальных групп; это сказалось и в отношении самого художника к изображаемым фактам.

Прозаические произведения Е. Гребенки на русском языке, может быть, не могут сравниться по силе с его баснями, которыми он так прочно вошел в украинскую классическую литературу, тем не менее лучшее из его прозы является такой же ценной частью литературного наследия писателя.

---

* В. Г. Белинский, Сочинения, т. VIII, стр. 412.

** В. Г. Белинский, Сочинения, т. IX, стр. 72.

*** И. Франко, Очерки истории украинско-русской литературы, Львов, 1910 г., стр. 94.

* * *

Е. П. Гребенка, как представитель мелкого дворянства, не поднялся к смелому и открытому протесту против мира рабства и угнетения, против крепостничества. Симпатии писателя были на стороне угнетенного, обездоленного, бесправного, но честного, морально чистого человека труда. Ограниченность мировоззрения и оторванность писателя от жизни простого народа не дали ему возможности создать обобщенные картины общественной жизни того времени. Рядом с прогрессивными стремлениями, гуманизмом в его взглядах уживались также элементы консерватизма, патриархальщины. Е. Гребенка принадлежал к той группе писателей, о которых Н. Г. Чернышевский говорил как о людях, не всегда умеющих различать в жизни и быте плохие и хорошие стороны, а поэтому иногда идеализировавших такие стороны, от которых отворачивался уже сам народ. И все же бесспорным является тот факт, что писатель стоял близко к демократическому направлению в литературе и искусстве первой половины XIX века.

А. Дьяченко,
кандидат филологических наук.



РАССКАЗЫ ПИРЯТИНЦА

ДВОЙНИК

Быль

I

Ни холодно було, ни душно
А самое так як в сиряках;
И весело и так не скушно,
На великодных мов святках.

И. Котляревский.

Праздник, праздник! Кто тебя не любит? Не сам ли бог назначил человеку день для отдохновения? И это был венец творчества. Шесть дней кипели силы природы по воле святого зиждителя, и в седьмой юная земля, как невеста, засверкала, в алмазной короне гор, обыскренная лучами солнца, обвитая зеленью лесов и синевою моря. Все было чисто, светло, спокойно. Земля имела царя-человека, и великий зодчий, смотря на свое творение, с улыбкой отдохнул от трудов. Это был первый праздник мира; что может быть святее начала его? Говорят, в Н...ской семинарии написано много пудов хрий, и *порядочных* и *превращенных,* о пользе труда, и ни одной строчки о прелести успокоения. Очень хорошо! Прекрасно! Но ради чего вам угодно, господа писатели хрий, не представляйте вашу жизнь аспидною доскою, исчерченною серенькими цифрами. Везде математика, работа уму — и ничего сердцу! Утешительна мысль о будущей жизни: там мы, усталые путники, положим свой посох и ношу... отдохнем.

Я люблю Италию за ее dolce far niente, уважаю на Востоке один кейф и, как уроженец Малороссии, могу ли не обожать праздников? Только я не люблю их в шумном городе, где какой-нибудь бедняк на занятые деньги нанимает извозчика, надевает лучшее платье и, под дождем и стужею, с самой зари отправляется бороздить уличную грязь в возможных геометрических направлениях; с улыбкою на губах и досадою в душе, записывает в передних свое имя, которое никто не читает, или проговаривает заученные поздравления, которых никто не слушает. Не правда ли, это нисколько не весело?

То ли дело праздник в деревне! Поутру благочестивые собираются к обедне; обедня кончилась, и все гуляют, как вздумается. Там не косятся на меня, что я приехал в черном галстуке; там я смеюсь громко и еще громче спорю, о чем мне угодно. Удивительно хороша жизнь нараспашку.

К моему дядюшке, бывало, в праздник наедет, боже мой! сколько добрых людей: ближний наш сосед с женою, наша соседка с своим мужем, отставной полковник, трехфутовая фигурка, вечно зашитая в мундирный сюртук; бывший заседатель Иголочкин, подлинно прямой человек — во всю жизнь я ничего не видывал подобнее аршину; еще кто-то в шалоновом сюртуке, еще кто-то в белой жилетке, еще и еще... да их всех и в день не описать!

А вот, видите ли в углу старика с крестом на шее? С ним не шутите: он смотрит в землю, а далеко кругом видит; «он дока», говорят мои земляки; не имея ничего, дослужился до чинов и крестов и благоприобрел в вечное и потомственное владение славную деревеньку, с лугами и лесами, и мельницами, и рыбными ловлями, и прочая — так написано в крепостном акте. Прочтите, когда не верите; это должно быть в архиве. Говорят злые люди, *якобы* он продавал... ну, продавал все, что можно продавать... Да это чистая ложь: посмотрите, какой он смирный!

Вот новоиспеченный помещик Евсей Кузьмич Носков. Он служил подпоручиком в пехоте и носил под мундиром отчаянные манжеты. Укравши назад год и два месяца в нашем уезде себе невесту, он вышел в отставку и сделался помещиком. Впрочем, он добрый малый и в больших связях: в Петербурге его короткий приятель в какой-то канцелярии служит журналистом. «Может, говорит Евсей Кузьмич, он теперь заважничал; а прежде мы с ним жили душа в душу».

Вот еще Иван Иванович, Петр Петрович, Федор Федорович — рекомендую: порядочные люди; не смотрите, что они так неловко кланяются — не столичные!

А дядюшку и забыл было! Не того дядюшку, у которого собираются гости,— этот сам по себе, а другого дядюшку, прелюбезного человека! Видите, в сером казакине, с отложным воротником, и в сапогах с острыми китайскими носками, смеется себе мой дядюшка. Экой проказник! Советую с ним познакомиться: у него растут славные арбузы.

Сели за стол. Между тем как хозяйка убедительно просит отведать и борщу с перепелками, и жареной индейки, и каплуна под лимонным соком, хозяин предлагает прохладительное:

— Петр Петрович, не хотите ли рюмочку сливянки? Василий Васильевич, вы охотник до рябиновки: это преполезная настойка. Я ее предпочитаю золототысячнику. А вы какую предпочитаете, Евсей Кузьмич?

— Чужую-с.

Гости хохочут.

— Но что же вы больше пьете?

— Хмельное-с.

Всеобщий смех. Кузьмич и в полку слыл остряком.

Отобедали. Дамы удалились в гостиную, где на столике, покрытом синею ярославскою скатертью, их ожидали плоды и варенье.

Мужчины закурили трубки. Разговор сделался шумнее.

— Святая старина,— басил сосед с орденом,— теперь не то, что было; молодежь стала просвещаться, мечтать, все — рассуждать...

— Смею доложить,— сказал Иголочкин,— мы имеем свои формы...

— Да и как прежде учили! — перебил сосед.— Все великие люди, небойсь, скажете из нынешней молодежи?..

— Об этом-то я вам и докладывал.

— Чтоб у меня не взошла рожь к назначенному сроку! — кричал Носков.— А на что палки растут? Я поставлю на своем! Ох, это хамово племя! Гром не грянет — мужик не перекрестится.

— Но всходы зависят не от приказчика, а от погоды,— заметил кто-то.

— В службе что за отговорки.

Некто в шалоновом сюртуке плюнул и понюхал табаку. Нечто, в белом жилете, сидя в уголку, хохотало до упаду, закрыв лицо пестреньким платочком. И к чему это, подумаешь; как будто лицо — что-нибудь запрещенное? Я полагаю, это так, странность.

— Да не так давно, в семилетнюю войну, не отретируйся Апраксин, мы бы дали немцам *того оно как его,*— пищал, подбоченясь, маленький полковник.— Вот, например, под Грос-Эгерндорфом я приказал моим кирасирам готовиться к атаке, да как крикну: *«того! и ну его»* во весь карьер...

Разговор делался шумнее. Слова и речения, противоречившие друг другу, мешались, сталкивались и отражались в ушах, как цветные стекла в калейдоскопе.

Я предложил моему приятелю Н. прогуляться; мы подошли к дверям. У самого порога стояла наша соседка и, крепко держа за полу своего мужа, спрашивала:

— Куда ты идешь?

— Я имею надобность.

— Какую надобность?

— Да так, душечка, право так.

— Ох, этот мне *так!* Ты вечно не бережешься, сегодня выпил два стакана холодной воды. Так совсем можно охолодить себя. Что со мною будет тогда?..

Тут мой приятель затворил дверь, и мы очутились на свободе.

Это было весною, под светлым небом Малороссии. День вечерел. Зеленые берега реки трепетали в золотых отливах; белые пушистые ветки цветущих черешен, разрумяненные последними лучами солнца, стыдливо выглядывали между темных ветвей дуба; кудрявые яблони наполняли воздух ароматом; спокойная река, как перламутр, менялась в радугах; резвушки-рыбы сновали по ней; яркие серебряные нити ивы прихотливыми всплесками брызгали жидким золотом. А небо — боже мой! — как было хорошо это чистое небо!.. Ни одной тучки, ни одного пятнышка. Только в вышине вился белый голубь; как алмаз горел он в безграничной синеве, все выше, и выше, и... светлою искрою угас в эфире.

Люблю я тебя, милая родина! Роскошна твоя природа, чист и нежен воздух твой; неземным сладострастием он наполняет грудь мою!

На зеленом лугу играют поселяне. Там пестрая толпа

девушек: они поют и вытягиваются длинною цепью, свиваются в венки, развиваются, живою вереницею мчатся по лугу, то, рассыпаясь, ловят друг дружку; звонкие песни их оглашают окрестность.

Далее, парубки играют в мяч. Присутствие *коханок* одушевляет их: с каким старанием один хочет *попятнать* другого! Какие употребляет хитрости и неправды, чтобы криком *наша взяла!* привлечь внимание пары черных глаз. И в деревне для улыбки, для ласкового слова человек старается унизить ближнего. Бедные люди! Верно, такова ваша природа...

Игра в мячи шла превосходно. Тут был *маткою* судовой паныч из ближнего города. Как чертовски играет он! Как теперь гляжу: он скидывает свой светлозеленый нанковый сюртук и остается в панталонах цвета яичного желтка, в красном мериносовом жилете и в огромном галстуке; бережно кладет на землю клеенчатый картуз; поплевал на руки, взял палку, взмахнул, и послушный мяч летит высоко-высоко, чуть видимо! Грех сказать,— судовой паныч мастер своего дела.

Согласитесь, нельзя не любить эту игру. Сколько мыслей приходит в голову, глядя на нее! Не похож ли человек на мяч, часто я думаю, и судьба, как судовой паныч, по прихоти своей заставляет его лететь то выше, то ниже; во всяком случае впереди один финал — падение.

Мы подошли к гулявшим.

Старики не участвовали в играх, а, собравшись в кружок, вспоминали свое молодечество. Старухи, глядя на парубков и девушек, мысленно их сватали и мечтали о будущих свадьбах. Молодежь существенно наслаждалась настоящим. Все были веселы, довольны, счастливы. Чего ж более?

Я смолоду любил сельскую жизнь и посвятил не одну слезу чувствительному Геснеру. Беззаботная радость поселян очаровала меня; я начал идиллически верить в земное счастье людей, как дитя верит сказке няни о безбровом оборотне, как невинная девушка верит клятвам своего любовника; но случай так жестоко уничтожил мои мечтания!

Выливали ли вы сусликов? Верно, нет. А я так выливал. Послушайте. У меня во время оно был учитель-семинарист, высокий, тощий философ, в длинном голубом сюртуке на заячьем меху, с неразрезанными полами и в полу-

ботфортах. Он назначит, бывало, мне урок из латинских вокабул, а сам ходит по комнате, закинув на спину руки; ходит долго, ходит и нюхает табак, еще ходит и свистит; потом берет ведро и отправляется на охоту выливать сусликов.

Латынь для меня пахла гнилью. «Отчего же,— подумал я,— мне нельзя охотиться?», бросил книгу под стол, промыслил ведро воды — и вот я уже в поле.

Приволье — жить в степи! Вышел за двор: вправо волнуются, шумят богатые нивы; влево ярким ковром раскинулся душистый сенокос, вверху звенит жаворонок, а внизу так и шныряют между травою мои неприятели — суслики.

Я скоро нашел норку этого зверя и начал лить в нее воду; вода заурчала и наполнила норку. Я притаил дыхание. На поверхность воды взбежал пузырь и лопнул, за ним другой — и тот лопнул, и вслед за этим показалась мокрая головка суслика. Увидя меня, он попятился назад; назади вода — враждебная стихия; впереди я, человек — существо страшное. Бедный зверек остался неподвижен. Уже жадная рука моя была протянута схватить его и — опустилась: передо мной, со всею педагогическою важностью, стоял учитель; вид его был грозен, лицо пылало, полы сюртука играли с ветром, и указательный перст был поднят кверху...

— Что ты здесь делаешь? — спросил учитель.

— Выливаю суслика.

— Как ты мог сметь это делать?

— Я у вас выучился.

— Э-э-э! Знаешь ли ты: quod licet Jovi non licet bovi? * Понимаешь?..

И, договаривая эту пословицу, он уже тянул меня довольно невежливо домой. О, проклятая латынь! Я не понимал ее, но из дела подозревал в ней что-то недоброе; варварские рифмы Jovi и bovi неприятно отзывались в ушах моих. Этого мало: у нас были гости. Сколько насмешек вытерпел я при чужих людях от злого педагога! Сколько слез мне это стоило!.. Бог с ними, и врагу моему не советую трогать сусликов; пусть они живут в своих норках.

---

* Что прилично Юпитеру, то неприлично быку.

Много лет прошло после этого приключения. Давно уже мой учитель сочетался законным браком; уже его дети бегло склоняют cornu; но я живо помню бедного мокрого суслика, с его испуганною мордочкою, с его глазами, устремленными на меня в каком-то глупом недоумении.

Увеличьте этого суслика аршина в два с четвертью, оденьте в лохмотья, поставьте на задние лапы — это будет верный портрет человека, который попался нам во дворе. Равнодушно смотрел он на игры, напевая что-то вполголоса, и, казалось, не замечал нас.

— Здравствуй, Андрей,— сказал Н., подходя к незнакомцу.

— Здравствуйте, — отвечал он, поворотя на нас свои оловянные глаза.

— Отчего ты не идешь гулять?

— Гулять?.. гм!..

Глупая улыбка искривила лицо Андрея; он почесал в затылке.

— Разве ты не хочешь?

— Андрей не хочет: его не любят люди, а он их боится.

— И нас боится?

— Вас?..

Он пристально посмотрел на нас и опустил голову, как бы стараясь что-то припомнить, опять бегло взглянул и побежал, повторяя:

— Страшно Андрею!

— Что это за чудак? — спросил я Н.

— Сумасшедший.

— И по всему заметно. О каком Андрее говорит он?

— Это его двойник. Недавно перестали говорить в здешней деревне о приключении, которое лишило ума этого несчастного. Если тебе будет приятно, я готов рассказать.

— Да как это может быть неприятно? Слушать приключение, в конце которого человек сходит с ума, это — верх блаженства в наш век ужасов! И ты, обладая таким сокровищем, скрывал его!..

Странный человек Н. Глядя на него, вы никак бы не подумали, что он знает хоть одно подобное происшествие! Я сам, клянусь вам, не подозревал этого, а вышло противное!

Мы сели на траву, и Н. начал говорить.

II

Хиба уже бедному любыты не треба?

Малор. песня.

Несколько лет назад не было в С* казака краше Андрея, да и богатством он не уступал самому выборному: у него было два плуга волов; всякое лето отправлял он несколько огромных возов в Крым за солью или на Дон за рыбой. Чего, бывало, не навезут оттуда! Тарани, чабака, сельдей и всякой всячины; почти вообразить невозможно сколько! А коровы какие у него были! А овцы! А кабана, бывало, кормит к рождеству какого! Я сам был у него в саду: что за прелесть! В саду стоит будка, в будке сидит дед-сторож — гроза соседних мальчишек. У этого-то деда прошу отведать фруктов!

А в хате чего-то не было! В переднем углу, как в цветнике, между засушенными гвоздиками и васильками стояли два образа, писанные на кипарисных досках, а кипарис, как известно, дерево пахучее, у нас не растет. Андрей на славу заплатил за них два с полтиною и фунт воску суздальскому разносчику, и то разносчик по дружбе уступил так дешево. Добрые люди эти суздальцы!

На полке красовался длинный строй мисок, настоящих из Ични, с глазурью, с лапчатыми узорами. Вся печь была исписана клеточками, звездочками, точками красными, черными, желтыми. Хохлатые голуби ворковали под печкой; на печке мурлыкал серый кот. «Обилие в дому Андрея!» — говаривал, облизываясь, наш приходский дьячок. Да как и не сказать этого?

Будь дурак да богат — назовут умным. Так мудрено ли, что Андрей, малый неглупый, при своем богатстве, взял верх над всеми молодыми людьми в деревне? Где он, там веселье, и песни, и хохот. Парубки старались подражать ему; девушки по нем вздыхали. Да не только в С.*, а в целом околодке.

Например, в Крипице на ярмарке народу, может быть, тысяча с лишком бывает: и купечество, и духовенство, и дворянство, и даже сам заседатель — Андрею все трын-трава. Как разгуляется — что твои запорожцы! Наймет скрипку да бубен — и пошел по ярмарке... Шапка на нем сивых смушков; свитка синяя перетянута красным поясом; шаровары полосатой пестряди; сапоги юфтовые.

Был один только отставной капрал Нейшлотского карабинерного полка, который мог танцевать с Андреем. Где собралась куча народу, там, верно, они тешатся. Капрал вытянется в струнку, как перед начальником, руки по швам, глаза направо; только ноги пишут разные узоры. Андрей станет против него, заложит большие пальцы за пояс, наклонится вперед, взглянет на сапоги и пошел выделывать такие хитрые вензеля! Ударит трепака — земля трясется! А как начнет косить вприсядку — господи боже, что за удаль! Теперь нет таких танцоров.

Вдруг Андрей перестал танцевать, перестал гулять; все грустит, молчит, все думает; товарищи не узнают его: верно, его сглазили или изурочили. Разно говорили об этом, разно думали, и никто не мог догадаться; а Андрей просто влюбился, да еще как! Оно бы ничего, да лукавый попутал Андрея: он влюбился в панночку!

Там, под горою, стоит дом Фомы Фомича, моего двоюродного дедушки; одна сторона дома спряталась в сад, а другая безжизненно смотрит своими битыми окнами на широкий двор; этот двор теперь зарос травой, а прежде, при жизни дедушки, экипажи соседей не давали ей показаться из земли; нередко и коляска маршала гордо катилась по нем и, стуча и хлопая ветхими членами, останавливалась перед крыльцом. Хозяин дома, в нанковом сюртуке, с косою и очаковским крестиком, умел достойно принимать именитого гостя, глубокомысленно разговаривал о губернских новостях и убедительно доказывал, отчего в гербе его петуший хвост и роза, а не другие цветы.

— Фома Фомич человек сильно мнительный, как по книге говорит,— несколько раз повторял один мой знакомый, приезжая от дедушки. Следовательно, по крайнему моему разумению, у него, должно быть, довольно скучно; а между тем, и старики, и молодые, и судовые панычи, и офицеры Н...ского полка всякий день являлись к Фоме Фомичу, ели его хлеб-соль, в глаза свидетельствовали ему нижайшее почтение, заглаза смеялись над ним и не сводили глаз с его дочери, милой Уляси. Это был магнит.

И правда, Уляся стоила внимания: семнадцатая весна только что образовала роскошные ее формы... Но я не хочу, не стану описывать пластические красоты: об этом и без меня много говорили и писали. Да можно ли сказать: мне нравится девушка, потому что у нее черные ло-

коны, тонкая талия, маленькая ножка? Нет; так можно хвалить лошадь, можно хвалить охотничью собаку, но отнюдь не прекраснейшую половину прекрасного создания божия — человека. Есть особая прелесть, неуловимая, невыразимая для языка, но понятная для сердца, которую можно чувствовать, но не объяснить, и эту прелесть имела Уляся. Как мило краснела она, когда майор Хворостин, подсевши к ней, начнет, бывало, речь о погоде! Длинные ресницы ее опускались на пламенные глаза, и косынка сильно подымалась на груди.

Майор, *знаток в женщинах,* как называли его товарищи, толковал это в хорошую сторону.

Бедный майор захотел формально сочетаться законным браком с Улясею и, по команде, адресовался к отцу ее. Что ж, вы думаете, сказал мой двоюродный дедушка?

Он просил жениха рассказать свое родословное дерево, а это не шутка! Майор потел, водил пальцем по лбу и никак не мог доказать своего дворянства далее первого колена по восходящей линии. Тогда Фома Фомич воспламенился благородным гневом, вычислил по пальцам шесть дюжих своих предков, и в заключение, важно поправляя очаковский крестик, сказал:

— Итак, знайте, милостивый государь мой, что скворцы в орлиные гнезда не летают.

Хворостин съел гриб; лицо его сделалось краснее общеармейского воротника; он пренеловко поклонился, скорыми шагами вышел из комнаты и поскакал на квартиру, оглашая дорогу различными междометиями во славу геральдики.

Бедный денщик, говорят, много вытерпел при встрече своего начальника. Это неудивительно. Согласитесь сами, ведь надобно ж на ком-нибудь выместить свою досаду, чтоб не испортить здоровья? Но когда пыл гнева прошел, майор опять стал таким, как и прежде; выправлял рекрут, пил пунш из заграничного стакана, волочился за управительницею, пригонял амуницию и в занятиях по службе забыл или почти забыл Улясю. Только не мог он произнести имени Фомы Фомича без какого-нибудь кудрявого украшения, и, разумеется, нога его более не была в доме моего двоюродного дедушки. В итоге вышло:

Майор не женился на Улясе.

Уляся осталась девушкою.

И в эту-то Улясю влюбился Андрей! Весьма справед-

ливо наш уездный лекарь, прехитрый немец, нарисовал амура с завязанными глазами.

Андрей был человек скрытный и никому не говорил, где и когда он влюбился. Впрочем, нам до этого нет дела. Мало ли есть людей влюбленных? И верно всякая интрига имела начало от какого-нибудь случая. Иной влюбляется на тротуаре, тот в маскераде, некоторые — господи прости! — смотрят на девушек несытым сердцем в церкви божией, и, кажется, наш Андрей принадлежал к числу последних. Где ему лучше можно было видеть панночку, как не в храме? Там люди некоторым образом уравниваются; там и пан, и мужик — христиане, хотя все-таки существо в фризовой шинели морщит рожу и подвигается на полвершка вперед, когда дерзкая свитка поровняется с ним. Впрочем, сказать решительно, что такой-то-де казак Андрей, такого-то месяца, дня и числа воспылал законопреступною любовью к дочери вельможного пана, имя рек, не могу: боюсь девятой заповеди.

Андрей любил — в этом нет никакого сомнения, и любил со всею страстью души пылкой, свободной, не привыкшей подчинять свои действия голосу холодного рассудка. Ему нравилось видеть Улясю, и он безотчетно глядел на нее, как на радость, как на утеху. Но когда взор ее встречался с его взором, он чувствовал, как эти черные очи жгли казацкую душу; он потуплял глаза; в ушах у него шумело; горячая кровь так и переливалась в сердце.

Придет, бывало, Андрей в церковь, станет под стеною и все смотрит на панночку. Народ молится, а он все смотрит на нее; благочестивые помолятся да и бредут домой, а он стоит как вкопанный; ему тяжело оставить свое место: сколько минут он на нем был счастлив!

Бывало, сядет Андрей вечером на горе против дома Фомы Фомича и смотрит на окна; там светится. «Может быть, она что работает, или сидит, или ложится спать; этот огонек ей светит». И бедняк завидовал огоньку. Вот мелькнула тень. «Может быть, это ее тень»,— шептал он, и воображение рисовало ему светлицу пана и Улясю с ее огненными очами, с ее милою улыбкою. Он готов был бежать, лететь в горницы гордого пана и — оставался на прежнем месте. Часто утренняя заря заставала его там, где покидала вечерняя.

Разгадайте, какая симпатия привязывала Андрея к Улясе? Не отыскала ли душа бедняка в душе панночки

своей половины? А что вы думаете, гг. философы? Ведь это может быть.

В один день в доме Фомы Фомича была заметна необыкновенная деятельность: рано утром старая кухарка пронесла через двор индейского петуха; возле погреба ключник разливал в бутылки сливянку; к конюшне был привезен большой воз сена; на крыльце зевал и потягивался камердинер в праздничном платье; оно попало в новые из старых панских, а пан был целой головой ниже камердинера, следовательно... Но кто без ошибок? Все предвещало праздник, и праздник не на шутку. Мой двоюродный дедушка не любил ударить лицом в грязь. Событие оправдало ожидание. Весел был этот день; гости шумно пировали и разъехались после ужина, в одиннадцать часов. Шутка ли?!

Но все ли тут веселились? По законам природы этого быть не может. Наш мир так чудно́ устроен, что крайности в нем невозможны. Природа дала человеку и розы, и шипы вместе; насадила ароматные рощи гвоздики и скрыла в них гремучего змея. Зло и добро, радость и печаль смешаны в картине нашего быта, как свет и тень в ландшафте искусного художника. Крайности исчезают в противоположностях: рыдания переходят в хохот, продолжительный смех выдавливает слезы. А у Фомы Фомича был пир горой.

У моего двоюродного дедушки были два музыканта-скрипача. Я думаю... но вы не поймете меня, не слышавши их; вы не вкушали этого бесконечного веселья. Один, буфетчик, играл primo. Что за чувствительное создание! Подлинно, как говорят, съел собаку на скрипке! Всякую нотку даст, бывало, почувствовать; смычок у него так и юлит по струнам, пальцы дрожат, нос шевелится, брови ходят; а где придется трелька, он, бывало, даже приседает. Другой — не знаю как определить его — он не пахал земли, но и не принадлежал совершенно к огромной панской дворне, жил в деревне, но вместо свитки носил какое-то преобразование сюртука и вместо шапки — военную фуражку. Он был мастер сбывать на ярмарках домашние продукты, иногда, в час нужды, слетать в город купить рису, или винных ягод, или бутылку рому, и в торжественных случаях секундовал буфетчику — словом, он был человек, так, для всяких поручений. Этот почти не двигал пальцами, водил смычком тише и смотрел тупее.

А какое согласие выходило у них! Иной и в свете бегает, суетится, юлит, другой едва двигается, а оба играют одну штуку! Говорят, это необходимо для общей гармонии.

У дверей залы стояли буфетчик и человек для всяких поручений, дружно ударяя смычками по струнам скрипок. Экоссез:

Саша, ангел, как не стыдно
Вещь к себе чужую брать? —

рождаясь под их искусными пальцами, раздавался в зале. Танцы начались.

Перед затворенными окошками собралась толпа любопытных; вся почти дворня глазела на панские потехи. Андрей втерся в толпу и пробрался до самого окошка: ему хотелось увидеть Улясю. Как чорт перед заутреней, прыгал с ней тощий канцелярист, в синем фраке, с огромною сердоликовою печаткою на длинной цепочке; ноги его, точно два восклицательные знака, корчились и ломались под разными углами. Весело было смотреть на канцеляриста.

— Послать бы тебя, проклятого дармоеда, косить сено, не так бы запрыгал! — думал Андрей.— Вишь, лесной комар, как подкачивается!

Он сам не знал, за что сердится на весь свет, и на заходящее солнце, и на деревья, и даже на воробья, скакавшего на кровле, а о канцеляристе и говорить нечего.

Экоссез, как водится, кончился *змейкою*. Танцевавшие разбрелись по комнатам. Уляся подошла к окну; глаза Андрея встретились с ее глазами: она смотрела так ясно, так ласково! Бедняк ожил; словно электрическая искра пробежала по его нервам, разбудила силы, зажгла душу и наполнила ее восторгом.

То же солнце казалось ему пышнее, краше обыкновенного; деревья непонятно хорошо зеленели; воробей чирикал какую-то приятную песенку; самого канцеляриста Андрей готов был дружески прижать к сердцу. И как недолго человек бывает счастлив!

Какие виды, надежды и тому подобное имел Андрей? — спросят меня люди *арифметчики*.— Никаких. Следовательно, он был дурак? — Совершенно согласен: это был дурак с пылкой душой, пламенным сердцем и свободною волею; его любовь была поэзия высокая, прекрасная, в первообразной простоте; никто не знал, не подозревал ее,

да и сказать об этом пану — все равно, что закурить трубку на раскупоренном бочонке пороха. Пан и казак — два полюса враждебные, + и —.

Правда, иногда посредством препаратов нижнего земского суда, процессом, вовсе для нас непонятным, эти крайности соединяются и производят пресмешное чернильное существо, без цвета, вкуса и запаха, нечто вроде карточного домика, пряничного конька или суздальской живописи; существо, презирающее земледелие и не понимающее *благороднейших* игр бостона и виста, так близких почти всякому дворянину. Андрей не терпел подобных выскочек и любил Улясю безотчетно. Любовь со всеми мучениями ему нравилась; бросившись в водоворот ее, он не мог из него выбиться; страсть играла им, кружила, подняла высоко и бросила, как однажды вихрь шапку чумака на лубенской ярмарке. «Бедная шапка, — все думали, — она полетит за облака»; вихрь прошел, смотрят: шумит шапка на землю и прямо в лужу...

Бывали минуты, Андрею казалось, что его замечают, на него смотрят приветно, ласково, и под грубою свиткой нежно трепетало сердце бедняка; душа его утопала в чистых, безмятежных восторгах; надежда навевала на него что-то непонятно приятное; рассудок закрывал глаза. Андрей, как говорится, находился в упоении. И в таком-то забытьи он был после экоссеза.

Экая скрипка у буфетчика! Так и заливается, будто словами выговаривает: «mein liber Augustin»; другая тоже славно вторит за нею. У старого немца-садовника графа Z. запрыгало ретивое, он громко бил такт, и если б тогда не докуривал своей трубки, то, я наверное знаю, пустился бы кружиться, задыхаясь и ворча под нос: ein, zwei, drei!..

Пфу! Згинь, нечистое племя! Опять этот канцелярист, с сердоликовой печаткой! Ухмыляясь, как дурак перед пирогом, подходит он к панночке, берет ее в охапку — и пошел вертеть! Поверите ли вы этому? Душит ее в объятиях да и только! И как Фома Фомич при своих глазах позволяет так помыкать дочерью?

— О, вражий сын! — закричал Андрей вне себя от досады.— Черти бы тебя опановали!

Это восклицание достигло слуха отца Уляси, сидевшего недалеко от окна.

— Кто там шумит? — спросил он.

Любопытные брызнули в стороны. Андрей один остался на месте; глаза его впились в окошко; он был в совершенном забытьи.

— Да это казак Андрей! Зачем ты сюда, как баран, смотришь? — сказал Фома Фомич.

— Сто тысяч десятков бочек чертей тебе, бездельнику,— ворчал Андрей, не видя моего двоюродного дедушки и не слыша его слов.

Представьте себя на месте Фомы Фомича и вы поверите, что он рассердился.

— Гей! Хлопцы! Зачем всякая дрянь лезет перед мои окна? Чего вы смотрите? Вон с двора этого пьяницу Андрея!

Резкий голос пана разбудил Андрея — и сердце бедняка судорожно сжалось; холодный пот выступил по телу; свет закружился и заплясал в глазах его. С хохотом бросилась на несчастного голодная челядь пана и, осыпая его толчками и насмешками, повлекла со двора.

Пусть бы в другое время кто из них осмелился тронуть казака Андрея: худая вышла бы расправа; а теперь он шел машинально, как животное, не понимая, что с ним делают; вся жизнь его, казалось, перешла в глаза, устремленные на дом Фомы Фомича; там еще раздавался вальс, старый немец бил такт, в окне мелькала Уляся в объятиях канцеляриста.

А как страшно посмотрела на Андрея вся природа! Панский дом хохотал, как старый драгун, переваливаясь с боку на бок; сад значительно улыбался; река злобно скалила зубы; даже кривобокая голубятня — и та строила гримасы... а люди!.. они торжествовали. Но как страшны были они: лица их вытянулись, глаза потемнели, уста неистово искривились, раскрылись груди; там было черно-черно, там кипел целый ад крови; они насмешливо мигают на Андрея; они приближаются к нему; они холодными перстами трогают его сердце... И бедняк упал замертво подле ворот моего двоюродного дедушки.

Слова «выгнать Андрея» загремели в ушах бедняка; как проклятие судьбы, ему показался этот голос выходящим из беспредельной пропасти, разделяющей его с Улясею. И как после этого любить Андрея? Несчастный разлюбил его — собственное свое имя.

Скоро в С* от войта до последнего мальчишки все узнали, что Андрей болен странною болезнью· он пред-

ставлял себя в двух лицах, разговаривал с кем-то, называя его Андреем, и рассказывал, что он скоро бы женился, да Андрей помешал ему. Жалобам не было конца. Старухи поили его разными травами, подкуривали подметками, перьями и всякою шерстью, сбивали голову какими-то очень полезными обручами — все напрасно! Люди добрые, качая головами, говорили: «Не трогайте его, так ему бог дал». И все вообще потолковали, да и перестали, и Андрей-дурачок сделался так же обыкновенным в селе, как прежний Андрей-гуляка.

Тут мой приятель замолчал.

— А Фома Фомич? — спросил я.

— Он пил, ел, принимал гостей, рассказывал свою родословную и спокойно умер.

— А что сделалось с Улясею?

— Она вышла замуж и — сделалась дамой.

СТРАШНЫЙ ЗВЕРЬ

Народное предание

В давние времена, когда люди были добрые, земля плодороднее и по белу свету много таскалось колдунов, оборотней, ведьм, упырей и всякой болотной и лесной сволочи,— в те времена, в стороне казачьей, в Малороссии, на берегу Удая широкого, жил казак богатый, *Иван добрый человек*. Многочисленные стада его паслись на зеленых лугах прибережных; ежегодно нивы его волновались богатыми жатвами и обширный сад отягчался плодами.

Не два явора развесистые шумят возле дуба столетнего — два сына-казака растут у *Ивана доброго человека;* не зеленая ветка хмеля вьется вокруг пня дубового — молодая дочь лелеет старость Ивана.

Добрый человек жил спокойно и счастливо. Но долго ли до беды? В обширный сад его, говорят, по навету какой-то злой ведьмы, а, может быть, и по собственному произволу, начал учащать незваный гость — вепрь, величины неимоверной; он делал страшные опустошения, подрывая деревья плодовитые. И хозяин сада, и соседи его издали обходили место недоброе и, крестясь, творили молитву ангелу-хранителю.

Иван призадумался и говорит сынам своим:

— Кто из вас убьет зверя дикого, разоряющего достаток наш, тот получит половину богатства моего.

Страшен был вепрь: много обещали за его голову. Корысть превозмогла страх, и старший брат, сопровождаемый родительским благословением, отправился караулить опустошителя.

Тих был вечер, когда пришел старший в сад заколдованный и расположился под ветвистою яблонею. Он лег на траву мягкую, душистую и разложил вокруг себя оружие разное. Тихо шептали ему листочки древесные что-то неведомое, но приятное; вежды его смежились. Еще он слышит перекаты соловья чудесные, но то уже была не песня соловьиная; ему кто-то поет на ухо: «Спи, добрый человек; сладко спать ночью на мягкой постели». Старший потянулся, зевнул, раскинул руки могучие и захрапел сном богатырским.

Ночь прошла, день настал, и солнышко, выбежав на гору, разлило веселый свет свой на все творение божие. Медленно вышел старший брат из сада отцовского, огорченный неудачею. На лице была написана печаль и негодование: он проспал приход врага своего.

На другой вечер пришла очередь меньшому.

— Не ходи,— сказал отец ему.— Ты молод еще, не укрепились силы твои, и опасна будет тебе борьба с зверем страшным.

— Что бог даст, то и будет,— отвечал меньшой, взял шапку, перекрестился и вышел.

«Брат мой хитер и отважен,— подумал старший.— Он не проспит вепря, изловит его и получит половину богатства отцовского. Что я буду перед ним? — бедняк! Я, брат старший!.. Как зазнается этот мальчик! Он был в колыбели, я трудился уже. И за что он пожнет плоды трудов моих?.. Пойду, подожду его на дороге, в кустах калиновых: когда он будет возвращаться с победою к отцу, я уговорю его обещаниями лестными, и он отдаст мне добычу свою; в противном случае, у меня есть острый топор, которого не раз трепетали дубы дубровные и, падая с холмов, омывали ветви свои в струях Удая быстротечного». И вот заблистало в руках его железо убийственное, и ветхая дверь хижины с воплем жалостным пропустила брата на дело пагубное, на дело, доселе неслыханное в Украйне — на братоубийство! Вся природа содрогнулась;

полуночный ветер зашумел на проклятой осине; стая воронов спорхнула с ближних деревьев и, злобно каркая, взвилась в воздух; луна покрылась цветом кровавым.

Меньшой не брал с собою, подобно брату старшему, вооружения разного; у него не было ни пищали, ни сабли увесистой, ни кинжала заговоренного. Твердая вера в провидение, мужество и проворство казацкое да петля арканная — вот было его оружие. Наломавши связку терновика колючего, он постлал себе постель под яблонею развесистою. Сладко шептали листья в саду очарованном; соловей запел попрежнему — и меньшого одолела дремота тяжелая. Но чуть он склонялся на постель молодецкую — иглы острые, терновые выводили его из усыпления: вздрагивая, он напрягал ухо чуткое, прислушивался, не идет ли зверь-чудовище. И скоро гость ожидаемый запрыгал в силке, искусно расставленном; застонал, заметался. Не берет сила звериная; пустился на хитрости: начал меняться в разные образы — то девушкою чернобровою, предлагал свои прелести; то немцем-искусником, на ножках тоненьких, показывал часы с курантами, и серные спички самопалительные, и всякие диковинки заморские; то жидом-арендатором рассыпал золото светлое и камни самоцветные — не помогли лукавому ни сила, ни хитрости. Казак — простой человек, не прельстился навождениями богомерзкими, убил зверя-опустошителя и с сердцем, полным восхищения, спешил обрадовать отца победою. Уже виднелись вдали белые стены хаты отцовской, озаряемые луною серебристой, и силы победителя удвоились; перелетный ветерок навевал ему благоухание с ближних кустов цветущей калины.

Часто бывает змея ядовитая под голубым барвинком и зеленою рутою. В душистых кустах крылась смерть храброго.

Шумя, приняли победителя ветви зеленые в свои объятия; он утонул в кустах калиновых.

Жалостно что-то застонало в тенистой зелени, и по небу чистому покатилась звездочка ясная; стон затих, и звездочка светлыми искрами рассыпалась в синем воздухе.

Тут зашевелились кусты цветущие, раздвинулись ветви зеленые: озираясь, вышел из них старший, неся на плечах вепря-чудовище; руки его были в крови; широко шагал он; искры прыгали в глазах его, змеи ползали под

ногами; кто-то дергал его за полы, и шапка не держалась на голове. Он убил брата своего.

Страшная ночь прошла, уступая место ясному утру, и вскоре веселое солнышко, выкупавшись в синем море, выплыло из дальних степей востока. В хате Ивана раздавались веселые клики пированья; соседи сходились глазеть на зверя чудного, и кубки варенухи душистые переходили из рук в руки любопытных.

— Что же я не вижу сына младшего моего? — сказал *Иван добрый человек,* разглаживая усы.— Или он не радуется победе брата своего? Или неудача огорчила юное сердце его, и он стыдится притти на глаза мои?

Ты не увидишь его более, старец седовласый, ты не прижмешь к груди своей сына возлюбленного! Там, на лугу, зарыт убийцею труп его, неотпетый, неоплаканный!

Прошел день, другой и третий, прошла неделя, за нею другая, а меньшого и слыху не было. Горько рыдал безутешный отец о потере его, рвал седины и ломал руки иссохшие.

— Кто,— говорил он,— будет подпорою моей старости? Старший сын мой, получив богатство, забыл меня, и я остался один с дочерью слабою! Кто нагрузит воз мой снопами тяжелыми? Кто впряжет в него волов круторогих и привезет на гумно мое богатые дары всевышнего? Кто зимою холодною, когда зашумят метели по полям и лесам обнаженным, согреет старика беззащитного? Чей топор трудолюбивый застучит в роще ближней и чья рука попечительная разложит огонь в хате моей?

— Разве я не осталась у тебя? — прервала дочь его.

Старик покачал головою; она бросилась в его объятия.

Дочь *Ивана доброго человека* печалилась о брате, и дни молодости стали ей невеселы. Приблизился день Купала; запылали костры горящие; поселяне украшали головы свои венками и, при песнях согласных, простоты и невинности, прыгали через пламя розовое. Одна она не участвовала в общей радости; юное чело ее не покрывалось рутою вечнозеленеющею, ни гвоздичками золотистыми, ни васильками лиловыми. Настали обжинки, и колосья ржи, переплетенные с красною калиною, появились на головах молодых девушек; она одна не надела венка в день общей радости: печаль о брате тяготила сердце ее.

Так прошло лето. Подкралась осень с длинными вечерами. В поле чисто; щебетливая ласточка спряталась до

весны в колодец, и вскоре снег укутал спящую землю белым покрывалом. Молодежь собиралась на вечерницы и досветки; далеко звучали песни их, и хохот слышен был через улицу. Под шум веретена и веселых прибауток нечувствительно пролетела зима. Счастливцы! Не так тянулась она для дочери *Ивана доброго человека;* сердце ее замерло для радости; она не выбрала себе друга, не видела вечерниц и досветков; а люди называли ее гордою!..

И вот повеял весенний ветер. Снег исчез. Весело зажурчали ручейки, и дикие гуси, с криком радостным, длинными вереницами понеслись с юга на север. Вот и деревья зазеленели. Прибережные взгорья Удая покрылись травою, как бархатом. Настал час трудолюбия; клики пахаря раздавались на полях; пастухи погнали овец на паству сочную. Все ожило, и могила брата невинного, никем незнаемая, приосенилась толстым стеблем *болиголова* *. Пастух срезал его и сделал свирель; приложил ее к устам своим, и чудо-свирель играет песню печальную, доселе им неслыханную:

По малу, малу, овчарю, грай,
Не врази моего серденька вкрай.
Мене брат убив, на лугу зарив,
За того вепря, що в саду рив.

Он удивляется, надувает ее в другой раз, и опять повторяется та же песня заунывная. Целый день играл пастух на свирели, и к вечеру тихо потянулся со стадом в деревню.

Был прекрасный весенний вечер. Легкий сумрак распространялся в воздухе; тонкий туман, как дума грустная, подернул покойныя зыби Удая; ароматный воздух дышал негою. Пригорюнясь, сидела дочь Ивана под хатою.

— Не крушись, дитя мое! — говорил ей добрый человек.— Послушай, как поют веснянку ** твои подруги! Какое у них веселие! А ты все плачешь о брате. Где он — бог знает! Вот сегодня ровно год, как о нем слуху нет...

— Слушай! — сказала она, схватив отца за руку.

---

* Ветвистое однолетнее растение.

** Веснянки — песни, посвященные собственно весеннему времени.

В это время пастух проходил мимо них, и свирелка пела жалобно страшную повесть братоубийства. Старик ужаснулся. Давно сердце его не лежало к старшему сыну; он что-то подозревал в нем недоброе, и теперь подозрение осуществлялось. Старик подзывает пастуха и предлагает ему продать свирель. Пастух пожелал за нее овцу белорунную. Сказано, сделано, — и свирель осталась в руках *Ивана доброго человека.*

— Сегодня праздник,— сказал Иван, входя в жилище сына старшего.— Пойдем в дом мой и разделим, что бог послал нам.

И вот они в хате старика. *Иван добрый человек* вынул из-за образов свирель таинственную и подал сыну, говоря:

— Поиграй на ней.

Чуть свирель коснулась к устам старшего, как заиграла печальнее прежнего:

По малу, малу, братику, грай,
Не врази мого серденька вкрай.
Ти ж мене убив, на лугу зарив,
За того вепря, що в саду рив.

Крупный пот покатился с чела преступника, судорожно сжалось лицо его, но слезы не лились из глаз братоубийцы. Он лежал у ног отца своего.

— Прости меня, о, родитель мой! и прекрати жизнь, давно для меня тягостную,— простонал он.— Я недостоин смотреть на свет божий; алчба к золоту подавила во мне любовь родственную; я убил невинного брата, и кровь его взывает ко мне!

— Сокройся от очей моих! — сказал *Иван добрый человек.* — Да будет бог судья тебе, а укоры совести — наказанием.

И старший скрылся из дома отцовского.

Долго бродил он по лесам и пустыням и влачил жизнь, очерченную пагубным злодеянием; взоры его были дики, и на лице виднелась печать отвержения; совесть терзала душу его, внутренний жар пожирал преступное сердце; тщетно хотел он погасить его, с жадностью впивая в себя дыхание ветров холодных: окровавленная тень брата везде представлялась испуганным глазам преступника, и в завываниях бури, и в шепоте листьев отзывалась заунывная песнь свирели. Когда рокотал на небе гром и молния раздирала черные тучи, напрасно он призывал смерть: и гро-

мы, и молнии не касались его, наказывая жизнию, лютейшею смерти. Не скоро всевышний послал ему конец желанный. Душу братоубийцы с хохотом радостным принял ад в свои недра, а тело его сделалось пищею воронов и волков хищных.

ТЕЛЕПЕНЬ

Быль

I

Афанасию Ивановичу было шестьдесят лет.

Н. Гоголь.

Давно уже умерла жена отставного есаула Крутолоба, но он до сих пор еще скучает о ней; со дня смерти ее улыбка слетела с уст есаула; он сделался грустен, задумчив, хотя прежняя доброта его еще удвоилась. Когда он слышал про доброе дело или делал какое добро, то, вместо прежней улыбки, глаза его таяли в слезах удовольствия, и старик медленно отворачивался в сторону.

На берегу Перевода в садах скромный хутор Крутолоба. По хутору тянется глубокая дорога, окопанная рвами, из которых, вырастая, роскошные кусты бузины и калины осеняют ее широкими темнозелеными ветвями, увешанными коралловыми и сизыми гроздями плодов. В проредь кустов мелькают богатые огороды, краснеет мак, желтеют подсолнечники, белеют стены хат и золотится стог ячменя. Направо с дороги стоят растворчатые ворота с соломенным навесом и скамеечкою. Это ворота на двор есаула. Там виден его маленький дом с выкрашенными ставнями и остроконечными дверьми; по обеим сторонам двора стоят кладовые и амбары; перед окнами дома шумит грушевое дерево.

Часто любил есаул сидеть за воротами на скамеечке и думать, опершись на толстую кленовую палку. А между тем солнце садилось ниже и ниже, золотя кудрявые сады и зажигая облака пыли, которую прихотливо подымают по дороге стада, бегущие на ночлег. Поселяне, возвращаясь с поля, почтительно снимали перед есаулом шапки. И небо, и земля постепенно темнели. На реке кахкала утка; где-то за селом звучала свирель; далеко в поле стучала ехавшая повозка; но и эти звуки замирали, и Круто-

лоб медленно возвращался домой, там уже стоял ужин, и ждала его Галя.

Галя была единственная дочь есаула; для нее он жил, за нее боялся и радовался; она была существо, привязывавшее его к этой жизни. Ей едва минуло пятнадцать лет. Скромная, тихая, робкая, еще не согретая огнем желаний, не оживленная страстями этою мучительно прекрасною жизнию, она была взрослое дитя, не оконченное, но прелестное создание природы. Хорунжий Шлапак сравнивал ее с горлицею. И точно, как робкая горлица, Галя росла в доме отца своего; тенистый сад был ее любимым убежищем, песни — лучшею забавою. Бывало, как запоет она своим звонким голосом «Мошлу», или «Чайку», или «Гомин по дуброви» — задумается Крутолоб, задумается крепко; крупные слезы, сверкая через длинные седые усы, покатятся в чарку; он бросит ее, соблазнительницу, прижмет Галю к груди своей и долго-долго целует ее и во весь тот день не пьет ничего, даже стосильнику, хотя многие рекомендуют его, как верное лекарство в горести.

Не любил Крутолоб шумных бесед. Прошла пора, когда он, полный огня и жизни, упивался вихрем войны и разгульно, бешено пировал с приятелями. Ему теперь как будто снились темные ночи, когда, завернувшись в косматую бурку, он сторожил и мрак, и шелест дикой травы. Кругом тянется широкая тень степи; по ней ползет крымец; фыркает чуткий конь и прядет ушами, а частый осенний дождик шумит и обдает холодом до костей. Как звездочка, дрожит в дальнем горизонте огонек. Там красные жупаны, там казацкие шапки, там льется мед и водка, брякают сабли, гремят песни; там жид играет на цимбалах, прыгают и звенят стальные струны, пляшет цыганка — по пояс черные косы; лицо горит, очи дерзко сверкают; в руках кубок, на устах вольные речи... и шум, и свист, и хохот... Все улетело с летами! Холодные свидетели разгульной жизни — сабля и винтовка, безмолвно висят на стене; на них вьется паутина. Много товарищей не досчитывал есаул; иные замучены в Варшаве, других засыпал знойный песок Малой Азии, кто не вернулся из молдавских виноградников, кто остался в Черном море... Грустное воспоминание! Тут не пойдут на душу веселые песни.

Любил старик есаул своего соседа, старого сотника Подопригору. Часто они просиживали вместе длинные вечера, вспоминая былое. Бывало, Подопригора приедет с

утра в гости к Крутолобу, и чуть станет смеркаться, то уже собирается домой: велит привести к крыльцу своего коня, застегнет кунтуш, возьмет в руки и шапку, и нагайку. Тогда есаул заводит стороною речь про старые походы; сотник садится, закуривает трубку, кладет нагайку и шапку на стол и забывает свое намерение. Тихо тянулась их беседа; ленивою струйкою наливался мед в золоченые чарки, и серебристая пена жемчужилась по краям их; тонкою, едва заметною змейкою вился дым от трубок. Все спало; давно уже перекликнулись первые петухи, и нагоревшая свечка слабо светила в комнате, когда сотник, распростясь с есаулом, уезжал домой. Впрочем, и Шлапака любил Крутолоб, любил и других соседей, но не так, как Подопригору.

С незапамятных времен началась их дружба. Еще при покойнице-жене Крутолоба, уже вдовец, Подопригора часто посещал его с маленьким сыном Петром; и Петро, и Галя, резвые дети, весело бегали по саду, играли, шумели и свыклись как брат с сестрою. Теперь уже Галя выросла; она краснела как маков цвет, когда говорили о Петре. Со дня на день ожидали красивого молодого казака Петра, чтобы праздновать его свадьбу с Галею. Это была воля их родителей. И Петро, и Галя, как послушные дети, и не думали этому противиться.

II

От и встереглись!

Малорос. поговорка.

— Нет, я позову весь лубенский и прилуцкий полк, соберу всех родных и знакомых. Хоть полсвета приходи, у меня достанет хлеба и вареной: пусть гуляют да помнят, когда старик Подопригора женил сына!

— Оно так, но к чему это? — отвечал Крутолоб.— Богачи будут пить, есть да тебя еще обругают. Не лучше ли позвать нищих, раздать милостыню?

— Это само собою; я их соберу, пожалуй, целую сотню, только с условием, чтоб ни один из них не строил кислой рожи и не пел про Лазаря, потому что у меня будет свадьба, а не — сохрани нас боже! — похороны. Я хочу вволю повеселиться с добрыми людьми; найму пирятинскую музыку с барабанами, с тарелками...

— Ты все еще молод!

— Помолодеешь от радости, когда женишь сына-молодца на такой девчонке, как Галя! Да ты что так невесел? Разве тебя не радует свадьба дочери?

— Мне что-то грустно; как будто сердце чует недоброе.

— Пустое, брат! Мы проговорили за полночь, тебе, видно, спать хочется. А все виноват мой Петр. Все казаки вернулись домой, его задержали в Прилуках, и вряд ли он сегодня будет... Ночь темная, ни зги не видать... Ба! Слышишь ли топот? Это он! Верно он,— и сотник взглянул в окно.

В окне рисовалась страшная рожа, в другом еще страшнее... Не успели приятели обменяться взглядами, как быстро отворилась дверь, и грозно вошел в комнату дюжий мужчина в богатом полукафтане.

— Ни с места! — сказал он, вынимая из-за пояса длинный пистолет.— Я — Телепень.

И сотник, и есаул, как окаменелые, остались на своих местах.

Между тем другой разбойник, вооруженный с ног до головы, стал в дверях, обнажил широкий нож и, как бы играя, начал пробовать пальцем его лезвие.

— Что же вы молчите, господа? — сказал Телепень.— И не просите меня подкрепить силы с дороги? Впрочем, я вас не стану беспокоить, я и сам похозяйничаю.

Он подошел к столу, налил стакан настойки и с жадностью осушил его.

— Вам нельзя уйти, — продолжал разбойник. — Все тропинки возле вашего хутора заняты, люди на хуторе перевязаны, а все-таки лучше и вас связать. А ну-ка, Грицко! Кто покажет сопротивление, тому в подарок эта пуля.— И он навел дуло пистолета на испуганных стариков. Грицко в две минуты скрутил им руки.

— Теперь пусть хлопцы пошарят хорошенько: всякое добро забирать; баб не трогать; найдете жида — прямо на осину; девушек искать пуще золота! — сказал Телепень выходившему Грицку и долгим, сладострастным поцелуем впился в любезную бутыль. Настойка, кружась и плескаясь о бока широкой бутыли, быстро уплывала в ненасытное горло разбойника.

Невыразимо грустно смотрел есаул на боковую дверь, ведущую в светлицу Гали. Приказ искать девушек пуще

золота напомнил ему о дочери. Сердце отца перестало биться. Он спокойно слушал, как буйная толпа разбивала его кладовые, как предковское серебро звенело в руках грабителей; он дрожал об одной дочери и от глубины души читал канон Деве-Заступнице.

Между тем Телепень окончил огромную бутыль и бросил ее в угол. Взоры его повеселели; он, покручивая усы, оборотился к пленникам.

— Что вы, вельможные паны, вдруг присмирели? Давно ли, подумаешь, вы щебетали, как дрозды! Верно, теперь мне приходится петь. — Он брякнул своими костистыми руками по столу, встряхнул головою и запел:

Ой був соби Халемин,
Та взяв жинку Любку!
Ой гоп го-по-по,
Гой дер-дер-дер го-цо-цо.
Та взяв жинку Любку!

Женский вопль раздался в соседней комнате... Сердце Крутолоба облилось кровью... Два разбойника внесли полураздетую Галю; вилось, билось, трепетало бедное дитя в руках их.

— Славная добыча! — заревел атаман, дерзко лаская дрожавшую девочку.— Спасибо, хлопцы! У нас много золота, а такой девушки я и не видывал; она будет красою нашего городка.

— Пощади! — простонал Крутолоб удушающим голосом и повалился в ноги Телепню.

— Чего ты валяешься, седая голова?

— Пощади дочь мою! Она одно утешение моей старости, она еще так молода!..

— Она будет моею женою, да, женою. Понимаешь ли, честь какую я тебе делаю? — И, страшно вымолвив, он обнял Галю. Это был степной жаворонок в когтях у ястреба.

— Проклятие на голову твою, разбойник! — произнес торжественно Крутолоб. — Ты опозоришь мое семейство, но слезы отца найдут место на небе!..

Темнее ночи сделалось лицо Телепня; резкие морщины сдвинулись на лбу его в мрачное облако; из-под густых бровей, как молнии, злобно сверкали глаза; рука его судорожно сжала рукоять кинжала. От разбойника веяло смертью, но он взглянул на Галю, и морщины сбежали с чела.

— Дурень, дурень! — сказал он, качая головою. — Дерзки твои речи! Никто доселе не смел безнаказанно говорить их предо мною; но ты — отец Гали, и я тебя прощаю. Все ли готово, Грицко?

— Все.

— Итак, в поход!

Он взял рыдавшую девушку и вынес ее из светлицы.

— Прощай, моя голубка! — прошептал Крутолоб и, убитый душевными муками, тихо склонился на грудь сотника.

Недолго клики разбойников раздавались на хуторе; все глуше и глуше топотали кони, все тише и тише стучали повозки; и вот все утонуло в море мрака и безмолвия, все исчезло для слуха, как исчезает для зрения перелетная стая уток, сливаясь вдали с горизонтом. В хуторе Крутолоба по-старому прокричал петух полночь, по-старому в теплом уголке запел сверчок свою однообразную арию.

III

... Висят полунагие своды.
И дряхлая стоит еще стена;
Она в рубцах: ее изсекли годы
И вывели узором письмена.
Прочли ль вы их? Здесь летопись природы
На зодчестве людей продолжена.

В. Бенедиктов.

Кто не знает, кто не читал о славе древнего Переяславля?

Там наши предки *переняли* славу, там пировал, после знаменитых побед, не один владетельный князь русский; туда соседние данники привозили золото, серебро, и камни самоцветные, и ткани узорчатые, и вина греческие, и всякие хитрости заморские. Славен был Переяславль! А теперь суровые века, пролетая над ним, горько осуществили Сатурна, поедающего детей своих... Где вы, сильные земли? Где ваша гордость, ваше богатство?

На месте шумного Переяславля вы увидите кучу домиков, разбросанных на берегу Трубежа и Альты. Трубеж едва струит свои ленивые воды между аиром и осокою, Альта высыхает в летние жары. На этой площади, где не раз совершался великолепный выезд пышного князя, оборванный еврей меняет доверчивым украинцам обре-

занные червонцы. Рука времени почти сравняла валы крепости; здесь и там вросли в землю большие чугунные пушки; стада коз бродят по развалинам. Весь город похож на огромное кладбище: иногда дожди размоют бок горы, и из обвала глядят на вас желтые черепа ваших собратов. Кругом города, как волны, теснятся могилы; они давят одна другую, будто хотят ринуться и засыпать его — это обломки декораций печальной драмы, разыгранной веками, немые, но выразительные! Гордый временщик, если тебе доступно какое-либо чувство, посмотри на Переяславль!.. Но вы, может быть, более любите водевили, нежели трагедии. Я и сам согласен с вами, что

Водевиль есть вещь, а прочее все гиль!

и не люблю ничего грустного, ничего таинственного: не люблю точек, напечатанных стихами, сочинений Экартсгаузена, лекций недоученного прсфессора... Это говорят доктора, даже вредит пищеварению. Итак, не угодно ли будет вам прогуляться? Путешествие очень здорово. Поедем хоть в Петербург, убежим из погребенной столицы в живую, цветущую, шумную... там есть театры, играют «Свет на изворот», кокетничает Невский проспект; там есть кондитерские, есть все, а здесь ничего. Поедем! Поедем!..

Кто в часы досуга смотрел на географическую карту нашего отечества, тот верно знает, что Петербург лежит прямо на Север от Переяславля, и по этой причине мы на тройке тощих почтовых лошадей выезжаем в северные ворота; колокольчик плачет, ямщик бранится, кони едва вытягивают ноги из глубокого песка. Вам скучно? Потерпите, теперь век сильных ощущений. Слава богу! Мы минули пески, выехали из лесу. Перед нами расстилается прекрасная картина: вот цветущие окрестности Яготина; вот дворец последнего гетмана Малороссии графа Разумовского; вот за рекою красивое селение Гречаная Гребля; тут длинная плотина, обсаженная вербами, перерезывает широкую реку Перевод; влево от дороги тянется дубовая роща, вправо гуляют глаза по чистой степи. «А это на степи что за насыпь?» — спросите вы ямщика.— «Телепень». — «Стой! Едва приехали!» — Я рад, очень рад, что могу продолжать свою историю. Угодно вам ехать далее? Счастливый путь; а я останусь рассказывать.

В то время, когда случилось происшествие, которое я описываю, место этой гладкой степи занимал дремучий

лес; Гречаная Гребля не существовала; не было ни Ганзеровщины, ни Лемешовки; не было и добрых людей, которые там живут теперь. Все лес да глушь, и в той глуши свил себе гнездо разбойник Телепень. Часто резкий свисток его шайки отзывался погребальною песнею в ушах проезжих; часто бесполезные мольбы и проклятия несчастных оглашали берега Перевода: одно небо, робко проглядывая сквозь ветви столетних дубов, было свидетелем ужасных злодейств. Большая Переяславская дорога опустела. Напрасно богатые купцы выпрашивали себе конвои — все бежало перед Телепнем. Он усилил свою шайку до тысячи человек хорошо вооруженных удальцов, окопался в лесу крепким валом, на валу поставил пушки и смеялся угрозам пирятинского сотника. Даже о прилуцком полковнике он говорил самые дерзкие речи.

Жидом, паном, монахом, казаком, словом, в разных образах скитался Телепень по Малороссии и Украйне. Как воздух, он проникал всюду; его шайка, подобно облакам, гонимым ветром, налетала со всех сторон при малейшем сигнале предводителя, и горе побежденным! Людей мучили; серебро и золото увозили в земляной городок, названный по имени предводителя — Телепнем. В этом городке была заперта дочь Крутолоба Галя.

IV

Ватагами ходылы хмары,
Меж нымы молодык блукав,
Витры в очеретах бурхалы
И Псел ревив и клокотав.

Гулак-Артемовский.

Я рад: останься до утра
Под сенью нашего шатра.

А. Пушкин.

Жаркий летний день повечерел. Солнце утонуло в облаках, и они, как бы торжествуя свою победу, росли выше и выше, гордо подымая головы, облитые кровью умиравшего светила. Глухо простенал отдаленный гром; вдалеке вспыхивала молния. Воздух был душен, спокоен, ни один листочек на осине не шевелился.

«Будет *воробьиная ночь*»,— говорил поселянин жене своей, входя в хату, и жена старалась скорее убаюкать

ребенка, с беспокойством поглядывая на маленькое окошко и крестясь всякий раз, когда зарница освещала лицо ее красноватым светом.

Недолго ждали гостьи. Дохнул свежий ветерок — и зашумела дубрава; облака понеслись быстрее; дождь крупными каплями застучал в окна. И вот, взвивая до облаков легкую пыль, понесся дух бури — вихрь-разрушитель; как робкие жены, завыли, замахали длинными, косматыми ветвями белые березы, как человек, припал к праху гибкий тростник, как муж, затрещал при корне могучий дуб. Гром перекатывался над головою; молния жгла небо... Великая природа! Как ты прекрасна и в торжественном покое, и в разгаре страстей!

— Ай да погода! Вот что хвалю, то хвалю! — говорил Телепень, пробираясь лесом впереди своей шайки.— Теперь не одна баба от страха прячет голову в подушки. Пей другую, Грицко.

В это время Грицко, наехав на пень, полетел с лошади.

— И одною довольны,— отвечал Грицко, садясь опять на лошадь.— Однако, пан атаман, нам пора бы отдохнуть; лошади измучились, словно щуки, хоть в иголку продень; да и хлопцы устали.

Тут сверкнула молния, грянул гром и, раскрошенный в мелкие щепы, огромный клен запылал перед шайкою.

— Шабаш! — крикнул атаман.— Так здесь ночевать; кстати и огня разводить не нужно. Спасибо грому, есть на чем заварить кашу для ужина.

Атаман слез с коня, разбойники засуетились вокруг огня; сторожевые поехали в стороны от табора.

Буря начала утихать; вдали отзывались раскаты грома все слабее и слабее; дождь перестал. Ярко пылал кленовый костер, на котором дымилась и кипела каша; вокруг костра разбойники просушивали платье. Телепень сидел у самого огня; волны света обливали его с ног до головы; его широкое лицо, оттененное длинными усами, казалось, пламенело. Кругом выказывались из тени то голова лошади, то длинная кудрявая ветвь дерева, то седло, то чуб разбойника; и когда огонь на костре ослабевал, то все это мало-помалу пряталось в темноту и сливалось с окрестным мраком.

Атаман курил коротенькую трубку и задумчиво плевал на огонь. В это время тихо заржала в таборе лошадь;

в ответ послышалось ржание в лесу, потом шелест шагов, который более и более приближался к табору. Телепень поднял брови; разбойники вскочили с мест. Но недолго продолжалось их недоумение,— скоро явился предмет их страха: это был один из караульных; он вел с собою молодого человека в простом казачьем платье, которого он поймал в лесу.

— Кто ты? — спросил атаман пленника.

— Я казак без роду, племени и доли,— отвечал незнакомец.

— Зачем же ты ночью бродишь по лесу?

— Так, добродию; искал грибов, да и ночь настигла.

— Говори правду! Не то... я не люблю шутить. Какой дурак ходит за грибами двадцать верст в сторону от дороги, а особливо ночью? Тут что-то не так...

— Ей-богу, так, добродию.

— Неправда! — сказал Телепень, устремив на него испытующий взгляд.

Незнакомец опустил глаза в землю.

— Говори правду,— продолжал строгим голосом Телепень.— Когда не хочешь проплясать казачка, примерно, хоть на этой березе.

— Помилуйте! — вскричал незнакомец, бросаясь в ноги разбойнику.— Я расскажу вам всю правду, как отцу духовному на исповеди, только не отсылайте меня к сотнику... они казнят меня, я... преступник.

Телепень улыбнулся.

— Меня зовут Темош Кобка, — продолжал незнакомец.— Много горя терпел я на свете и от родных, и от чужих, а более всех — от злой мачехи. Мне наскучило есть хлеб со слезами; я хотел было сам кинуться в воду, и в один день, не знаю как, толкнул в колодец эту злую ведьму. В это время мимо шли люди и увидели мою шалость; они погнались за мною; я в лес, все дальше и дальше, и вот уже неделя, как скитаюсь почти без пищи. Не дайте умереть бедному и не представляйте меня в суд.

— Только-то? — сказал атаман.— Небойсь, брат, хоть бы ты десять мачех спровадил на тот берег, мы тебя не выдадим. Встань да благодари случай за то, что ты попался к нам; мы сами люди вольные, как степные ястреба; мы плюем на бабу, сотника и на всю долгохвостую полицию и любим таких удальцов, которым жутко жить на свете. Хочешь ли остаться с нами?

— Благодетель! Я не знаю, как благодарить тебя: теперь я не умру с голоду!.. Я буду служить тебе до последнего вздоха.

— Запьем магарыч,— сказал Телепень, взял фляжку с водкою, напился, отер рукавом усы и передал ее Темошу.

Скоро сняли с огня котел с кашею; разбойники поужинали; и когда все захрапело спокойным сном, Темош со слезами на глазах перекрестился и, завернувшись в бурку, лег между новыми своими товарищами.

V

Но если женскими устами
Заговорит коварный ад,
Тогда нигде под небесами
Спасенья звезды не горят.

В. Соколовский.

Два года — и как роскошно, как пленительно расцвела эта милая Галя. Природа развила юную почку — и свежий цветок красуется, благоухает. Легкая сорочка сладострастно ластится к высокой, полной груди ее, а грудь волнуется, дрожит под ревнивым полотном. Галя хочет воли, воли! Ее глаза искрятся, облитые хрустальною влагою, в них отражается, блестит, играет сила юности, как солнце в капле чистой утренней росы; лицо вспыхнуло пожаром желаний; какая-то томность, какая-то неясная грусть слегка оттенила его. Она была прекрасна, заманчива, как тайна полуразгаданная.

С чем сравнить этого сильного широкоплечего мужчину, лежащего на татарской бурке? Страсти изборозидили его, лета оставили на нем иней. Это остывший вулкан, покрытый снегом; огонь и смерть когда-то вылетали из жерла его, в котором теперь едва дымятся остатки перегорелой лавы, и клубами висит черная сажа.

Угрюмо лежал Телепень на бурке, почти не отвечая на ласки Гали. Она с детскою шаловливостью играла его длинными, поседевшими усами, обвивала лилейными руками его шею, впивалась жгучими устами в его холодные уста; но он бесчувственно принимал ее лобзания.

Так, пресыщенный вином на богатом пиру, из приличия, пьет заздравную чашу. И Галя, живая, кипящая, приникла к холодным персям разбойника.

— Чего ты хочешь? — хладнокровно спросил он. — Вот золото, серебро, дорогие камни...

— Не хочу я этого.

— Вот богатые парчи, шелковые ткани — возьми их, одевайся, рядись.

— Не нужно мне их. Любви! — прошептала Галя и скрыла румяное лицо свое на груди Телепня.

Телепень замолчал.

— Мне скучно,— продолжала Галя.— Я умру: ты меня не любишь! Два года я живу здесь и не вижу никого, кроме двух-трех страшных твоих товарищей. Я не была за оградою, не видела света божия! Меня стерегут, за мною смотрят, как за преступницею, как будто я тебе желаю зла, как будто я не люблю тебя... О, мой милый!..

И она поцеловала чело Телепня, на котором бродили мрачные думы.

— Я старик. Ты хочешь обмануть меня, оставить; тебе весело улыбаться какому-нибудь молокососу! Да, я знаю вас, женщин. Но этого не будет, не будет, пока я жив.

Глаза злодея засверкали, руки судорожно сжались, грудь колебалась тяжелым дыханьем.

— Вот плата за любовь мою! — говорила Галя, и слезы брызнули из глаз ее.— Неужели ты думаешь, что я могу оставить тебя? Без тебя я боюсь сделать шагу: мне страшно и волков, и людей, и оборотней. Ты один мой защитник; одного я люблю на белом свете — и тот меня не любит.

Рыдания прервали ее голос.

— Перестань, перестань плакать! Забрала себе в голову какую-то любовь — и тоскует беспрестанно! — сказал Телепень.— Тебе скучно? Ну, этому можно пособить: я давно обещал и повезу тебя на первую ярмарку, какая будет в нашем околодке: там мы повеселимся, накупим товаров, какие тебе понравятся, послушаем, как играют бандуристы, посмотрим, как цыгане меняют лошадей, как продают соль, рыбу и всякие овощи; увидим, как танцуют пьяные запорожцы и пляшут литовские медведи... Довольна ли?

Он взял Галю за подбородок, поцеловал ее в лоб и вышел.

О, женщины! Куда девалась эта грусть, эти слезы, эти рыдания? На заплаканном лице Гали проглянуло удоволь-

ствие, как ясный луч солнца сквозь разбитые облака после бури; не прошло пяти минут, как она уже весело напевала:

Болыть моя головонька
Вид самого чола;
Не бачила мыленького
Сегодни и вчора!..

VI

Сунца нема ал с зора бистра,
И плам зраках исто зацалиле.

Петар Петровне.

Ума твердого, но простого, стреляет метко, танцует разные танцы, вино пьет, а пьян не бывает.

Из старинного кондуитного списка.

Еще не совсем рассвело, и природа дремала в чутком покое. Слабый розовый отсвет разгорался на восточном горизонте. Было слышно, как вода потихоньку просачивалась под потоками старой водяной мельницы; река дымилась туманом, и вдруг прорезала его огненная струя; грянул выстрел — окрестность пробудилась: с шумом и криком подымались из тростников стада диких уток, и вверху, и внизу засвистели кулики, закричали бекасы. Из мельницы выскочил человек с преогромными усами.

— Ого-го! Какой славный выстрел! — говорил он, бродя по пояс в воде и собирая убитых уток.— Раз их, две их, три их — хорошо! Четыре их — удачный выстрел! Доброе ружье! Не жаль за него дать два рубля и нагайку... Пять их, и еще одна подстреленная! Поди-ка сюда! шесть их... Ого-го да она ныряет... проклятая, так и ускользнет из рук! Вот я тебя!..

И усатый человек прыгал за уткою в воде в разные стороны, как индийский факир, обрекший себя при жизни разным дурачествам для спасения души.

— Точно, ловкий выстрел! — сказал кто-то.

Усач оглянулся: на плотине подле мельницы стоял верховой, лошадь его, покрытая потом и пеною, тяжело работала боками.

— Не узнаешь меня, Шлапак? — продолжал верховой.

— Что я Шлапак — это правда. А вашу милость, кажется, я и во сне не видывал.

— Скоро, брат, забываешь старых приятелей! — сказал незнакомец, слезая с лошади.

— Постой, постой... ба! голос точно его, так, это литовская бородка... Чорт возьми! Да ты, ей-богу, Петро Подопригора!

— А то кто же?

— Господи боже мой! Так ты еще жив! — и Шлапак, выскоча из воды, начал обнимать Петра.— Да что за наряд такой на тебе? Откуда ты взял бороду, как у этой беззаконной Литвы, что ходит в лаптях? ха-ха-ха! Где ты пропадал два года? Я слышал, что ты приехал из похода домой да на другой день как в воду канул. Ну, что же стоишь, как деревянный? Пойдем, брат, в мельницу.

— Тут свежее, — отвечал Петро. — Мне и так жарко, а ты тащишь в эту душную будку.

— Будку? Нет, братику, это не будка, а такая мельница, каких здесь мало. Но, быть по-твоему: сядем на завалине да расскажи, откуда ты? Ни свет, ни заря, а так угрел лошадь!

Я сегодня о полуночи выехал из Сергеевки и к обеду должен назад воротиться.

— Ты, верно, подрядился нечистой силе возить почту?

— Я спешил к тебе, именно к тебе; мне нужна твоя помощь.

— Хорошо! Рассказывай поскорее, в чем дело. Побить кого — я не прочь; поехать на охоту до ляхов — согласен. Право, наскучило стрелять одних уток.

— А вот видишь: тебе, я думаю, известно, что я помолвлен на дочери есаула Крутолоба.

— Ну как не знать! Еще моя Феська — помнишь? — которая у меня смотрит за порядком — говорила: «Вот будет парочка!»

— День нашей свадьбы положен был по возвращении моем из похода против крымцев, куда я ходил в отряде полковника Вышкварки. Долго мы бродили по степям, отбили два табуна коней, развеяли несколько шаек басурманов и, очистив границу от этих разбойников, возвратились домой. Я целую ночь скакал из Прилук на хутор Крутолоба, где ожидали меня и отец, и невеста. Два раза расседлывался мой конь, два раза сбивался я с дороги и

уже светом приехал на хутор. Хотя было утро, но ни один человек не попадался мне навстречу; ворота и двери везде были растворены; скот бродил по огородам и по улице, как будто в хуторе все люди вымерли от чумы. Я спешу к панскому двору — та же пустота; кладовые разбиты; разные вещи разбросаны по двору. Вхожу в светлицу — Крутолоб и отец мой лежат связанные... Тут я узнал свое несчастие!

— Помню, помню! Когда Телепень увез твою Галю, в тот день я убил славную дрофу. Приезжаю домой, а мне Феська и рассказывает, что она слышала эту новость от торбаниста, который пил у меня в шинке водку.

— Я развязал стариков и в душе поклялся освободить Галю и отомстить Телепню. Чрез три дня я уже был в его шайке под именем Темоша Кобки.

— В шайке у Телепня?

— Да! И скоро сделался одним из его любимцев. Благодаря этому, я успел несколько раз видеться с Галею: она меня любит попрежнему. Пользуясь отлучкою разбойника и своею властью, я мог бы бежать с нею; но это бесполезно: сила Телепня известна; от него и под землею не спрячешься; тогда он мог бы погубить нас обоих; а я хочу отомстить ему, хочу погубить его самого. Теперь Телепень откочевал дня на два к Днепру, и я с полночи скакал к тебе просить помощи.

— Прекрасно! Но что я смогу сделать?

— А вот что: в Густыне, в день Успения, будет ярмарка; Телепень туда приедет, и приедет переряженный, а потому ты должен, собрав наших приятелей...

— Понимаю! Но сделай милость, братику, пойдем в мельницу.

— Зачем?

— Вот эта стая уток уже три раза перелетела над нашими головами; не будь здесь нас, они верно сели бы на воду подле мельницы, и я опять хватил бы их полдесятка... При том же, там у меня есть... знаешь, охотничья бутылка доброй водки и чудесная колбаса. С дороги перекусить не худо,— и Шлапак силою втащил Петра в мельницу.

Через час они вышли.

— Итак, я надеюсь на тебя,— сказал Петро, садясь на лошадь.— Не забывай Успения!

— Скорее забуду, как зовут меня.

— А много ли у тебя возов?

— Пропасть, штук двадцать будет, да все такие объемистые!

— Хорошо! Прощай.

— Прощай, братику.

Петро пригнулся к седлу, и облако пыли скрыло след ловкого наездника.

«Дело! — сказал сам себе Шлапак.— А какой богатый выстрел! да все крыжные! раз их, две их, три их, четыре их, пять их; жалко, что ушла шестая! Впрочем, пусть она расскажет в болоте своим приятелям, как стреляет хорунжий Шлапак».— И, взяв ружье и дичь, он тихими шагами пошел в хутор.

VII

> ...От множества народу
> Нет ни выходу, ни входу;
> Так кишмя вот и кишат.
> И смеются, и кричат.
>
> *П. Ершов.*

В 1622 году казак Железняк приехал из Сечи на родину, в Прилуцкий полк, женился и зажил домом; но грусть грызла сердце его. Напрасно молодая, черноокая жена целовала его, напрасно он заливал горе сладкими медами и крепкими наливками; у Железняка было много денег; много грехов лежало на душе его: и то, и другое привез казак на родину из Сечи. И вот задумал Железняк — а задумать у доброго казака то же, что и сделать — задумал, для искупления грехов, построить монастырь *на славу*. Слава льстит слабым потомкам Адама. Гордый наш Вишневецкий, узнав о намерении Железняка, подал ему руку,— и приступили к делу; Вишневецкий дал планы, Железняк — деньги. Вскоре великолепная церковь во имя Успения Богородицы, обведенная крепкою стеною, со службами для монахов и с красивою надписью над воротами: *иждивением пана Вишневецкого и казака Железняка,* явилась в непроходимой чаще леса, на берегу Удая, недалеко от Прилук. Окрестные жители назвали это урочище *Густыня,* по причине густого леса, окружавшего монастырь. Вишневецкий в честь храма новопостроенной церкви учредил 15 августа ярмарку.

Более двух столетий прошло с того времени. Монастырь давно упразднен; толстые стены ограды разруши-

лись; но все еще, по старой привычке, добрый малоросс считает грехом не быть в Густыне в день Успения. Тогда под ветхими сводами церкви опять раздается священное пение; вся окрестность закипит жизнью; соседние холмы запестреют народом; в зелени леса замелькают цветные ленты резвых девушек; запылают над рекою костры; даже сам Удай как-то сладостнее зашумит между тростниками. Право, славное место Густыня!

О, рудый Панько! Дай мне твоего волшебного пера начертать хоть слабую картину летней малороссийской ярмарки, представить этот водоворот двуногих и четвероногих, этот нестройный шум, говор, мычанье, ржание, крик, хохот, брань, песни; изобразить живописные кучи румяных яблок, пирамиды арбузов, золотые горы дынь, плутовские физиономии цыган и простодушные лица чумаков, с черными усами, бритою головою, длинным чубом; смешную спесь мелких уездных чиновников. Много, много я написал бы, но все это будет слабое подражание. Прочитайте лучше «Сорочинскую ярмарку» нашего Панька, и вы будете иметь ясное понятие о том, что делалось в Густыне 15 августа некоторого года.

Уже солнце высоко горело в небе; обедни отошли, и дух торговли развивался в полной силе; хлопанье по рукам, божбы, клятвы носились над площадью. Но вот хлопнул бич — толпа начала раздвигаться, и посреди ее покатился богатый рыдван, запряженный парою красивых лошадей. В рыдване сидел здоровый усач, а подле усача молодая, прекрасная женщина. Между тем, как народ, зевая, смотрел на пышный экипаж, он, прокатясь во всю длину ярмарочной площади, своротил налево и остановился под тенью верб. Кучер, в смушевой шапке, слез с козел, подбросил лошадям вязанку травы, закурил коротенькую трубку, сел на землю, поджавши ноги, и начал любоваться, как еврей и цыган на хромых лошадях бегали взапуски. А пан и пани, в сопровождении дюжей босой девки, тихо двинулись к ярмарке.

— Грицко, Грицко, а Грицко! — говорила Катря, дергая за полу своего мужа.

— Га! — отвечал он.

— То паны идут?

— Ну, да.

— А что ж это за паны?

— Бог их знает.

— Да какие же это паны?

— Господи мой! Ну, паны себе — да и только.

— А откуда они?

— Отвяжись, пожалуйста! — и Грицко медленно двинулся вперед, уплетая дыню, которую держал в обеих руках.

Катря осталась решительно без всяких сведений. Не знаю, что бы она делала, если б не подоспела к ней кума. Кума — лицо важное в Малороссии: свадьбы, похороны, выборные, рекруты, сплетни, вареники не могут существовать, не могут действовать без кумы. Она везде, где ее нужно, где и не нужно, где ее просят и не просят; она говорит, советует, бранится, работает и головою, и руками, и ногами, то действует, то страдает — словом, если бы можно допустить существование философского камня, то главным его элементом была бы непременно кума.

— Это не наш пан Остапенко, и не Крыця,— говорила скороговоркою кума, ударив по плечу Катрю.

— Не Кошуля ли?

— О, будто я не знаю Кошули! У того хоть жупан зеленый и так же вышит золотыми шнурками, да шаровары синие, а у этого все платье зеленое.

— Будто у Кошули синие шаровары?

— Вот еще славно! А тож какие? Кому знать лучше, как не мне? Пан Кошуля приезжал в таком наряде в наше село, как я была еще девушкою. Еще бы не знать этого!

— Так это Олийник.

— Туда! Как таки не совестно говорить бог знает что, не подумавши! Твой Олийник не чета этому молодцу, посмотри: что за плечи, что за усы! Да и откуда бы Олийник взял такую паню?

— Так вот отгадала! Именно отгадала, ей-богу, отгадала: это пирятинский сотник. Еще вчера невесткиной свахи сестра говорила мне, что его ждут на ярмарку.

— Вот что так, то так. Знай наших! Даже сам сотник приехал к нам из Пирятина!

— И неудивительно: у нас в Густыне разве только птичьего молока нет.

Во время этого разговора толпа стеснилась и скрыла из глаз кумы и Катри занимательного пана. Кума стала на колесо соседнего воза и продолжала смотреть.

— Ну, что там видно? — спрашивала Катря.

— Чудеса да и только; там кто-то *водит музыку*. Господи, как он пляшет подле тех чумаков, что продают рыбу! Сотник с женою остановился и смотрит на удальца. Проклятые чумаки! Так сдвинулись в кружок вокруг сотника, что ничего не видать. Да в своем ли я уме? Ах, бедная моя голова! Что это...

— А что там? — спрашивала Катря.

— Постой! Кругом из чумацких возов лезут казаки, как из ульев пчелы.

В это время послышался выстрел.

— Телепень! Телепень! — пронеслось меж народом. Толпа дрогнула; на площади поскакали казаки. Тут, на беду, ветер поднял такую пыль, сделалась такая кутерьма, что кума не могла добиться толку.

VIII

И, гу! гу! гу!..

Припев свадебных малоросс. песен.

Давно было за полночь, а на хуторе у Крутолоба никто и не думал спать. Весь хутор собрался на панский двор, на котором ярко пылали смолевые бочки; везде были поставлены чаны с медом и горелкою и разные закуски для простых казаков, а в самом доме гремела музыка; туда беспрестанно входили и выходили люди знаменитые, чиновные; там, в переднем углу, подле жениха, молодого Петра, сидела красавица-невеста Галя, скромно опустив глаза на грудь, увешанную жемчугом и монистами, между тем как легкий, радужный каскад шелковых лент, падая с головы, разбегался по плечам ее, струился подле щек и ушей, нашептывая негу. Петро был одет в красный жупан, обшитый богатым галуном и бахромою, черная, как смоль, баранья шапка оттеняла свежее лицо его; из шапки прихотливо отбросился в сторону алый верх; на нем, сверкая, дрожала золотая кисточка. На столе, перед новобрачными, лежал большой коровай, увитый малиновым шелком, увенчанный кистями калины и ржаными колосьями; подле коровая красиво возвышалось кудрявое деревцо с золотыми орехами, листьями и плодами; далее горели золоченые кубки и разноцветные бутыли... Старик Крутолоб и Подопригора, одетые в праздничное платье, суетились в

комнате, потчуя гостей ароматною вареною. Подле Гали сидела *светилка,* держа в руках казачью саблю, обвитую зеленью и цветами, между которыми пылали восковые свечи; далее, по обеим сторонам светлицы, сверкали серебром и золотом кунтуши и жупаны гостей; посредине светлицы плясал до упаду небольшой усатый толстяк. Уже давно танцевал он; его движения становились ленивее, музыка играла тише; вдруг он приостановился, закричал: *«Грай Санжаривкы!»* — и с новою силою пустился барабанить ногами, припевая:

Ишлы дивки з Санжаривкы,
А за ными два парубкы,
А собака з макивок:
Гав, гав! на дивок!
    гав, гав, гав, гав
    гав, гав, на дивок!..

Он тогда только перестал танцевать, когда родные и знакомые, взяв его под руки, отвели в сторону и запретили играть музыкантам.

— Ты, Шлапак, как я замечаю, большой охотник танцевать? — спросил один из гостей неутомимого танцора.

— Признаюсь, люблю побеситься у приятеля, когда радость не только на языке, но и на сердце, да и песня мне эта очень полюбилась с тех пор, как я ее проплясал перед Телепнем. Тогда не то было: танцевал бойко, а душа так и просилась в пятки.

— Ты давно обещал рассказать мне, как это было.

— Было весьма обыкновенно. Мне сказал Петро, что Телепень с Галею будет на ярмарке, одетый паном. Я подговорил полсотни приятелей, отборных казаков, положил их в чумацкие возы и, накрыв кожами, поставил на ярмарочной площади, а сам, взяв двух музыкантов и бутылку водки, пошел гулять между народом. Скоро показался богатый пан с молоденькою женою; я подпустил их к моим возам и начал рассыпаться мелким бесом, заплясал, запел Санжаривкы. Глядь, а красавица уронила платок: это был условный знак — я вприсядку да и свистнул. Тут из всех возов, как из земли, выросли мои ребята; я прямо на разбойника и, поверишь ли, не так чорт страшен, как его малюют; поверишь ли, что этот трус, чтоб ему не есть порядочных галушек, в пяти шагах выстрелил по мне из пистолета и — дал промах!..

— Да он уже ничего есть не станет: его на прошлой неделе в Прилуках четвертовали.

— Слышал. Бог с ним! Одним бездельником меньше на свете, да и только. А все я не понимаю, отчего его так боялись? Стрелять не умел, грешный! Это не то, что иной стрелок: хватит, чорт возьми! в один выстрел полдесятка или более уток... Да вот, недалеко сказать, с месяц назад, я сделал засаду...

— Староста, пан подстароста, благословите спать итти,— заревел подле Шлапака исполинского роста мужчина, перевязанный через плечо красным поясом.

— Бог благословит! — отвечал протяжно староста.

Тут музыка заиграла марш; гости начали вставать с мест, и Галя, покраснев, как маковый цвет, подала торжествовавшему Петру руку.

МЕСЯЦ и СОЛНЦЕ

Предание

Случалось ли вам видеть ясное майское утро, когда молодое солнце топит розовые лучи свои в нежнолазоревом небе, когда все пробуждается, поет, когда от долин веет свежестью и ароматом, а между тем темносиняя туча грозно встает на западе, растет выше и выше, и веселое утро, улыбаясь, посматривает на тучу и в светлых глазах его пробегает невольный страх, грустное ожидание?

Прекрасен, как майское утро, молодой Иван, сын старого казака Правды, но, как сизая туча, дума нерадостная бродит на челе его. Жаль молодца, и о чем ему печалиться? Статен, красив он; густые каштановые волосы оттеняют лицо его, такое светлое, открытое, что соседи прозвали его: *Иван во лбу месяц*. Отец любит Ивана; мать подарила его сестрою-красавицею — о чем бы ему печалиться?

Недавно, гуляя по лесу, увидел Иван молодую девушку. Ее светлорусые кудри небрежно бежали по плечам, на них был накинут голубой венок из васильков. Она сидела под ивою, склонясь к ручью, и слезы, как зернистый жемчуг, катились по ее розовым щекам в воду.

— О чем ты плачешь? — спросил Иван девушку.

— О тебе,— отвечала она и сквозь слезы посмотрела

на Ивана лазоревыми глазками так ласково, с таким участием.— Я твоя Доля. От самой колыбели я смотрю за тобою: бужу тебя на утренней заре, прыская в лицо свежею росою, и вечером засыпаю усталые глаза твои мягким пухом; я держу под уздцы твою лошадь, когда ты спереживаешь в степи вольного кречета; собираю дыхание трав и лучи звездные и плету из них чудные сны, которые забавляют тебя. Всегда я весело смотрела на тебя; но с тех пор, как мать твоя родила дочь, мне грустно, я плачу о тебе и день и ночь: сестра твоя... беги от нее, это будет змея в образе человека; она изведет тебя, если ты не оставишь дом родителей. Беги от нее...— И слезы сильнее прежнего полились из глаз Доли.

— Поеду,— отвечал Иван.— Только перестань плакать.

Девушка исчезла; из ивового куста порхнула ласточка и, весело щебеча, начала виться над водою.

Оттого стал печален Иван; оттого черная дума помрачала ясное чело его.

Далеко-далеко, на высокой горе, на востоке, живет Солнце; много добра делает оно в мире; старик Правда с незапамятных времен водил с ним дружбу; к нему отправился и сын его.

Рано утром взглянул Иван в последний раз на отца и мать свою: они сладко спали; им сердце не вещевало, что любимый сын оставляет их навеки. Грудь Ивана сжалась; слезы брызнули из очей; он бросился на коня и вихрем помчался по чистому полю. Только шумела подле него степная трава, только веселая ласточка, щебеча, вилась подле коня его.

Долго ехал молодой Иван и видит необозримое поле: черные, мохнатые сосны, как мертвые чудовища — медведи, лежат по полю; ветвистые дубы брошены один на другой, как скошенная степная трава на покосе; поднятые из земли жилистые корни, словно руки, протянулись к небу с жалобою; вправо чернел большой лес; посреди поляны, на дубовом пне, сидел человек. Он ел ломоть черствого хлеба, смачивая его слезами.

— О чем ты плачешь? — спросил Иван этого человека.

— Как мне не плакать, — отвечал он, — может быть, ты слыхал про меня, добрый человек: я Вернидуб; я обречен всю жизнь вырывать с корнями деревья. Моими тру-

дами уже истреблен весь лес в мире, кроме этого,— и он показал вправо.— А когда я окончу эту трудную работу, то мне придется умереть. Такова моя судьба! Тяжело мне жить на свете, а умирать не хочется.

Иван пожалел о Вернидубе и поехал далее.

Долго-долго скакал Иван и увидел огромную равнину, покрытую каменьями; на одном камне сидел дюжий, широкоплечий человек, опустя печальную голову.

— О чем ты горюешь? — спросил Иван человека.

— Как мне не горевать,— отвечал он. — Я — Вернигора. От рождения до самой смерти я обречен разрушать горы. Многие века я ломаю камень и уже привык к моей тяжкой работе; мало этого — она даже мила мне: какое зрелище, когда снимешь кору с горы великана и посмотришь тайные святилища земли! Роскошными деревьями распустило там свои ветви светлое серебро, как огненные реки, вытянулись жилы золота; радугами горят дорогие камни; как слезы, в темном грунте сверкают алмазы, и как свежие луга, широко лежат пласты медной зелени. Радуется душа, смотря на это; а вот остается одна гора; я ее сломаю и — умру. Так велено судьбиною.

Иван пожалел о Вернигоре и поехал к Солнцу.

Лет десять жил Иван у Солнца и жил лучше, нежели дома, если только богатство может заменить родину; что ни задумывал он, тотчас же все являлось: дорогие кушанья и напитки, кони и быстрые соколы. Но взгрустнулось Ивану за домом; он вышел на гору, где жило Солнце, посмотрел на запад, далеко-далеко, и увидел свой дом. В нем все было как и прежде: так же зеленело перед окнами ветвистое дерево, так же стояли старые кладовые и амбары, по-старому бегал по двору Рябко; в саду, как и прежде, росли и давнишние друзья его — яблони и груши, обремененные краснобокими плодами; сестра его выросла и, сидя у окна, вышивала шелками; но ни отца, ни матери нигде не заметил Иван. Он еще раз пристально обвел глазами свой дом, и за садом, на высокой горе, увидел два новых креста... Горькие слезы помешали ему смотреть далее.

На другой день Иван ехал на родину. Напрасно уговаривало его Солнце остаться; он клял свою Долю, называл ее несправедливою, говорил, что она разлучила его с родителями, которые закрыли глаза, не благословя его.

— Прощай! — сказало Солнце. — Да не раскаивайся, что бросаешь меня. На прощанье проси, чего хочешь.

— Мне ничего не нужно,— отвечал Иван.— А едучи сюда, я видел двух человек, которым хотел бы помочь.— Тут Иван рассказал о Вернигоре и Вернидубе.

— Хорошо, — сказало Солнце. — Вот тебе щетка и платок: когда щетку бросишь на землю, то вырастет такой лес, какого от создания мира не было; а если махнешь платком, то взгромоздятся горы до самых облаков.

Солнце поцеловало Ивана, и он поехал на родину. Долго-долго скакал Иван и, усталый, измученный, подвел свою лошадь напиться к ручью.

— Ты опять едешь на родину, на верную смерть,— прозвучал из воды голос.

Иван посмотрел: между водяными цветами печально кивала ему головка Доли в голубом веночке.

— Еду непременно. Когда б я не знал тебя, то жил бы с добрыми родителями и закрыл бы глаза их... А теперь... Нет, худая моя Доля!

— Эй, Иван, не греши на Долю, она любит тебя. Иной пьет, гуляет в шинке и проматывает последний грош отцовский; между тем его нивы выбивает вольный ветер и птицы небесные; табуны разгоняют волки и медведи, а Доля его гуляет по берегу Черного моря: то собирает жемчуг, чтоб осыпать им первого чумака, который подъедет к лиману, или снова бросит его в пропасть; то плещется с волнами, то летает с легким облаком. Ей весело, а бедняк плачется без Доли, дети просят у него хлеба — ему нечем накормить их. Нет, не такая у тебя Доля; я смотрю за тобою, как за дитятею; я плачу, когда грозит тебе зло, а ты еще ругаешь меня! Часто не знают люди, что делают. Иван, не езди на родину!

Иван сел на коня, махнул рукою и поскакал далее. Мимоездом отдал Иван платок Вернигоре и щетку Вернидубу.

Летит Иван домой. Его молодецкий конь разве на бегу схватит колос травы, или полевой цветок, или листок с придорожного кустарника да утром капли две росы — тем и жив добрый конь. Хозяин не думает его кормить, он торопит его на родину. Вот уже показались знакомые рощи; впереди сверкает родная речка, за нею весело шумят друзья детства — золотые поля и пестрые сенокосы; знакомая мельница радостно машет из-за горы крыльями.

Всякий куст, всякое дерево сильно говорит сердцу. Усталый конь как-то легче, бодрее поскакал по знакомой дороге; сердце Ивана готово было выпрыгнуть. Вот запах, родной дым; Иван уже в деревне; перед ним широко распахнулись ворота родительского дома.

Весело принимает сестра дорогого гостя: лучшие кушанья бременят столы; вкусные меды и вина принесены из погребов. Целует сестра брата и в очи соколиные, и в малиновые уста: она рада приезду его. А как хороша она сама! Черные, как смоль, косы двойным венком обвили ее белое чело; как две зрелые терновые ягоды, омытые в утренней росе, блестели глаза из-под длинных пушистых ресниц, а над ними двумя стройными дугами расходились собольи брови; перламутровые зубы, гибкий высокий стан — все было обворожительно.

— Послушай, брат,— сказала она, обняв его и смотря прямо в очи.— Я пойду хлопотать по хозяйству, хочу достойно принять милого гостя, а ты позабавься, поиграй в эти гусли: я люблю слушать, как играют они.

Сестра открыла гусли красного дерева с золотыми струнами и вышла.

«И я мог бояться этого доброго создания»,— сказал сам себе Иван, пробуя гусли. Громкая музыка огласила весь двор.

Иван играет. Легкая тень упала на струны; он поднял голову: перед ним стояла Доля; голубой веночек завял на голове ее, руки печально скрестились на груди. Доля плакала.

— Смерть висит над тобою, а ты играешь так весело! Беги скорее!

— Я не верю тебе, злой дух, — отвечал Иван. — Ты нарочно ссоришь меня с доброю сестрою и заставляешь бегать по свету. Много я вытерпел, слушая тебя.

— Я сяду играть на гуслях, — говорила Доля, — а ты ступай в погреб, который вон там, в саду, и посмотри в щелку, что там делается.

Доля весело стала перебирать струны, а Иван подошел к погребу, пригнулся к щелке и обмер в ужасе. Посреди погреба стояло большое точило; сестра одною рукою ворочала камень, а в другой держала длинный стальной нож; искры из-под ножа били фонтаном и освещали сырые стены погреба, на которых висели снопами разные зелья, вяленые змеи, чучела уродов, человеческие кости,

черепа со впадинами вместо очей с желтыми зубами. Страшно было лицо сестры, облитое огненным светом; красота ее исказилась, распущенные косы, как змеи, вились по плечам и вокруг шеи; покрытые пеною уста судорожно дрожали и бормотали проклятия.

«Я угощу тебя, баловень! — говорила она, остря нож.— Так вот тот, которого любили до смерти родители, который только и был у них в помине, как будто меня у них не было... Как играет затейливо! Играй, играй себе похоронную песню! Я изготовлю тебе богатый пир из огня и железа! Вишь какой! Видно зелье: приехал да прямо на могилу к старикам; давай плакать! Меня будто и не заметил... Чего доброго, завтра отберет от меня все да выгонит в шею. Постой, голубчик!..»

Так говорила преступная сестра, и колесо точила кружилось скорее, и злобно шипела сталь, целуя холодный камень... А Иван далеко уже скакал на своем быстром коне, без седла, без вооружения.

Вышла сестра из погреба, поправила волосы, посмотрелась в светлый нож и, спрятав его в рукав, пошла к светлице. Там, не умолкая, звучат гусли, и сестра, улыбаясь, отворила дверь; музыка умолкла; брата нет, только быстро промелькнула в дверь серенькая мышь. Черная кровь проступила сквозь белую кожу сестры; лицо ее побагровело, глаза засверкали.

— Я поймаю тебя, слабый ребенок! — прошипела она и, захохотав, выбежала из комнаты.

Ночь. В степи, на кургане, горит огонь; на огне стоит котел; в котле варятся чары. Волны кипятка выбрасывают наверх то змеиную кожу, то клубок волос, то ногти, то колючие травы, и опять все прячется на дно сосуда. Перед котлом стоит сестра и подкладывает в огонь щепок из дубового гроба. Чудно трещит огонь, стонут и кипят злые снадобья; и вот повалил из котла густой пар; по степи пронесся протяжный свист, и пар гибкою струею повис в воздухе; минута — он спустился ниже и огромным змеем покорно протянулся у ног волшебницы; с злобною радостью вскочила она ему на спину и, как стрела, понеслась за братом.

Далеко скакал Иван, как увидел позади себя в горизонте черное пятно; оно все росло и приближалось, и когда Иван минул Вернидуба, вырвавшего последние деревья, то ясно увидел за собою сестру, летящую на чудно́м

змее. В это время Вернидуб бросил на землю щетку — вдруг зашевелилась земля, и в мгновение ока вырос, зашумел непроходимый лес; махровая сосна скрестилась ветвями с широколистым кленом; при корне их заткал стену колючий терновник; дикий хмель увил, перепутал лес. По ту сторону леса ехал Иван на быстром коне, по сю сторону стояла, как окаменелая, сестра. Но вот соскочила она с змеи, взяла ее за голову, ударила об землю — и длинная пила засверкала в руках ее. Она принялась пилить лес. Как снопы, валятся огромные деревья; пила страшно визжит по лесу; пот в три ручья льется с лица преступной сестры, а Иван, между тем, все едет далее и далее. Три дня и три ночи работала сестра; наконец яркою полосою сверкнула пред нею равнина; она пилу о землю — пила стала змеем; только пыль поднялась над степью, как полетели они.

Иван опять увидел за собою роковое пятно и поскакал шибче; только успел он минуть Вернигору, как тот махнул платком — затрещало, зазвенело под землею, и вдруг, как исполины, медленно, торжественно вышли из земли каменные горы; все плотнее и плотнее сдвигались они, росли выше и выше, уперлись своими головами в небо и стали, как стена, между братом и сестрою, между пороком и добродетелью. Но какая преграда удерживает зло?

Хороши были эти горы! Их ледяные вершины горели алмазами и отливали матовым серебром; ниже зеленели рощи, в рощах бегали звери, пели птицы, с утесов прыгали водопады, брызгали фонтаны. Посмотрела сестра на горы и горько улыбнулась, а слезы отчаяния облили глаза ее. Она взяла змея за хвост, ударила о камень, и змея стала широким топором; сверкнул топор в руке сестры — дождь искр обрызнул всю окрестность; запрыгал топор чаще и чаще; зазвучали земля и небо. И мрамор, и гранит, обдавая дерзкую потоком огня, сокрушались и падали в бездну.

Три недели, день и ночь, рубила преступница горы, а Иван все скакал к Солнцу и уже был близко его дома, как увидел за собою летящую сестру. Он пригнулся на коне и помчался, как из лука стрела, а между тем слышит, погоня все ближе и ближе; уже ядовитое дыхание змеи обдает его жаром, жжет искрами; вот чья-то рука машет над ним, ловит его за затылок; он наклонился вперед,

коня нагайкою — и разом вскочил на двор Солнца; за ним захлопнулись ворота; сестра осталась за воротами.

Кольцом взвился змей вокруг дома Солнца. У ворот стоит сестра и требует себе брата.

— Ты, Солнце, неправедно завладело братом,— говорила она.— Ты сеешь раздор между нами. Отдай мне моего брата! Он забыл любовь родственную и бегает от меня, как дикий зверь. Я вышла готовить ему лучшие кушанья и напитки, а он, как вор, выбежал из отцовского дома и поскакал к тебе сломя голову. Я, бедная, слабая женщина, выбилась из сил, его преследуя; и что ж? — достигаю, хочу обнять брата, а злой человек прячет его за замки.

Несколько дней Солнце не выходило и не показывалось добрым людям, а люди добрые так любят Солнце-благодетеля! На земле стало грустно, печально...

— Послушай,— сказал Иван Солнцу. — выдай меня сестре: ты за меня терпишь лютый плен; вся земля невинно страдает.

— Этому не бывать, — отвечало Солнце. — Я пойду лучше поговорю с твоею сестрою: может быть она стала добрее.

Солнце вышло из комнаты и, подойдя к воротам, долго говорило с сестрою.

— Твоя сестра выпускает нас из плена,— говорило, весело улыбаясь, Солнце, войдя к Ивану.— Только с условием: должно поставить перед домом большие весы; на одну доску весов станет она, на другую я с тобою, и кто подымется выше, тот будет вечным господином того, кто его перетянет.

— Пропали мы! — сказал печально Иван.— Нас двое, а она одна, да еще женщина: они все, говорят, легче ветра! Быть нам рабами у этой ведьмы.

— Невинность всплывает наверх, как масло, а зло камнем тонет,— отвечало Солнце и велело ставить перед домом весы. Злобно улыбаясь, смотрела на эту работу сестра-преступница.

На другой день рано утром вышло Солнце из дома, ведя за руку Ивана. Они подошли к весам и стали на одну доску; дрожа от радости, вскочила сестра на другую и — побледнела: ее доска быстро опускалась вниз; еще секунда — земля растворилась, и она ушла в землю. Только клуб трескучего пламени вырвался из земли, и бездна

опять сдвинулась, густой дым побежал от того места по земле. Высоко поднялась доска, на которой стояли Солнце с Иваном. Мгновение — и две светлые черты сверкнули между небом и землею: праведники улетели на небо и остались на нем.

Всякий день с тех пор ходит Солнце по небу и светит, и греет, и благотворит миру. Всякую ночь Месяц (Иван) грустно светит земле, припоминая своих родителей и злую сестру. Чистые слезы его живительною росою падают на растения.

Великая необъятная Россия! Много морей омывает берега ее; много тысяч рек живою сеткою легли на земле ее, благословляя бога и государя! И кругом этой исполинской страны, как бесценный жемчуг вокруг святой картины, легли верною цепью казаки. Помнит месяц свое происхождение; любит казаков как братьев; в пограничных лесах Польши и Пруссии, в горах Кавказа, на равнинах Татарии и в степях Китая — везде светит им дружелюбно. Ни один лихой наезд, ни одно истинно казачье дело не совершается иначе, как при лучах месяца, и в народе зовут его *казачье солнце*.

ПОТАПОВА НЕДЕЛЯ

Быль

Не слухай сердце тих, кто так тоби казав,
Що буцим бог жинкам волосья довге дав
За тим, що розум им укоротыв чымало:
То погань так верзла, школярство так брехало.

Гулак-Артемовский.

Воскресенье

Та-та-та! Голубочко! Будто я вас не знаю!.. Рассказывай, когда хочешь, поповой кобыле, — говорил протяжно Потап своей жене, медленно ложась на широкую скамью.

— Говорю, говорила и буду говорить, что мне с тобою житья нет. Разве меня мать отдала за татарина? Разве завязала в мешок, чтоб я света не видала? — отвечала

скороговоркою Настя, молоденькая женщина небольшого роста, жена Потапа, и полные ее щеки горели от гнева, и черные глазки сверкали, как искры.

— Ого-го, та ба! та до кумы не пущу! Пусть я узнаю, что ты была у нее!

— Так что? И пойду, и не побоюсь старого дьявола!

— Кого, кого?

— Не дослышал? — дьявола, вот тебе!

— Гей, жена! Не серди меня: ты знаешь, что я зол.

— Зол? Еще ли он зол! Ах ты, старый!.. Я тебе покажу злого...— И с этими словами глиняный кувшин, бывший в руках Насти, полетел в голову Потапа. Потап поднял руку ко лбу; кувшин разлетелся о жилистый кулак его.

— Скверная ведьма! — сказал Потап и обернулся лицом к стене.

— Скверная ведьма? — закричала Настя, схватив веник, стоявший у порога, и удары веника посыпались из рук супруги на бедного Потапа.

— Послушай, перестань шутить! — говорил Потап.— Ты знаешь, что я зол.

— Как? Ты зол? Так я должна терпеть твою злобу? Вот я тебе!..— И опять веник опустился на Потапа.

— Зачем ты шла за меня, когда знала, что я такой злой? — говорил Потап, защищаясь руками и ногами от веника.

Еще несколько обоюдных упреков, еще несколько ударов веника, и эта семейная буря совершенно окончилась; даже, когда пришла вечером кума, Потап весьма учтиво выпил с нею около бутылки запеканки, хотя, между нами будь сказано, он терпеть не мог кумы, у которой собирались веселые вечеринки и часто бывал новоприезжий из Переяславля дьячок Петя Опанасович Флоранский; а этот Флоранский такими масляными глазками смотрел на молодых женщин. Петя Опанасович, воспитанник покойной барыни, пребогомольной вдовы, считался дальним родственником кумы, носил длинный синий сюртук, имел черные усы, ровный бас и двадцать пять лет от роду. Седому Потапу кралось под шестьдесят. Настя едва насчитывала двадцать. Это было весною, именно в марте, не помню хорошенько которого года — да это все равно.

Понедельник

Сколько раз случалось мне видеть весну, и всегда новое чувство оживляло меня. Скажите люди,— вы так много хвастаете умом своим,— скажите мне, что такое разливается тогда в воздухе? Что заставляет трепетать грудь вашу безотчетным восторгом? Что раздвигает своды неба и показывает вам высоко-высоко недоступную лазурь? Но вы молчите, мудрые. А между тем, вокруг меня пир весны в полном блеске: непостижимая сила разбудила природу; оживленные корни ползают под землею, жужжат насекомые, поют птицы, шумят воды. Далеко под синим сводом тянутся перелетные птицы: стройно, ряд за рядом, показываются они с юга, несутся над головою моею, оживляя пустыню воздуха радостным криком, и на севере исчезают, как минуты нашей жизни, как радости человека!.. И откуда эта воздушная армия? И куда летит она? «Это посланцы бога,— говорит темная чернь,— они разносят из рая жизнь и теплоту на крыльях своих». Летите, вольные птицы, я не полечу за вами мечтою на север: там холодно, а здесь так прекрасно! Но когда отцветет это пышное лето, открасуется, как невеста в венчальном наряде; когда печально пожелтеет поле, холодный ветер зашумит по дубраве и унылые рощи, грустно вздыхая от его порывов, с каждым вздохом станут ронять, как слезы, поблеклые листья, тогда вы, минутные гости, поспешите на теплый юг, тогда я вам передам много-много на мою родину!.. Вы увидите там мою ненаглядную, вы скажите ей от меня весть; она найдет вас в небе своими черными очами... О, как вам будет весело лететь! С какой любовью смотрит она! Но прочь фантазия... Вот перелетная станица спускается все ниже и ниже к земле; передовой журавль сел на поле, и все окружили его. Через минуту поднялась стая, но передовой остался на месте; он вытянул шею, взмахнул крыльями, чтобы следовать за товарищами: крылья его опустились как свинцовые. Птицы обвили над ним венок, другой, третий, все выше и выше и скрылись из глаз. Прощальный крик отсталого, как вопль отчаяния, долго раздавался в пустынном поле. Верно, пуля охотника задела крыло его, и полувоздушный жилец остался прикован к земле. Жаль тебя, вольная птица! Страшно жить на коварной земле.

Вечерело. Лениво тянулся по полю плуг, запряженный

восемью волами; впереди шли два мальчика, а позади плуга мерно передвигал ноги Потап; на нем были тяжелые сапоги до колена, широкие шаровары, свитка, опоясанная пестрым кушаком, и сивая баранья шапка с синим верхом; в зубах он держал коротенькую трубку; над его головою то разрасталось, то исчезало легкое облачко табачного дыма.

— А что там ходит подле дороги? — спросил Потап мальчика, прижимая указательным пальцем золу в трубке.

— Да, что-то ходит, дядюшка.

— Вот дурень! Да что ж оно такое?

— А бог его знает, а ходит.

— Я и сам вижу, что ходит; кажется, птица.

— Должно быть, птица, дядюшка. А вот я узнаю.

И мальчик побежал к ходившему предмету. Напрасно бедный журавль махал крыльями,— они его не слушались; пришлось уходить ногами, но мальчик беспрестанно останавливал его. К мальчику прибежал товарищ, наконец подоспел сам Потап. Со всех сторон полетели на бедного журавля палки: он упал, и через полчаса, не более, Потап, сидя за столом в своей хате, говорил жене:

— Смотри, Настя, я завтра до света выеду в поле и буду домой не раньше вечера, а ты изготовь мне к ужину славный борщ, положи в него целого журавля, которого я убил сегодня, да побольше сала... Уж коли есть, так есть!

— А борщ с журавлиным мясом очень вкусен,— сказала Настя,— я пробовала его у попадьи. Ей, бывало, стреляет разную дичь тот высокий офицер, что, знаешь, стоял в нашей деревне.

— Мы и не офицеры, а полакомимся вволю. Туши, жена, каганец!

И в комнате сделалось темно.

Вторник

Чем-то будет Настя угощать своего мужа? Он скоро приедет с поля; уже вечереет.

Потап рано выехал на работу, а еще в обед съели журавля, да съели дочиста.

У Насти были гости: была кума и был Петя Опанасович; они сели за стол в такое время, как и все крещеные люди. Петя Опанасович отведал раза четыре ганусовой

водки; кума рассказала какую-то историю, и когда Флоранский начал делать пятое испытание над бутылкою, а кума оканчивала рассказ, журавля уже не было, даже его кости, как вещь ненужная, были выброшены за окно. Жаль, что их не видел кочующий механик Дерменш,— он сделал бы из них карманного Наполеона, или свисток, или игольник, или какую-нибудь полезную дудочку, а все-таки что-нибудь сделал бы.

Но чем станет Настя угощать своего мужа? Уже вечер; Кума и Петя Опанасович ушли домой; скоро будет Потап с поля.

— Гей! цоб, цоб, гей! — раздалось под окном на улице. Ворота заскрипели; лениво втянулся на двор Потапа длинный плуг. Минута, и Потап был уже в хате.

— Давай, жена, ужинать! — сказал он, положив на лавку плеть и шапку, и сел за стол.

Чем-то станет угощать его Настя? Журавля съели еще за обедом.

— Давай же поскорее! — закричал Потап.

— Вот еще! Как москаль раскричался! Успеешь накушаться,— говорила Настя, ставя перед мужем огромную миску постного борщу.

Потап попробовал борщ, посмотрел на жену, положил на стол ложку и плюнул.

— С чем этот борщ? Разумеется, постный. Разве я монах какой киевский, чтоб по вторникам поститься?

— А с чем бы я тебе изготовила? Небойсь, ты купил мяса.

— А журавля где ты дела?

— Журавля! Какого журавля? Что ты бредишь!

— Это так! Еще бредишь! Журавля, которого вчера убил.

— Это, верно, тебе снилось.

— Гм! Снилось! Вчера я убил палкою журавля, привез его, отдал тебе в руки и приказал приготовить из него борщ.

— Бог с тобою! — продолжала Настя, перекрестив Потапа.— Хоть не кричи так громко, а то сторонние люди, идя мимо, услышат, да еще, чего доброго, скажут, что ты с ума сошел!

— Как с ума сошел? Я пойду позову мальчиков: они видели, как я бил журавля.

— Погоди,— говорила Настя, удерживая Потапа за

полу,— погоди, не делай нам стыда, прежде подумай хорошенько. Слыханное ли дело убить палкою журавля? И воробья не скоро убьешь этим инструментом, а то журавль, птица осторожная! Ты подумай. Вот наш комиссар, какой стрелок, ни по чему не даст промаху, а как поедет на охоту, наберет с собою сколько людей, да все грамотных, сколько ружей и всякого запасу, да ездят они иногда два-три дня; выпьют столько разных настоек, что нам не иметь до смерти, а слава богу, когда убьют хоть одного журавля. Это птица осторожная! Ты и не думай звать мальчиков, они тебе глаза высмеют и везде расскажут, что ты одурел.

— Да я именно помню: я ехал с поля, а журавль ходит подле дороги; я взял палку, бросил и, кажется, убил его.

— То-то, что тебе так кажется; тебе приснилось или представилось.

— Оно, может быть, и представилось; так нет, я вот тут и положил его на лавке.

— Опять за свое! Бог с тобою, Потапе, не испортил ли тебя кто-нибудь? Как можно рассказывать такое неподобное! Где б я дела этого журавля? Подумай хорошенько...

— И то правда. Именно мне приснилось! Да как живо! Ну, вот, я готов бы спорить, что убил журавля — так живо! Будто я держал его в руках!

— Да оставь его, не пугай меня. Не хочешь ли каши?

— Каши? Это не худо. Да как живо приснилось!..

Середа

Поднялось уже солнце высоко на небо. В воздухе жарче. Как-то ленивее идут в плуге волы, которыми пашет Потап. Совсем пора обедать. Идет Потап за плугом и думает: «Отчего жена не несет обеда? Я, кажется, велел ей принесть сегодня». А того и не видит, что вслед за ним идет жена его, несет ему обед, а в кувшине холодную воду. Вынимает она из кувшина живых щук и окуней и бросает их в борозду. Странные прихоти у этих женщин: несет мужу обед бог знает с какою соленою рыбою, а свежих щук и окуней бросает по полю!.. Жаль смотреть, как они, бедные, прыгают на солнце, так бы вот, кажется, взял их, несчастных, изжарил да и съел; а то, ведь, ни за что про-

падают! Вот окончилась нива, и плуг начал поворачивать налево. «Стой! — закричал Потап, увидя жену. — Распрягай волов, обед несут».— В это время Настя подошла к плугу и поставила на землю обед.

— Какой это вол идет у тебя впереди? — спросила она Потапа.

— Вот хозяйка, не знает своих животов! Отгадай.

— Неужели это наш красный, что хромал прошлое лето?

— Разумеется, тот самый.

— И теперь он ходит?

— Ты видишь!

— И пашет?

— Как нельзя лучше!

— Вот этому-то я не поверю! Еще что ходит — то может быть, а пахать — куда ему, грешному!.. Никогда не поверю.

— Да так пашет, что тебе и не снилось так пахать. Хочешь, я сейчас пропашу еще одну борозду?

— Пошел делать глупости! Сядем лучше обедать. Волы и так устали, они и не пойдут теперь; тебе же стыдно будет.

— Кто? Красный не пойдет? Знаешь ты!.. Хлопцы! Не распрягать, погоняй! — И плуг потянулся назад.— А что, не идет? Ай-да красный! Небойсь, не везет — а? Что ж ты молчишь, Настя? Уж эти мне женщины! Часто, господи прости, чорт знает с чем спорят! — говорил Потап, поглядывая самодовольно на жену.

— Дядюшка! — закричал мальчик, погонявший передних волов.

— Га?

— Дядюшка, рыба.

— Что?

— Дядюшка, щука!

— Дурак, то змея.

— Ей-богу, щука!

И мальчик нес к Потапу живую щуку.

— Брось ее, дурень! Это такая гадина,— кричал Потап; но мальчик уже принес и бросил к ногам его рыбу.

— Да это вправду щука,— говорила Настя.

— Точно щука,— повторил Потап, пожимая плечами.— Но откуда ее занесла нелегкая?

Бог ее знает; а щука славная и верно с икрою: такая

толстая! Поезжай далее, может быть, выпашешь и другую для ужина.

— Как выпашешь?

— А откуда же взялась эта? Ведь, ты ее выпахал из земли; щуки по полю не пасутся.

— Правда! Не пасутся, но...

— Дядюшка, окунь! — закричал опять мальчик.

— Неси его сюда,— говорил Потап, хлопая руками по широким шароварам. — Это целая история! Случалось мне выпахивать и змей, и мышей, и даже однажды ежа выпахал, а рыба попалась первый раз в жизни!

— Дядюшка!

— Опять?

— Опять!

— А что?

— Щука!

— Ха-ха-ха! Подавай ее сюда! Комедия да и только! Что я выпахал рыбу — это ясно; но откуда набралась она и как залезла в землю — не приберу толку!

— Сказывала мне бабушка покойницы матери, — говорила Настя,— что на этом месте в старину было озеро, которое потом высохло; так весьма может быть,— тогда рыба попряталась в землю да жила там до сих пор.

— Ну, так и есть! Теперь все понятно. Славные времена были эти, старинные!..

А между тем плуг ехал далее, и мальчик беспрестанно приносил Потапу живую рыбу, так что, когда сели обедать, Потап сам насчитал восемь щук и три окуня и, отдавая их жене, сказал:

— Слушай, Настя, я сегодня заночую в поле, а завтра ты возьми изготовь эту рыбу и принеси мне обедать. Да смотри, не переведи ее, как жу... (Тут Настя мигнула на Потапа) да, как, как... Ты сама знаешь, как что такое.

Четверг

Поздно вечером сердито вошел Потап в свою хату: он целый день питался одним хлебом и водою. Настя по какой-то причине не приносила ему обедать.

— Давай есть, жена! — закричал он. — Я голоден, как волк, по твоей милости!

— Вольно было не приходить к обеду.

— Да ведь я тебе приказывал принесть мне в поле рыбу?

— Вечно дурачится старый! В четверг вздумал поститься! И где бы я ему взяла рыбы? Лучше покушай галушек с маслом; ты их любишь, я нарочно для тебя приготовила.

— Галушки, гм! Но где ж рыба?

— Ха-ха-ха! Не знает, где рыба! Которая в воде — та плавает, которая у чумаков — та лежит в возах и амбарах, которую...

— Еще и смеется! Да наша где?

— Последний десяток тарани еще перед крещением съели. Помнишь, когда был кум Свистопляс в новых сапогах. Вот сапоги, настоящие московские! В каждую подошву вколочено сотни полторы гвоздей. Как идет кум по хате, стучит словно добрая лошадь.

— Что ты мне врешь околесную про Свистопляса да про московские сапоги! Ох, бабы! Меня не проведешь! Верно, кошки съели рыбу?

— Да отстань, пожалуйста! Какую рыбу?

— Ту, что я вчера выпахал из земли на нашей ниве.

— Вот опять бог знает что! Опять что-нибудь приснилось!

— Приснилось? Разве ты забыла, что я вчера, при твоих глазах, выпахал восемь щук и три окуня?

— Полно шутить! Ешь галушки, не то простынут.

— Как шутить? Я выпахал рыбу, а меня уверяют, что я шучу!

— Бог с тобою, Потапе! Не кричи так; право, сторонние люди услышат да расскажут везде, что ты с ума сошел. Рассуди хорошенько, умная ты голова: как может рыба жить в земле? Как она будет плавать? А ежели она и плавает, то почему не испугалась плуга и не уплыла в землю глубже? Ведь рыба в воде водится, а попробуй, начни пахать воду, право, и лягушки не поймаешь, хотя лягушка и не рыба, а так, живая, неедомая скверность. Нет, это чистый сон; и как можно верить всякому сну; мало чего не приснится, так и кричать: давай мне того и другого и десятого! А где его взять...

— Сон — другое дело; но рыбу я держал в своих руках, кажется, так и шевелилась!

— То-то и беда, что кажется! Вот мне раз показалось, что я плыву, как наяву, хоть побожиться, так живо! И дер-

жусь за претолстый чурбан... Проснулась; а я сплю себе преспокойно подле тебя, на мягкой постели!?

— Господи боже мой! Отчего же прежде не случались мне такие видения?.. Там журавль, тут рыба...

— Молчи, молчи, бога ради! Опять за старый бред! Ты нездоров, тебя испортили злые люди. И за что я, несчастная, суждена терпеть? — промолвила тихим голосом Настя, утирая рукавом слезы.

Потап задумался.

— Что ты не ужинаешь? — спросила его Настя.

— Мне нездоровится,— отвечал Потап и проворчал, закуривая трубку: — Тут что-то неспроста, право, неспроста.

— Ох, и я так думаю! — сказала Настя, и тяжелый вздох вырвался из полной груди ее.

Пятница

Сегодня пятница, день рабочий, и нет никакого праздника. Все люди отправились на работу: Заяц пошел в мельницу; Бардак давно стучит топором; Куць с Швецом молотят просо; прочие все поехали в поле. Теперь время весеннее: люди, как муравьи, роются в земле, а Потап остался дома; его хлопцы сами поехали на ниву. Потап не мог даже обедать; он был скучен, молча курил трубку и на ласки и поцелуи жены не отвечал ни слова. После обеда он взял шапку и куда-то вышел и возвратился уже перед вечером. В хате никого не было; Настя что-то делала на огороде.

— Я никак не думал,— говорил сам себе Потап, садясь на лавку,— чтоб эта кума была такая добрая; попала мне на дороге и затащила к себе. Славная у ней настойка! Говорит: «Выпейте, Потап Евтухович, это полезно», и правда,— гораздо благополучнее на желудке... Да и говорит-таки: «Испытайте вашу болезнь над вашею же женою...» Пожалуй, я не прочь, мне же лучше. «Когда вправду больны, так лечитесь,— говорит,— а когда эти женские штуки...» О! то я покажу себя, я ведь зол, сильно зол!.. Спасибо еще сказала: бог не приказал женщинам стричь волос, а я частенько думал, отчего они не стригутся, а им бог не приказал! Верно, так надобно. Да, говорит, оттого-то в хате и стричь нельзя. Ну, да это пустое... Спасибо куме, право она такая добрая! «Вы,— говорит,— По-

тап Евтухович, не беспокойтесь и выпейте еще; а тогда, как испытаете — другое дело! Это важно, говорит, попросите Флоранского: он знает разные заклинания». Мне-то больно не по душе этот Петя Опанасович, а делать нечего.

Так, или почти так, рассуждал Потап, пока не пришла Настя с огорода.

Настал вечер. Поужинали. Вот и темно в мире: пора спать.

— Мы сегодня будем ночевать в амбаре,— сказал Потап жене.

— В амбаре?

— Да, в амбаре; здесь очень душно.

— Давно ли кутался тремя шубами? Ничем, бывало, его не нагреешь, а теперь душно!..

— Не твое дело, говорю тебе: иди стели постель в амбаре, а я подожду здесь хлопцев. Как они долго не едут с поля!

— То журавли, то рыба, то душно, еще бог знает что дальше будет. Пропал человек! — прошептала Настя и пошла в амбар.

Потап остался один. Он вынул из кармана ножницы, достал с полки брус и начал острить их. Скоро приехали хлопцы; волы распряжены; им дали сена; плуг поставлен на месте. Чего же более? Потап, осмотревши все хозяйство, пошел в амбар.

Суббота

Настало утро, тихое, прекрасное утро. Предрассветный ветер задул в небе звезды. На земле все становилось светлее. Вот загорелось на востоке небо. Из-под соломенной кровли вылетела ласточка, взвилась кверху, очертила круг над хатою и, усевшись на крыше, весело защебетала навстречу красному солнышку. Вышло оно, радость наша, светлое, чистое, омытое свежею росою, и приветно улыбнулось; от его улыбки потеплело на свете, пробудилась земля.

Перед хатою Потапа стоит любимая его чубарая кобыла; и вы не узнали бы ее, когда б теперь увидели; представьте: грива и хвост так у нее выстрижены, что смотреть совестно. Право непонятно, кто остриг ее. В деревне нет военного постоя, да хотя бы и был, все-таки чубарый

хвост не годится на султаны. На завалине под хатою сидит Потап. Он задумался и, потупив глаза в землю, чертит на песке палкою какие-то фигурки. Подле него стоит Настя. Она убита горестью; ее глаза от слез не могут смотреть на свет божий; ее длинные, черные косы в беспорядке разметались по плечам; она была так хороша, ее горесть была так непритворна, ее так было жалко, что даже вы, вы, почтенный философ, в длинном сюртуке, изучивший всего Цицерона, вы бы невольно захотели поцеловать ее, чтоб утешить эту безутешную горесть.

— Боже мой! За что ты так меня наказываешь? — говорила Настя, скрестив на полной груди свои белые руки.— За что ты берешь от меня моего доброго Потапа? Потапе! Ты жив? — продолжала она, дергая его потихоньку за рукав.

— Кажется, жив,— отвечал он, пожимая плечами.

— Кажется! О, боже мой, все ему кажется! Послал же какой-то недобрый человек на него видения! Шутка ли, целую ночь провозиться с кобылою? Не успела я вздремнуть с вечера, смотрю: он встает, взял ножницы, и давай стричь кобылу. Сколько я ни просила, так нет, и слышать не хочет. «Я знаю, говорит, что делаю; ты, бестолковая баба, не мешайся в казацкие дела». Ох, не то было б на свете, когда бы вы нас слушали! А то муж неподобное станет делать — жена молчи и пикнуть не смей. Да и что тут за казацкое дело — стричь кобылу? Смех людям сказать. На ней теперь никуда поехать нельзя, и продать, полцены не дадут.

— Сдурел, сдурел, право сдурел я на старость! Сам вижу ясно, что сдурел,— говорил Потап, тихо качая головою.

Настя плакала.

— Не плачь, Настя, это бог наказал меня за то, что я тебе не верил, что я хотел, когда ты спала в амбаре, обрезать твои косы, чтоб испытать, точно ли мне все кажется. Хоть присягнуть, мне помнится, я пришел в амбар, отрезал на твоей голове косы, положил их под подушку и лег спать. Поутру просыпаюсь — под подушкою конская грива, на твоей голове не тронут ни один волосок, по двору бродит моя кобыла совсем ощипанная!

— Скажи спасибо, что я не дала тебе обрезать ей уши.

— А я хотел и уши ей обрезать?

— Как же! А после все искал топора, чтобы отрубить ей голову.

— И голову? Ей-богу, ничего не помню.

— Мало того, еще хвалился на следующую ночь меня зарезать. Я боюсь тебя.

— Не знаю, хоть убей, ничего не знаю, моя милая. Ты свяжи меня на ночь, когда боишься, свяжи руки и ноги.

— Тебя связать? О, боже мой, до чего я дожила! Чтоб я на своего законного мужа, на своего начальника подняла руки? Нет, Потапе, лучше замучь меня.

— Вот дура! Когда я тебя зарежу, так и мне житья не будет: меня зашлют за Сибирь.

— Ну, когда так, то возьму тяжкий грех на душу, спеленаю тебя, как ребенка, а в Сибирь не пущу!

— Спасибо тебе, жена. А мне все-таки худо.

— Худо? Бедный, совсем рехнулся! Когда б я знала, что ты будешь сидеть смирно, я пошла б за дьячком: пусть он прочитает над тобою что-нибудь полезное, авось будет лучше.

— Делай что хочешь! — и Потап махнул рукою.

Через пять минут Настя была уже у кумы.

— Каково твой старый чорт отделал меня,— говорила кума, снимая с головы платок, и Настя начала хохотать: кума была острижена как рекрут.— Видишь, что вытерпела из дружбы к тебе, а ты мне не хочешь дать полотна.

— Принесу целую штуку.

— Ну, то-то! Куда ты идешь?

— Послал меня мой нелюб за дьячком вычитывать дурь из головы.

— За Пегею? Ха-ха-ха! Но, послушай...

Тут они начали говорить так тихо, как будто их кто подслушал. Где сойдутся две женщины, там вечно секреты.

Заключение

Господи! Как скоро идет время! Давно ли, подумаешь, я был ребенок! Меня занимали и пестрая бабочка, и перелетное облачко, и тонкая струя дыма в голубом воздухе, и любовь девушки — давно ли? А теперь я не причисляю бабочки к лику небожителей, я понимаю, что она гадкий червь, прикрашенный блестящею пылью; знаю, что облач-

ко и дым разлетятся при первом дуновении ветра. А любовь... Но бог с ними! Я теперь улыбаюсь от того, что прежде увлаживало глаза мои, может быть, святою слезою. Кто виноват в этом — бог знает... Давно ли мир упал ниц пред Наполеоном, которого рати наводнили Европу? Давно ли северный орел, согретый жертвенным огнем Москвы, встрепенулся, смел одним крылом буйные полчища с лица Европы и, распустив другое, прикрыл державною сенью полмира, освобожденного от рабства — давно ли? И мы уже припоминаем это как сон! Давно ли было воскресенье? Все ходили в село Короваи к обедне, а сегодня опять воскресенье, и все уже идут к обедне, и Семен, и Швец, и Заяц — и все идут. Господи, как скоро идет время!

Привольно, тепло светит красное солнышко; его лучи весело разбегаются по голубой воде и тают на свежей зеленой муравке, обливая ее золотом. Сады уже прыснули листочками; в густой бузине стонет иволга. Какой прекрасный день! Настоящее воскресенье!

После обеда под трактиром собрались все порядочные люди. Вот где послушать историй: тут рассказывает мельник, как давно еще когда-то, *за старого пана,* его отец убил ночью в мельнице собственноручно небольшого беса, который был, по обыкновению, в немецком платье, в самых узеньких панталонах, с хвостом, с рогами и крыльями; как покойный отец взял эту негодную тварь за рога и выбросил на плотину. Настало утро; вы думаете бес исчез? — ничуть не бывало; утро осветило бесовский труп; все село смотрело на него; и несколько дней лежал бесенок на плотине; его клевали вороны; собаки, поджав хвосты, с визгом обегали эту нечистую вещь, а бес, между тем, сох да съеживался, и сделался так мал, что проходящая из Курской губернии баба плюнула на него — и его не стало видно. Немного подальше, в кружке, Заяц уверяет и божится, что Александр Македонский ехал морем-океаном и заехал на край света, где сошлось небо с землею. И все удивляются, отчего Александра Македонского назвали Македонским.

— Если у него не было умнее фамилии,— говорил Швец,— то назвать бы его по отцу: когда отец был Тарас — Тарасенком, когда Грицко — Гриценком. А то Македонский — ни к селу, ни к городу.

— Дураки были тогда люди,— перебил Заяц.

— Значит, этот Македонский немного не доходил до Иерусалима? — спрашивал Кочережка.

— Вот голова! — кричал Кулиш.— Будто Иерусалим на краю света! Я сам был в Одессе, а там до Иерусалима и ста верст не будет.

— Взять бы нашему Потапу у пана билет, когда Иерусалим так близко, да сходить туда богу помолиться за свои грехи,— сказал, подошедши к беседовавшим, Максим Стус.

— А что с Потапом? — спросили все в один голос.

— Совсем сдурел,— отвечал с важным видом Стус.

— Это ему за грехи его, — заговорили люди. — Он был злой человек и безвинно обижал свою жену; сколько раз, мы сами видели, она, бывало, обливается от него горячими слезами.

— Именно так, — продолжал протяжно Стус. — Ему всякая дрянь в ум лезет: то представляется, что палкою стреляет журавлей, то выпахивает на ниве живую рыбу, то стрижет кобылу и называет ее своею женою.

— Кобылу называет женою?

— Да, право, да.

— Может быть, жену кобылою?

— Я знаю, что говорю! Мало этого, еще хотел бедную жену зарезать.

— О? Неужели?

— Да, однако, господь не допустил этого. Сам Потап приказал жене связать себе руки и ноги. Что ж? Целую ночь ему представлялось, что его Настя... — господи, прости,— целуется с Петею Опанасовичем и смеется ему в глаза, и язык показывает, и лихой их знает, что такое!.. Так в эту ночь измучился, так избился, что на себя не похож, веревки до крови врезались в его руки и ноги.

— О, господи! Какое несчастье! — говорили слушатели. — А давно ли, подумаешь, прошлое воскресенье он с нами вот тут под трактиром бранил нового управителя и пил водку, как человек в добром рассудке!..



КУЛИК

Повесть

Всяк кулик свое болото хвалит.
Народная пословица.

Кулик
Не велик,
А все-таки птица!
Философская песня.

Россия — страна богатая, изобилует водами, лесами и пажитями; в ней есть много золота и серебра, много драгоценных камней, а еще более отставных поручиков.

Я намерен познакомить вас с одним из бесчисленного множества этих поручиков, Макаром Петровичем Медведевым; он служил в кавалерии корнетом года полтора и вышел в отставку поручиком вследствие рассуждения:

«Служба от меня много не выиграет; я тоже не хочу быть фельдмаршалом, да, признаться, и трудно!.. Много есть людей бедных, которые рвутся служить, а у меня порядочное состояние: уеду в деревню, женюсь себе, да и буду жить барином».

Подумал, взял отставку, сел в коляску и уехал.

Приехав на родину, Медведев сшил себе модную венгерку, привел в порядок охотничьи ружья, купил в Ромнах на ярмарке парные дрожки и женился на хорошенькой брюнетке, Анне Андреевне, дочери соседнего помещика.

Теперь Медведев женат, независим, спокоен: живи себе да толстей! Завидная перспектива, право, завидная!

Не улыбайтесь так зло, мой приятель с пожелтевшею, поношенною физиономией; вы ненавидете всех толстяков, потому что сами высохли от злости, как насекомое; вечно бранитесь, клевещете, сплетничаете, как старая дева; пеняйте на себя, сами виноваты... Из-за чего хлопочете? Согласитесь, что тихая деревенская жизнь чего-нибудь да стоит. Тенистый сад, с своими золотыми, румяными плодами, чистое озеро, по которому так весело гуляет ваша лодка, пруд, обсаженный плакучими ивами, на пруде под вечер робкое стадо диких уток, за прудом звонкие песни поселянок, идущих с поля домой... А поле с душистым сенокосом! А молодая супруга-красавица, не растратившая первых дней жизни в бессонных ночах однообразных балов, супруга, приветствующая возврат ваш крепким поцелуем! А этот свежий, чистый поцелуй!.. Ай-ай! Сколько тут поэзии, сколько... Нет, полно, лучше замолчать.

Вы теперь знаете отставного поручика Медведева, знаете, что он женат — кажется, и все тут. Позвольте, еще есть одно замечательное лицо,— это Петрушка, слуга Макара Петровича, его крестьянин и вместе с тем крестный сын. Макар Петрович почти рос вместе с Петрушкою, и когда уезжал в полк, то уговорил покойного своего отца отдать Петрушку в уездное училище. Барин служил, крестьянин учился. Макар Петрович, приехав домой, нашел Петрушку красивым 18-летним парнем, да еще грамотным и проворным; он взял его к себе, любил, как сына, и даже немного баловал, как говорили соседи, позволяя читать все книги из своей деревенской библиотеки.

II

Чацкий: . . . . !
Молчалин: Мне завещал отец...

Горе от ума.

Медведев в начале ноября, часу в седьмом вечера, с своею супругою пил чай; они сидели на диване перед круглым столом, на котором кипел светлый бронзовый самовар, и в тяжелых старинных подсвечниках горели две свечки; у двери стоял с подносом в руках Петрушка; на ковре, у ног Макара Петровича, сидел Трезор — большая лягавая собака.

В комнате было тихо. Изредка раздавалось протяжное: «ти-бо! ти-бо!», потом скорое: «пиль!», потом несколько секунд было слышно, как Трезор ел сухарь, и опять все умолкало. Анна Андреевна, от нечего делать, очень прилежно ловила ложечкою в чашке чайный листочек; Макар Петрович затягивался и потом как-то особенным образом перепускал через усы табачный дым.

Супруги, с позволения сказать, скучали — не то, чтобы они наскучили друг другу — боже сохрани! нет, нет; а только просто скучали. Осенний дождь стучал однообразно в окна, самовар шептал какую-то усыпительную легенду; свечи горели тускло... В такие минуты в деревне особенно приятно зевается. Тогда гость — дорогой человек, неоцененный подарок, благодеяние судьбы.

В гостиной Макара Петровича тишина продолжалась попрежнему. Вдруг Трезор тревожно поднял голову, вытянул шею, заворчал и бросился в переднюю с громким лаем.

— Назад, назад, Трезор! Тибо! Тибо! — закричал Медведев.— Кто там, Петрушка?

— Не беспокойтесь, это я! — сказал, улыбаясь, тоненький гость, в синем фраке, и начал вежливо раскланиваться.

— Ба, ба! Юлиан Астафьич! Мое почтение! Откудова, братец, а?

— Мое почтение, Макар Петрович! Из П-вы, прямо из канцелярии губернатора, послан курьером в П...

— Здоровы ли вы?

— Слава богу! Слава богу!

— Очень рад! Слава богу!

— Мое почтение вам, Анна Андреевна. Здоровы ли вы?

— Слава богу!

— И слава богу!

— Полно вам строить комплименты! Эти губернские господа так и засыплют речами!.. Лучше давай-ка жена, поскорее чаю: он озяб с дороги.

— Ваша правда, грешный человек. Ба! да как Петрушка вырос, поздоровел! Ну, подойди сюда, поцелуемся; мы с тобой приятели. Экой молодец! В прошедшем году, когда приезжал с вами на выборы, он был гораздо моложе... А! Трезор! Не узнал меня? Злая собака! Только одного барина и любит. Позвольте ему дать сухарик?

— Перестаньте возиться с собакою, вы ее вечно балуете! Пейте чай, да расскажите нам, как там у вас в губернском свете — что новенького?

— Решительно ничего. Войны не слыхать, набора тоже.

— Набора тоже?

— Тоже!..

— Это хорошо. А Катерина Федоровна что?

— Слава богу! Здорова; велела вам кланяться. У нее для дочери есть жених на примете... Что вы говорите, сударыня?

— Военный?

— Да, военный, сударыня, и, говорят, очень богат; где-то в Олонецкой губернии свои виноградники...

— Скажите! Какая завидная партия!

— Да, и еще, говорят, у него есть где-то возле Торжка свой судоходный канал; что прошла лодка — гривна в кармане; барка или там что другое — двадцать копеек. Такое заведение!..

— Неужели?!

— Да, сударыня! И наш советник Горох Дорохович, и Ульяна Ульянова... и... все говорят; а сам такой молодец, эполеты как жар горят...

— И в чинах? — спросил Макар Петрович.

— Чин офицерский, уже восьмой месяц прапорщиком.

— Ну, так послужить бы еще немного.

— Говорят, ему в этом году приходится в подпоручики.

— Понимаю, через год в отставку поручиком — это другое дело... Ну, да пусть себе он убирается к болотному дедушке, наше дело сторона. А сама-то Катерина Федоровна?

— Ничего, живет попрежнему; недавно купила у барышника для себя серого рысака.

— А Петр Потапыч? — спросила Анна Андреевна.

— Все танцует мазурку.

— Охота же спрашивать об этом чурбане! — перебил Медведев.— Что наш почтеннейший Туз Иванович?

— На прошедшей неделе схоронили.

— Схоронили?!

— Да, схоронили; впрочем, потешил-таки он весь город. Представьте себе, в духовном завещании запретил своей жене покупать карету.

— Как так?

— Так написал просто: «Как-де моя жена происходит из хвастливого рода, да и в продолжение многолетнего супружества нашего всегда оказывала неимоверную наклонность к суетности и тщеславию, что неоднократно выражалось нелепыми требованиями о покупке кареты, то я, сохраняя пользу детей наших и не желая видеть их со временем нищенствующими, запрещаю, под опасением моего проклятия, жене моей покупку кареты не только новой, но даже и поезженной, как вещи, могущей служить поводом к разорению моего семейства».

— Ха-ха-ха! Экой пострел! Царство ему небесное! Утешил!

— Что же бедная его вдовушка? — спросила Анна Андреевна.

— Тут нечего спрашивать, душа моя: верно, ругается.

— Изволили отгадать: сильно ругается, ругает покойника и дома, и в гостях, и на улице. Такая стала сердитая; недавно сделала большой афронт жениху дочери Катерины Федоровны.

— Оставьте его в покое: смерть не люблю прапорщиков, которые сватаются, лучше бы вы сами женились.

— Это единственная цель моей жизни; я рад жениться, но, вы знаете, я человек небогатый...

— А если бы я тебе, приятель, нашел невесту с состоянием?

— Полноте шутить!

— Нет, право. Помнишь ли ты полковницу Фернамбук, которая целое лето прожила с дочерью в губернском городе?..

— Как же, я ее имел честь часто видеть у Катерины Федоровны, еще у нее дочка — сущий амур или грация!

— Ни амур, ни грация, а так, девушка недурная, с 300 душ приданого. Эта самая дама без души от тебя. Как приехала в деревню, все твердила: «Вот человек, Юлиан Астафьич! Какой вежливый, услужливый, толковый!..» Влюблена в тебя да и баста!..

— Шутите! Она, кажется, уже степенных лет.

— Экой приказный! Ей лет за шестьдесят; женись на ее дочке...

— Куда нам! Такого счастья я и во сне не видывал.

— Что за счастье? Ты молодец, добрый малый, дворянин. Чего этой бабе еще надобно?..

— Она может найти себе зятя офицера.

— Стыдись, братец, разве ты не офицер? Какой на тебе чин?

— Губернский секретарь.

— Чорт вас разберет! Переведи, братец, как это будет по-христиански.

— В ранге поручика.

— И прекрасно! Чем ты не жених? Хочешь, я женю тебя?

— Будьте благодетелем! Да нет, меня смех берет; ха-ха-ха! Вот оказия!.. Впрочем, делайте, что хотите!

— Ладно! Куда ты едешь курьером?

— В П-в.

— Сколько ты можешь прожить у меня?

— Дня два.

— Вздор! Ты должен прожить неделю.

— Невозможно, Макар Петрович!

— Почему? Какие-нибудь дрянные бумаги нужно отдать кому? Это можно сделать: я пошлю в П-в форейтора Ваську, он их отдаст по адресу, а на другой день привезет ответ. П-в всего от нас 50 верст. Остаешься? Завтра же начну действовать — и не будь я Медведев, если ты не женишься на молодой Фарнамбуковой. Поедешь — пеняй на себя.

— Делать нечего,— сказал Юлиан Астафьевич.

— Люблю за обычай. Давай, приятель, руку! Благодари, жена: теперь не будем скучать целую неделю в эту скверную погоду. А я, право, женю молодца!..

— Если даст бог вам успех,— сказала Анна Андреевна. — какой вы будете близкий сосед: деревня Фернамбуковой от нас всего три версты; только через реку.

— Скажите: и сосед, и ваш покорнейший слуга.

— Это уже много; а шутки в сторону, у меня будет к вам просьба.

— Приказывайте, сударыня.

— Если вы женитесь, прежде всего должны исправить плотину и мост, а то всякий раз, как переезжаю плотину Фернамбуковых, я прощаюсь с белым светом: кажется, так коляска и слетит с плотины или провалится под мост.

— Будьте уверены, что в мире не будет другой подобной плотины: сам пойду работать, лишь бы угодить вам.

— Что за страсть, подумаешь, у этих губернских франтов нести такую чепуху! Полно, брат, мою жену морочить,

а я себе выговариваю право стрелять дичь во всех твоих дачах безданно и беспошлинно.

— Помилуйте, Макар Петрович, на что мне эта дичь? Я сам от роду не стрелял из ружья и не знаю, как оно стреляет. Вся дичь — ваша. Мое почтение к вам всегда было непреложно, и если вы пособите моей карьере такою выгодною женитьбою, то я... и проч... и проч...

В таком роде разговор продолжался до самого ужина.

Четверо суток изволил кутить Макар Петрович на радостях, что поймал губернского гостя, и каждый вечер губернский гость почти сквозь слезы говорил Медведеву:

— Боже мой! Когда же мы будем сватать m-elle Фернамбук?

— Погоди, братец, время впереди,— отвечал Медведев,— не возьмет ее нечистая сила; завтра непременно поедем.

Приходило завтра, и опять та же история.

Наконец, на пятый день Медведев представил своего гостя семейству Фернамбук, а еще через день поехал сам с решительным предложением.

Это был роковой день для Юлиана Астафьевича. Задумчиво ходил бедный губернский секретарь по комнате, по временам щелкая пальцами; лицо его было бледнее обыкновенного; принужденная улыбка на тонких губах его превращалась в какое-то судорожное кривлянье; иногда он, тяжело вздыхая, обращал глаза к образам, иногда, подойдя к окну, очень правильно барабанил по стеклу модную песенку:

Во всей деревне Катенька
Красавицей слыла.

Он очень хорошо чувствовал, что в эти минуты решалась судьба всей его будущности; от «да» или «нет» зависело, быть ему достаточным человеком или прозябать в канцелярии, с перспективою седых волос, при великом счастии секретарского места и чахотки.

Напрасно Анна Андреевна старалась развеселить Чурбинского (это была фамилия Юлиана Астафьевича) своими шутками: он, против обыкновения, не понимал их, не старался предупредить окончание какого-нибудь анекдота, давно известного всей губернии, улыбкой удивления или громким хохотом. Юлиан Астафьевич был не похож на самого себя.

Пришло время обедать — нет Макара Петровича; вот вечереет — нет его; вот уже и самовар на столе — все его нет. Несносный день, несносный человек Макар Петрович!

Но вот зазвенел колокольчик, борзая тройка остановилась перед крыльцом, и в комнату вошел Медведев.

С первого взгляда можно было заметить, что Фернамбуковы его приняли за гостя: лицо Макара Петровича горело румянцем удовольствия, глаза блестели; он живо переступал с ноги на ногу, потирая руки.

— Ну, что, почтеннейший Макар Петрович? Решайте мою участь! Отказ? Гарбуз? Говорите, говорите, я наперед это знаю!

— В чистую, братец, без мундира и пенсиона!

— Так, так, я это знал. Душа моя это предчувствовала. На смех подняли!.. И не грех ли вам меня, беззащитного сироту, вводить в такие истории, будто я не понимаю, что я, а что они? Бог свидетель, я никогда и не думал о Фернамбуковых; вы сами затеяли неподобное; вам смех, а я что теперь стану делать? Еще под арест посадят!..

— Что, приятель, впятил тебя в брак, а?

— Хорошо вам издеваться, что меня забраковали, как лошадь никуда не годную, а мне каково?..

— Ха-ха-ха! У тебя страх и разум-то выгнал! Кто тебе говорит о негодности? Ха-ха-ха! Запиши, жена, каламбур: в брак тебя введем, т. е. в законное супружество — вот что! Давай руку! Поздравляю! И старуха, и дочь сначала было, знаешь, этак немного закуражились, да как я им объяснил все толком: и ты что за человек, и то, и другое, и прочее — они сдались, и дело в шляпе, как говаривал мой эскадронный командир. Понимаешь?.. Завтра едем к Фернамбуковым вместе; завтра же надо известить соседей, а послезавтра — и под венец. Куй железо, пока горячо!.. Не рад, что ли?

— Понимаю, что значит в брак! Я, кажется, не подал повода к шуткам. Грех вам, Макар Петрович!

— Прямое ты, брат, чучело гороховое! Еще и петушишься! Прошу покорно!.. Коли не хочешь — сейчас еду к невесте и в полчаса все расстрою, заварю такую кашу, что весь дом пойдет вверх дном. Эй! Петрушка, лошадей!..

— Перестаньте, что вы, что вы! Ей-богу, я не знаю, как принимать слова ваши, мне все не верится! Неужели?.. Счастие так велико!..

— Так велико, что я остался есть обед с деревянным маслом — господи, прости мое согрешение! — и выпил лишнюю рюмку гадкой наливки. Уговор лучше денег: сейчас после свадьбы прошу запретить во всем доме употребление деревянного масла и улучшить питейную часть...

— Как прикажете! Что угодно! Вы благодетель мой, второй отец!..

Юлиан Астафьевич обнимал Медведева, целовал руки Анны Андреевны и даже, второпях, толкнув нечаянно Трезора, взял его за морду и пренежно сказал: «Извини, душа моя!..»

Макар Петрович, человек добрый от природы, был очень рад счастию знакомого, тем более, что эта свадьба доставляла ему развлечение в скучные осенние дни, когда, как нарочно, ненастье препятствовало ездить на охоту. Он хлопотал об экипажах, о лошадях, созвал своих музыкантов и приказал им повторять увертюры из «Калифа багдадского» и «Двух слепых».

— Слушай, жена, — кричал он, — ведь Юлиан Астафьич наш гость, мы его женим; после свадьбы будет у нас бал; смотри, не ударь лицом в грязь, прикажи наготовить поболее всякой всячины: пирамид, кремов и разной этакой дряни, а я уж потревожу свой погреб — кутить так кутить!.. О чем ты, Юлиан Астафьич, опять загрустил?

— Знаете ли что? — сказал Юлиан Астафьевич, взяв тихонько Медведева за полу венгерки, и, отведя его к окну, повторил вполголоса: — Знаете ли что?

— Ровно, братец, ничего не знаю.

— Не кричите так. Мне кажется, что нам не следует венчаться так скоро.

— А почему?

— Да так, видите, мне невозможно.

— Это что значит? — сказал Медведев, прищуривая левый глаз.— Понимаю, какие-нибудь шашни.

— Нет, нет, нет, боже сохрани! Не думайте, чтоб я что-нибудь такое или этакое — нет!

— Так что ж?

— А вот, видите, я выехал из П-вы налегке, со мной нет приличного платья.

— Вздор, братец! Есть о чем думать! Сегодня же пошлю человека на всю ночь, и завтра к вечеру все здесь будет.

— К чему посылать? Это лишнее беспокойство, лучше я сам съезжу и через неделю-другую явлюсь.

— Пустое, тебя-то не пущу! Эй, кто там? Человек!

— Не делайте шуму и не посылайте, потому что я не знаю хорошенько, отдал ли мой приятель немного переделать мой фрак; сукно отличное, сам платил по 18 р. за аршин, да фасон некрасив; если привезут не переделанный, то еще хуже!..

— Прямо сказать: у тебя нет фрака вовсе; давно бы так и говорил! Не беспокойся: у меня целая дюжина этих дурацких фраков, выбирай любой. Да, кажется, у тебя нет ни белья, ни прочего? Полно краснеть, прикажи Петрушке приготовить, что нужно, из моего гардероба. Не к чему скромничать! Эх, странный народ, эти господа статские!..

III

Милостивый государь, любезнейший друг,
Кузьма Демьянович!

По обстоятельствам, я женился на прекраснейшей девице, известной фамилии Фернамбук. Еще в П-ве я пленил сию девицу своим светским обращением и теперь, мимоездом, окончил начатое, а что главнее всего, получил в приданое 300 душ крестьян. Я теперь намерен жить, нимало не беспокоясь насчет службы, буду служить по выборам дворянства. Еще есть к вам моя просьба, а именно: вам известно, что я взял, в угодность Катерине Федоровне, билет в собрание на всю зиму и со взносом 25 р. записался в члены; а как я теперь, по дальности расстояния, бывать в собрании не могу, то вспомнил о Григории Михайловиче, который когда-то, кажется, при вас выразился: «Я взял бы зимний билет, да дорог, анафемский; по-нашему, если бы рубликов 15 — куда бы ни шло!» Я, любя Григория Михайловича, решился уступить ему оный билет за 15 р., хотя и понесу убытку 10 р. И еще сделайте одолжение: у меня на квартире остался горшок коровьего масла, подаренный мне Катериною Федоровною; масло очень хорошее, доброго качества и приятного вкуса; его было десять фунтов, мною израсходовано оного масла 2 фунта, следственно, осталось 8; без меня же оно убыть не могло, ибо, уезжая, я запечатал горшок собственною моею вензелевою печатью, а потому возьмите на себя труд, посмотрев предварительно, не нарушена ли

печать, взять горшок и приказать вашему Петьке продать заключающееся в нем масло; еще раз повторяю, что масло очень хорошее, чтобы Петька, при продаже, не опростоволосился. Не верьте, если паче чаяния, хозяин квартиры моей станет претендовать на масло: он всегда был грубиян. Скажите ему, в случае надобности, что, если б он был почтительнее и не входил ко мне в комнату в колпаке, то я и ему уделил бы что-нибудь из означенного масла. Надеюсь, вы не замедлите выслать деньги за билет, равно и за масло, а прочие мои вещи, как-то: старый фрак, сапожные щетки, две пары ножей с костяными колодочками и проч. сохраните у себя до моего приезда: хочу по зимнему пути побывать в П-ве с женою.

Имею честь быть вашим, милостивый государь, благоприятелем.

Юлиан Чурбинский.

18... года, ноября 12 дня.
Деревня Фернамбуковка.

P. S. На случай сие письмо затеряется, то я сию же почту пишу и отсылаю другое, точно такого же содержания, к Марку Титовичу, в коем, упоминая о вышеприписанном вам поручении, прошу и его принять участие, в случае вашей (чего боже сохрани!) болезни или чего другого. Еще просьба: еще с прошедшего лета я обещал Аннушке,— знаете, которая мне мыла манишки,— купить золотые сережки. Делать нечего. Из полученных денег за мои вещи возьмите 80 копеек ассигнациями и купите ей сережки из металла, называемого «семилёр»; этот металл немного дешевле золота, но в носке приятнее и имеет разительный блеск. Я полагаю, последняя порученность вам не без приятности.

IV

Милая моя сестрица,
Анисья Парамоновна!

Наказал меня бог, сестрица, наследством в глупой стороне: ни сосен, ни елок, ни людей нету — все чучелы; крестьяне без бород, и бань не строят, и в семик не пляшут, и сохой не пашут. Один, кажись, был человек из соседей — Медведев, да и тот, как я узнала, змея подколодная. Я писала к тебе, милая, что выдала дочку за Чурбинского:

золотой малый, ни в чем не перечит, так нас любит, мне и платок подает, и скамеечку под ноги ставит, да в дела не мешается, говорит: «Имение ваше, и я ваш; делайте, что хотите». А мы с дочкой что знаем? Наше дело женское; вот мы и хотим ему записать нашу деревню, авось охотнее делом займется. Только зять мой все упрашивает: «Не говорите, дескать, об этом Медведеву». — «А что»? — я спросила.— Вот он тут мне всю правду и рассказал: что он совсем не приятель нашему дому, что насмехается над нашим хлебом-солью, говорит, что у нас в кушаньях скверное деревянное масло... Ужасти такие наговорил, что беда! Меня вот так лихорадка и взяла, а он говорит: «Сватал меня из своих интересов; и плотину почини, чтоб его жене было хорошо ездить, и то, и другое; да еще обращается со мною, как с каким-нибудь лакеем, все «ты», да «братец», при публике так унижает». Третьего дня обедал у нас окаянный Медведев; я сама нарочно подлила во все кушанья деревянного масла. Что ж? И не ел ничего, надул усы, словно сом-рыба, и сидит. «Что не кушаете, сосед? — я спросила.— Может статься, у нас не умеют готовить?» — «Нет,— говорит он,— что-то голова болит», да и уехал сейчас после обеда. Вот что, моя милая сестрица, а я только и надеялась на одного соседа, а и тот в лес смотрит!.. Я уже советовала своему зятю не позволять наступать себе на ногу. Да, моя милая! Скверная сторона! Скоро Петров день, клубника у нас отошла, а была крупная; черешен в саду пропасть, и белых, и красных, и черных, да все скверные ягоды, как сахар сладкие; и вишни поспевают, и шелковицы, а нет ни клюквы, ни брусники, ни черники, ни голубики, ни одной ягоды с кваском, я уже о морошке и не вспоминаю... Сахар у нас дорог, а мед свой; варю варенье больше медовое для поста. Прощай, моя милая сестрица; пришли записку, как делать шипучку, моя где-то затерялась. Прощай, милая сестрица.

Полковница *Ф. Фернамбук.*

18... года, июня 26 дня.
Деревня Фернамбуковка.

V

Светлое июльское солнце взошло уже высоко; был час десятый утра; широкий скошенный луг Юлиана Астафьевича далеко развернулся светлозеленою скатертью, испещренною частыми копнами сена, на которых то там, то

сям, сидели, охорашиваясь, маленькие степные ястреба; на горизонте луга, как оазы, виднелись темнозеленые кусты тростника: там были небольшие озера; над ними, легким облачком, беспрестанно меняя формы, носилось стадо скворцов, подле одного озера паслась стреноженная пегая лошадь; с полверсты в сторону человек около сотни крестьян сметывали копны сена в одну огромную скирду.

По дороге к озерам ехал какой-то вооруженный экипаж, вроде блаженной памяти испанской армады; рассмотрев хорошенько, можно было узнать в нем широкую, длинную и глубокую брику без верха; на козлах сидели кучер и два человека с ружьями в руках; на запятках тоже два человека с ружьями; из самой внутренности брики торчало пять или шесть голов в картузах, столько же ружейных стволов и четыре собачьи морды. Брика остановилась у озера; из нее выскочил человек в сапогах до пояса, в зеленой куртке и таких же шароварах; через правое плечо у него висела охотничья сумка с сеткою для дичи, через левое, на зеленом шнурке,— деревянная черкесская трубка с коротким чубуком. Едва-едва в этом рыцаре изумрудного образа можно было узнать Макара Петровича. За Макаром Петровичем выскочил Трезор, далее начали выгружаться приятели и егеря Медведева. Всех набралось человек около десятка.

— Рекомендую вам, господа, чудесное озеро,— сказал Медведев.— Здесь мы найдем пропасть молодых уток. Ох! Жаль, что бекасы еще не хороши. Впрочем, не давать и им спуску, коли попадутся.

Приятели молча осматривали ружья.

— За работу, что ли? — продолжал Макар Петрович.— Выпьем на дорогу, да и с богом. Петрушка! Дорожную фляжку!

На этот раз приятели оставили ружья и подошли к Медведеву.

Петрушка подал барину плоскую, обшитую красным сафьяном фляжку. Медведев отвинтил на ней серебряную крышку, которая имела форму и вместимость порядочного стаканчика, наполнил этот мудрый сосуд, выпил и передал следующему. Отставной капитан Здрав, с золотою головою, закусил кусочком черного хлеба с солью; другой сосед, русский немец, достал на этот случай из своего ягдташа сухую корку голландского сыра, погрыз ее не-

много и, завернув в бумажку, опять спрятал в карман. Прочие ели что попалось под руку.

Перекусив, охотники осмотрели ружья, подсыпали на полки свежего пороху, выстроились в ряд и мерными шагами вступили в болото; собаки шныряли впереди охотников; несколько пар испуганных уток поднялось с озера и, сопровождаемые выстрелами, сновали над болотом. А между тем, оставив работу, с диким криком и воплями бежала к озеру толпа полупьяных мужиков, вооруженных граблями и вилами. В минуту озеро было окружено.

— Стой, — кричали мужики, — отнимай ружья, представляй в суд — так приказано!

Стрельба остановилась.

— Что вам надобно? — закричал Медведев.

Крестьяне Чурбинского, как ни были пьяны, однако узнали Медведева, и уважение, которое народ искони питает к коренным панским фамилиям, в минуту пробудилось. Сняв шапки, стояла толпа, а приказчик Потапович, в синем кафтане, подпоясанный пестрым кушаком, подошел к Медведеву, разгладил длинные усы и, низко кланяясь, сказал:

— Извините, пане, мы вас не узнали; но все-таки, видите, стрелять невозможно... Я в этом не причиною.

— А какой же дьявол?

— Оно, разумеется, вы люди ученые и знаете, что дьявол, когда восхощет, принимает образ человека, ибо хитра сила нечистая, но все-таки это не бесплотный дьявол, а наш многопочитаемый барин причиною.

— Убирайся с твоею чепухою, не мешай нам охотиться!

— Да что вам в этом болоте? Такое гадкое, только лягушки водятся... Лучше бы поехали вот версты за три на болото генеральши Оглоблиной. Господи, твоя воля, чего там нет!.. Что шаг, то местоположение, всякая дичь кишмя кишит.

— Полно врать. Нам и здесь хорошо. Вперед, ребята!

— Нет, ей-богу, нет, пане! Я буду в ответе. Не моя вина, а стрелять все-таки нельзя, не приказано. Говорит барин: «Пусть птица плодится; может быть, я когда-нибудь возьму ружье, попрошу кого знающего зарядить, да и поеду стрелять на озеро; к тому времени дичь освоится, и заряд не пропадет даром; сразу убью пар десяток», — говорит.

— Кого другого не пускай, а мне, верно, не станет запрещать твой барин.

— Будь кто другой, а не ваша милость, мы бы его давно спровадили в город, так приказано. Говорит: «Лови, Потапович, всех моею рукою, да и в суд, да и в. суд, хотя бы мой родитель, говорит, пришел, и того в суд; не его земля, моя земля!»

— Что он, с ума сошел?

— Уповательно это их воля, и я об этом прямо сказать не могу; а если хотите, я пошлю хлопца справиться: верно, барин вам позволит.

Озеро было верстах в двух от дома Чурбинского, а потому охотники тут же, в болоте, присели на кочках, в ожидании, пока сын приказчика, проворный мальчик, поскакавший во весь дух на отцовской лошади к барину, привезет милостивый фирман.

Через четверть часа обратно прискакал мальчик, слез с лошади и, утирая рукавом с лица пот и пыль, крестился и кричал:

— Неможно, пусть я пропаду, если можно.

— Врешь! Ты, верно, не расслышал,— сказал Медведев.

— Как бы то не расслышал? Я приезжаю, а барин стоят в красном халате у амбара, где девки подтачивают пшеницу, и такие веселенькие; вот я и говорю им: «Как зволите прикажете, у нас стреляют на болоте птицу». — «Зачем же ты приехал?— говорят они. — Ловите их, бездельников, дармоедов, да и в суд». Я им поклонился, да и говорю: «Такой человек, что и ловить нельзя, настоящий пан».— «Губернатор, что ли?» — «Не знаю, может, их и так дразнят, а мы все зовем их Медведевым».— «Дурак! — сказал барин, топнув ногою. — Я такой же пан, как и Медведев, когда не почище его. Скажи, чтобы сейчас убирался вон из болота. А твой отец за чем смотрит? Вот я его, старого осла!»

— Так-таки, так! Я так и думал,— ворчал Потапович.

— И только? — спросил Медведев.

— Нет, еще оборотились к Феске, дочери нашего кузнеца, взяли ее за подбородок, да и говорят: «Отчего ты так раскраснелась, Феодосия?» Я вижу, что это уже не ко мне, взял да и уехал.

Макар Петрович с досады кусал ус.

— Как изволите,— заметил ему, кланяясь, приказ-

чик,— а не угодно ли вам убираться; не моя воля; невинен гвоздь, что лезет в стену, коли его колотят по голове обухом.

Молча вышли из болота Медведев и его спутники. Мужики значительно переглядывались между собою, не веря сами: как это можно Медведева выгнать из болота?..

По моему мнению, кулик самая бесхарактерная птица; иногда он увидит человека за версту, подымается с места, кружит над болотом, кричит, свистит, будит всю окрестность; иногда запустит в болотную тину свой нос и сидит себе в траве преспокойно, разве толкнешь его под бок, тогда только он схватится; зачастит крыльями, завопит, как... ну, как человек, когда затронут его самолюбие.

Петрушка выходил из болота, и вдруг из-под его ног выпорхнул кулик и с жалобным криком понесся в степь; Петрушка выстрелил — и бедная птица, закружась в воздухе, упала перед приказчиком.

— Не дурачиться! — закричал Медведев и подошел к толпе мужиков. В это время приказчик поднял застреленного кулика и, рассматривая его, ворчал: «Экое страдание!..».

— Делать нечего, ребята, скажите вашему пану, что так делать нехорошо; он жалеет для меня перелетной птицы, а я не пожалел ему дать к венцу и свое платье и... может, слыхали!

— Мы сами небезызвестны об этом,— заговорили мужики; но Потапович погрозил пальцем — и все притихло.

— Прощайте, ребята. Вот вам рубль серебра: выпейте по чарке водки; теперь жарко.

— А ваш куличок? — сказал приказчик, подавая Петрушке застреленную птицу.

— Отвезите его, дядюшка, своему барину, пусть он им подавится.

Охотники уехали, мужики ушли, скворцы улетели, и возле озера опять только осталась стреноженная пегая кобыла...

VI

Месяца за два до женитьбы Чурбинского Медведев с женою были в гостях у Фернамбуковых. В гостиной старуха Фернамбук рассказывала о вчерашнем висте, как она с управителем сделала шлем, а играли четверо: она, ее дочь, управитель и ее сосед, отставной юнкер; как у нее

на руках был валет и т. п. Бог с нею, она всегда рассказывает скучные вещи. Молодая Фернамбук показывала Анне Андреевне баночку духов с надписью: «Extrait triple à la violette» *, привезенную будто бы из Парижа, нюхала пробку и, подымая глаза к небу, восторженно шептала: «Ах, какое благовоние! Ах, как, должно быть, хорошо в Париже!» Медведев делал по временам странные ужимки, пересиливая зевоту, и посматривал на жену, как бы спрашивая: не пора ли домой?

В передней было веселее. Петрушка, сидя на длинной зеленой скамейке, толковал Фильке, лакею в тиковой куртке, как цветут орехи и отчего на орехах бывает цвет двух родов.

— Э, Петрушка, надуваешь! — протяжно говорил Филька, нюхая табак из тавлинки.

— Придет весна — посмотри сам.

— Разве посмотрю, а так не поверю, и ты не верь книгам: там, я думаю, все написано такое!..— Филька махнул рукою.

— Им нельзя иначе цвесть.

— Так, конечно, орехи, небойсь, у тебя спрашивают?

— Не спрашивают; а это оттого...

— Хе-хе-хе! Ну, отчего?

— Оттого... Послушай, Филька, что это за барышня перешла через комнату?

— Вот тебе и грамотный! Знает, отчего орехи цветут на двое, коли-то еще цветут, а нашего брата называют барышнею! Это, брат, Машка, горничная нашей барышни.

— Полно, Филька, кто она?

— Я не грамотей, надувать не умею, сказал раз — и правда. Не диво, что ты ее первый раз видишь: она шесть лет училась около моря в Аддестах у мамзели убирать головы, знаешь, разными цацками; вот как наша барышня на поре замуж, так и выписали Машку для уборов: вот уже другая неделя, как она приехала, да какая, брат, бойкая, и книги читает по-твоему, и день в день ситцевое платье носит, а на нашего брата и смотреть не хочет; на что приказчик Потапыч — человек и почетный и грамотный, третьего дня подошел к ней и начал заигрывать — она хвать его по рукам. «У вас,— говорит,— седина в голове, а не умеете обращаться с девушками», засмеялась

---

* «Тройной экстракт фиалка» (название духов).

ему под нос и убежала. «Тю-тю,— сказал Потапыч,— для нее судовой паныч растет! Бросьте ее, хлопцы, вишь какая бучная!..» А мы так и покатились по земле от смеха. Вот что, ей-богу!.. Этакая! А сама не больше, как дочь нашего коновала Ивана. О чем ты задумался?

— Ничего, так; а какая хорошенькая эта Маша!

— Да, нечистый ее не взял; сухопара немного.

Маша была очень хороша: ей было 17 лет. Высокий, стройный рост давал ей какую-то особенную величавость; ее черные волосы были украшены алою махровою маковкою; смугловатое лицо Маши, оттененное легким румянцем,— признак чистой украинской крови — длинные, пушистые ресницы, большие голубые глаза, легкая походка, даже самый покрой платья, отличный от здешнего,— все очаровывало Петрушку... При первом взгляде на Машу он затрепетал от удовольствия; какое-то тревожное и вместе приятное чувство запало в грудь его.

Люди много толкуют о сочувствии душ; я мало верю людям, но в этом случае вполовину соглашаюсь.

Когда Петрушка и Филька разговаривали, дюжая дворовая девка внесла в переднюю коробку яблок. Минуты через две вышла Маша, подошла к коробке и, не смотря ни на кого, сказала:

— Снеси, Дуняша, эти яблоки в девичью, барыня приказала сосчитать их.

— А позвольте узнать, какие это яблоки, кислые или сладкие? — спросил Петрушка, подойдя к коробке, да и покраснел, сам не зная чего.

— Не знаю,— отвечала Маша, посмотрела на Петрушку и сама покраснела еще более Петрушки, взяла из коробки яблоко и начала вертеть его в руках.

— Его можно попробовать,— сказал Петрушка,— вот прекрасный ножик.

Петрушка вынул из кармана складной охотничий нож своего барина и подал его Маше.

Маша разрезала яблоко и отдала половину его, вместе с ножом, Петрушке.

— А какой это удивительный нож! — заметил Петрушка. — Это у нас, в России, в Туле такие великие мастера.

— Да,— отвечала Маша.

— Вот, видите, точно немецкий складной, и как умно все придумано: один большой нож — видите? — один маленький, вот пробошник, огниво, гвоздь — чистить труб-

ку, и уховертка.— Говоря это, Петрушка раскрывал нож и показывал каждую штуку особенно.

— Спрячь-ка, приятель, свой нож, — сказал Филька,— а вы с яблоками проваливайте: застанет старая барыня, что вы едите фрукты, надает вам тумаков и мне, как свидетелю, достанется. Слышь? Идут?

Девушки ушли в боковую дверь; в переднюю вошел Медведев и приказал подавать лошадей.

Так началось знакомство Петрушки с Машею, а если хотите — и любовь их.

С этих пор всякий раз, когда приезжал Медведев к Фернамбуковым, Маша всегда находила какой-нибудь предлог придти в переднюю. Петрушка, с своей стороны, всегда имел что-нибудь любопытное передать Маше; мало-помалу, они до того ознакомились, что Петрушка начал привозить Маше из господской библиотеки романы: «Природа и любовь» Лафонтена, «Алексис или домик в лесу» Дюкре-Дюминиля, и другие, подобные.

VII

Заметили ли вы, господа, что, пируя на свадьбе, холостые люди и девушки бывают как-то особенно настроены. Они откровеннее, мечтательнее, решительнее, разговорчивее, доверчивее... Право! Музыка ли располагает к этому человеческие сердца, или веселые, счастливые лица новобрачных, или яркое освещение — не знаю, но уверяю вас, что мое замечание справедливо.

На свадьбе Чурбинского пир приходил к концу. Музыка играла мазурку. Юлиан Астафьич танцевал в первой паре с своею супругою, далее Макар Петрович с Еленою Павловною, еще Василий Александрович с Александрою Ивановною и еще много, много пар. Можете представить, как было весело!

Лакеи и горничные приехавших господ столпились у дверей залы и с изумлением смотрели, как уездный учитель математики, приглашенный на свадьбу ради великого искусства и знания танцевального дела, изогнув данную ему богом обыкновенную человеческую фигуру в иноземную букву S, отчаянно носился по зале из угла в угол; правою рукою поддерживал он за кончики пальцев огромную даму, а в левой держал за уголок белый носовой платок, который, как флюгер, шумел, кружился, плясал

в воздухе и летел за своим господином, точно хвост за кометою. Зрелище диковинное и не для одних лакеев.

Маши не было в толпе любопытных зрителей. Петрушка и прежде видел эти танцы, потому он и не тискался вперед, закинул за спину руки и стал почти у самой двери, ведущей в сени. Вдруг ему послышалось, будто за ним отворяется дверь; он взглянул — нет никого; через минуту кто-то дернул его сзади за сюртук: оглянулся — опять никого; немного погодя, чья-то нежная ручка робко пожала его руку. В секунду Петрушка был за дверью, в больших темных сенях — ему навстречу какая-то женщина бросилась на шею и обвила жаркими руками.

— Это ты, Маша?

— Я, Петруша!

— Я не верю сам себе,— это ты, моя ненаглядная! Что с тобою? Ты плачешь?

— Грустно мне, Петруша: они пляшут, веселятся, а мне грустно, грустно... так и хочется заплакать... да все хочется говорить с тобою: кажется, все и отляжет от сердца от твоих речей. Как я люблю тебя, Петруша! Смейся надо мною, а я давно хотела тебе сказать это...

Петруша отвечал длинным поцелуем.

— Ах, Петруша, как ты хорош! Я сегодня все на тебя смотрела, пока начали надо мною смеяться. Дунька такая злая! «Посмотрите,— говорит,— Марья Ивановна и на панов не смотрит, как в танцах прохлаждаются, да все на Петрушку, и глаз с него не спустит». А я себе думаю: «Петрушка стоит того», и нарочно хотела на тебя глядеть, да так стало совестно; ушла в девичью и оттуда в щелку все на тебя смотрела — ты лучше всех!

— Я давно люблю тебя, да сказать боялся: ты такая быстрая, кажется, сразу на смех подымешь.

— Грех тебе говорить это, Петруша! Не бойся меня, что я быстра. Сова тиха, да птиц душит, а ласточка целый день летает да щебечет, только хвалит бога, зла никому не делает. Скажи мне еще раз, что ты меня любишь — мне так весело слушать... от радости, кажется, не доживу до утра.

— Люблю, люблю, моя радость!.. А я все не верил, что ты меня любишь, хоть Филька и божился... Вздумаю было тебе сказать так что-нибудь стороною, да вспомню, как ты насмеялась над приказчиком — и язык онемеет.

— Бог с тобою! То приказчик, седой дурень, а то ты — мой ясочка: с тобой и жить и умереть готова...

— Послушай, завтра же, если хочешь, я скажу своему барину; нас перевенчают — и будем жить счастливо.

— Делай, как знаешь, мой голубь сизый.

Тут музыка перестала играть; в сенях раздался звонкий поцелуй. Маша выбежала из сеней в сад, а Петрушка тихо вошел в переднюю.

Дня через два Петрушка сказал Маше, что Макар Петрович не соглашается теперь его сватать: скажут, дескать, что нарочно женил Чурбинского, чтобы через него отнять у Фернамбуковых ученую девочку. «А ты,— говорит,— молод, и она молода, потерпите до осени — это менее года; тогда я сам буду сватом; если не согласятся господа ее выдать, я им заплачу, что они захотят».

— Как не согласятся! — отвечала Маша. — Ведь ты сам говорил, что у Чурбинского ни кола, ни двора, а твой барин женил его на такой богатой невесте; да и на что я им? Нет, не станут противиться, будем ждать, да молиться богу.

— Будем,— отвечал Петрушка.— А не скоро придет эта осень!.. Зима, весна, лето... а там уж осень!..

VIII

Я очень люблю начало осени, особливо на Украйне: томительный жар лета сменяется прохладою; природа наградила труды людей своими дарами: везде довольство, везде веселые лица. Едешь полем: и направо, и налево от дороги длинным строем вытягиваются копны хлеба; в стороне где-нибудь краснеет запоздалая нива гречихи; тяжелые, черные грозди ее, как виноград, клонятся к земле на ветвистых, пурпурных стеблях... Вечереет. Крикливые стада журавлей пируют на полях, вереницы уток шумят над головою... Перед вами вьется в чистом воздухе легкий дымок. Вы подъезжаете к куреню баштанника (так у нас называют стариков, которые смотрят над бахчею); старичок разложил огонь перед своим шалашом и варит к ужину кашу. Пламя с треском обхватывает ветви степного ракитника, голубоватый дым тонкою струйкою вьется кверху и исчезает в воздухе; против старика сидит его внук — ребенок лет десяти; он разбил арбуз, чуть не в себя ростом, рвет руками его сочное, алое, сахаристое

мясо, ест и хохочет от удовольствия; за шалашем лежит косматая серая собака и весьма пристально рассматривает летающего вечернего жука; далее куча арбузов и дынь... И эта тихая картина облита ярким золотом заходящего солнца. По дороге вы обгоняете возы, нагруженные тяжелыми снопами; в деревне из-за хат выглядывают золотые стоги, как залог благоденствия многих людей; в садах целые семейства собирают яблоки, груши и бергамоты; на вас веет благоухание душистых плодов; вы слышите в саду хохот и песни девушек.

Хороша, богата природа! Невольно снимешь шапку и от души перекрестишься! Стоит ли человек прекрасных даров божьих?

Кроме того, осень — время свадеб; поселяне, кончив уборку хлеба, хотят отдохнуть, повеселиться. А где же лучше попировать, как не на свадьбе? Старосты, перевязанные через плечо поясами, начинают ходить по улицам. Не одна пара черных девичьих глаз высматривает их, жданных гостей; не одна роскошная, полная грудь дрожит от страха и сомнения: «любый» или «нелюб» шлет к ней сватов?..

Август приближался к концу. В селении Медведева из улицы в улицу ходили толпы свадебных гостей, с музыкою, с песнями, с красными знаменами...

Петрушка загрустил... От рокового дня охоты на озерах Чурбинского он раза два видел Машу в церкви; но Маша так печально говорила ему: «Чует мое сердце, что не бывать нам счастливыми; наш барин готов съесть вашего барина; не отдаст он меня за тебя!» Петрушка утешал ее, как мог, но в душе и сам чего-то боялся напомнить барину об его обещании, грустил, скучал — и слег в постель.

Медведев, узнав о причине болезни Петрушки, написал к Чурбинскому письмо, предлагая за Машу тысячу рублей или более, если Юлиан Астафьевич будет согласен, и в ответ получил на лоскутке бумаги четыре слова: «Ничего не хочу, не бывать этому».

Оправился от болезни Петрушка, или нет — бог его знает, только он встал с постели, взял ружье и пошел на охоту; подошел к реке и побрел тихими шагами берегом прямо к деревне Чурбинского.

Утреннее солнце светило ярко, стада дичи, подымаясь с реки, кружили над головою Петрушки — он ничего не

видел, ничего не слышал. Вот и деревня Чурбинского, вот и роща над рекою; по реке плавает большое стадо свойских уток; на берегу, под кустом, сидит босоногая девка в лохмотьях. Петрушка смотрит и не видит — идет далее.

— Петруша! — закричал кто-то позади его. Бедняк вдруг очнулся, будто тяжелый сон слетел с глаз его. «Кажется, голос Маши»,— подумал он и начал осматриваться. Девка в лохмотьях стояла перед ним — это была Маша.

Ружье выпало из рук Петрушки.

— Ты ли это? — прошептал он.

— Я, мой милый, ненаглядный,— отвечала Маша, обнимая его.— А ты и не узнал меня... Неужели платье так переменило меня?.. А я все та же, люблю тебя; чем они злее, тем больше я люблю тебя. Пусть они... Бог с ними... Ты был болен, мой голубчик; я все слышала, а меня и болезнь не берет...— рыдания заглушили голос Маши.

— Успокойся, моя рыбка... Сядем вместе, да расскажи мне, что у вас такое делается и отчего ты такая простоволосая?..

— Ох, много я вынесла! Была бы я давно рыбою, бросилась бы в самую быстрину, если б не хотела хоть еще раз увидеть тебя...

Маша обняла Петрушку, склонилась головою к нему на грудь и тихо плакала.

— Бог с тобою, моя горлица, успокойся: все будет хорошо...

Маша покачала головою.

— Садись вот здесь, — продолжал Петрушка, — здесь будет покойнее... Господи! Ты босая!.. Теперь холодна осенняя роса, холоден мокрый речной песок... Возьми мою шапку, положи в нее свои ножки, пусть отогреются...

— И вспомнить страшно, как рассердился барин, получа письмо от твоего барина. «Это, говорит, насмешка; меня обидели и еще сватают мою девушку за урода, который публично желал мне подавиться куликом»; кричал, ругался, а после и говорит: «Да у меня для Марьи есть жених получше этого сорванца, я ее сделаю счастливою. Позвать ко мне Машу!» Я пришла ни живая, ни мертвая. «Послушай, Маша,— сказал барин,— я давно хочу наградить тебя за службу и составить тебе партию. Потапыч, наш приказчик, очень желает на тебе жениться; я, с своей стороны, согласен... Что же ты молчишь?» — «Помилуйте,

барин,— сказала я,— у приказчика дети от первой жены старее меня; мне Потапыч годен в отцы, а не в мужья».— «Дура!.. А богатство его разве ничего не значит?» — «Богатство пусть останется при нем, мне ничего не нужно!..» — «Ого-го, сударыня, так вам прикажете выписать жениха из губернского города?..» — «Будьте милостивы,— сказала я и бросилась ему в ноги,— не разлучайте меня с Петрушкою, или за ним, или ни за кем не буду замужем...» Как он толкнет меня ногою прямо в лицо! Как закричит... Я и света не взвидела... «Так и ты заодно с моими врагами! Они и тебя, знать, подкупили на мою обиду. Вот я тебе сам отыщу жениха, а до времени... Гей! Потапыч! Сейчас с нее долой панское платье да в черную работу». Обрадовался Потапыч этому приказанию. «Помните, Марья Ивановна,— сказал он мне,— вы говорили, что я не умею обходиться с девушками — вот увидим. Пока отправляйтесь варить для работников галушки, да поворачивайтесь проворнее! Я человек сердитый, знаете, от старости: берегитесь, отеческое наказание у меня в руках». И он, улыбаясь, посмотрел на свою длинную палку. Трое суток варила я галушки, носила воду тяжелыми ведрами, мыла чугунную посуду... От непривычки работа валилась из рук моих. Сердитый Потапыч за всякую безделицу без милосердия меня наказывал... Вчера я нечаянно опрокинула огромный горшок кипятку и — вот видишь — совсем обварила себе левую руку... Меня все-таки наказали и до выздоровления заставили пасти господских уток...

— Бедная моя Маша! — шептал Петрушка, целуя ее больную руку.

— Еще не все. Сегодня... когда я гнала сюда уток, повстречался мне Потапыч и говорит: «Я стар, Марья Ивановна, и глуп, и непригож, и не гожусь вам в мужья, все-таки люблю вас, отыскал вам жениха, и барин приказал завтра вечером перевенчать вас... Знаете Фомку-дурачка, что пасет господских свиней; правда, он не пересчитает на руках пальцев, зато человек молодой; готовьтесь к венцу».

— Да он пугал тебя,— сказал Петрушка.

— Ох, нет! Еще вчера барин приказал выстричь и вымыть Фомку и дать ему новую рубашку... Весь двор удивился, за что такая милость к этому дураку... А теперь я знаю... я не переживу своего несчастия!..

— Нет, Маша! Нет, быть не может, чтобы эти ясные очи, черные косы, белая грудь, это сердце, такое доброе,

которое так меня любит... чтоб все это досталось неумытому дураку... Он — это животное, станет ласкать тебя, станет целовать тебя... Нет, Маша, этого быть не может!..

— А будет!..— едва слышно сказала Маша.

Молчание.

— Послушай,— говорила Маша,— ты любишь меня, и я люблю тебя более всего на свете; нам еще можно спастись, нас никто не разлучит... Послушай меня...

И, притянув к себе на грудь Петрушку, она что-то стала шептать ему.

Петрушка пришел домой веселее, спокойнее; необыкновенная радость блистала в глазах его.

— Тебе лучше, Петрушка? — спросил Медведев.

— Лучше, барин, я совсем здоров.

На другой день рано поутру, чуть стало солнышко показываться из-за леса, Петрушка, с охотничьею сумкой за плечами, с ружьем в руках, был уже в роще Чурбинского на берегу реки; немного погодя пришла Маша. На ней была белая, шитая шелком рубаха, завязанная красною лентою; косы лежали на голове черным венком и между ними блистали осенние белые астры...

— Хороша твоя невеста? — сказала Маша, подходя к Петрушке.

Петрушка бросился целовать ее.

— Погоди, Петрушка, не целуй меня: станем молиться богу, чтоб он не разлучал нас и в будущей жизни...

Они упали на колени и тихо молились; в речном тростнике пела пеночка... Солнце величественно выходило на небо. Село начинало пробуждаться...

Помолясь, Петрушка подошел к Маше, обнял ее, и уста их слились долгим поцелуем.

— Слышишь,— говорила Маша,— они придут сюда — и все пропало! Поспешим, моя радость: там нас не разлучат. До свидания!..

Она стала на колени и распахнула рубашку на полной груди своей.

— Смотри же, мой милый, стреляй прямо в сердце, вот оно, вот бьется, стреляй сюда, а как я умру, и сам за мною скорее: без тебя мне будет скучно и минуту... Ах, как весело умереть от твоей руки!..

Петрушка поднял ружье и прицелился.

— Что же ты ждешь? Я душою чую, что идут сюда — и отдадут меня Фомке!..

Выстрел раздался — и Маша упала на траву. «Приходи ко мне скорее...» были последние слова ее... Алая кровь теплым ключом била из ее раны; светлые глаза подернулись смертным туманом.

Петрушка торопливо начал заряжать ружье, а между тем в роще раздавались голоса: «Кто смеет стрелять! Лови, лови, да и в суд, кто б ни был, моею рукою... Барская земля!» — и Потапыч с тремя десятниками бежал к Петрушке.

Вот они уже близко. Петрушка спешит прибить заряд, взводит курок, упирается дулом ружья в грудь и, перегнувшись вперед, спускает курок: щелк!.. не выстрелило: Петрушка второпях забыл насыпать на полку пороху.

Десятники схватили Петрушку.

— И умереть не дадут! — простонал Петрушка.— Прощай, Маша! Я сдержу слово: скоро увидимся!..

IX

Был осенний вечер. В гостиной Медведева, по-старому, на круглом столе кипел самовар и горели две свечки в тяжелых подсвечниках; на диване, у стола, Анна Андреевна разливала чай, в кресле сидел Медведев, только не было Трезора, а перед хозяином сидел сосед с большим круглым лицом, да у двери, вместо Петрушки, стоял дюжий черномазый лакей.

— Прескверная погода! — говорил, сморкаясь, сосед.— Давно ли было тепло, и вдруг стало холодно! Кажется, и не пора бы: еще половина сентября!

— Будто очень холодно? — спросила Анна Андреевна

— Нет, оно не холодно, а дождик идет, такой, знаете, ехидный, так всего и измочит, кажется, и небольшой, а пронзительный.

— Так вы так бы и говорили,— перебил Макар Петрович.

— Нельзя же иначе выразиться, когда хочется с дороги пуншу!

— Ну, то-то! Ох, Евграф Пантелеймоныч, все еще неспроста говорите, все смекай его, да смекай, куда что сказано! Откуда же вас бог несет?

— Из нашего уездного города.

— Что там новенького?

— Новенького? гм! Особенного ничего. Разве, что ваш Петрушка вчера умер.

— Царство ему небесное! — в один голос сказали, перекрестясь, и Медведев и его супруга.

— Да, умер и, знаете, очень странно; со дня вступления в тюрьму он все худел, таял, как свечка; послали и доктора — не признается: «Я, говорит, совершенно здоров», а все чахнет, все день ото дня хуже, да вчера и умер!.. Что ж бы вы думали? Весь хлеб, что ему давали, нашли у него под постелью; ничего не ел и умер с голода!.. Впрочем, тут вы много виноваты: зачем было давать ему читать книги?!! Сам бы не выдумал такой штуки! Прочитал где-нибудь — и баста!..

Медведев молча встал и начал скорыми шагами ходить по комнате.

— А вы зачем ездили в город? — спросила Анна Андреевна.

— Избирать судью на место умершего в прошлом месяце нашего почтеннейшего Цвиринковского.

— И выбрали?

— Общим голосом Юлиана Астафьича.



ЗАПИСКИ СТУДЕНТА

Повесть

Entre le commencement et la fin il y a la vie.

V. Hugo *

Я желал бы знать, что думают лошади во время гололедицы?

Не знаю, как вы, а я с большим сожалением смотрю на лошадей, когда улицы покроет гладкий лед, и бедные животные, робко ступая, скользят, шатаются, и всякую секунду готовы упасть, может быть с тем, чтобы не вставать более. Особенно гибельны в это время торцевые мостовые и мосты. Люди — животные разумные, привыкшие ходить без опасения на скользком паркете, и те нередко падают во время гололедицы,— а лошади, бедные лошади! Право, жаль их...

Осенью 184... года, часу в 10 утра, в Петербурге была знаменитая гололедица. Все живое, всякого пола и возраста, более или менее падало. Тучков мост представлял длинное поприще для этого упражнения.

Он был похож на арену, усеянную побежденными. Особливо камнем преткновения, о который разбивались все усилия путешественников, был маленький подъемный мостик, посреди длинного моста на сваях... Я предполагаю моих читателей до того образованными, что они очень хорошо знают Тучков мост, что, проезжая или проходя его, они на половине своего пути подымались на холмик и, спустясь с холмика, опять продолжали свой путь спокой-

* Между рождением и смертью — жизнь. *В. Гюго.*

но, даже до каменной мостовой,— и очень хорошо понимают, что этот холмик не есть произведение природы, но подъемный мост, построенный инженерами для пользы общественной: ночью он растворяется и пропускает корабли, а днем, имея подобие естественной горки, приятно разнообразит путешествие...

Утром, во время знаменитой гололедицы, о которой уже сказано выше, я подходил к подъемному мостику на Тучковом мосту; деревянная горка, остеклованная льдом, представилась глазам моим; перед горкою стояла дюжая серая лошадь, запряженная в роспуски, и, поставя врозь все четыре ноги, с ужасом смотрела на предстоящую опасность; так называемый ломовой извозчик, стоя сбоку, собрал вожжи в одну руку и махал ими над лошадью, приговаривая нараспев: Ну! ну-у-у! у! На роспусках лежал белый, досчатый гроб, привязанный веревкою; сзади стояла женщина лет пятидесяти, в голубой заячьей шубке, с желтым, поношенным платком на голове.

— Ну! ну! ну-у-у! — крикнул извозчик сильнее прежнего.

Лошадь с усилием ступила передними ногами на мостик, зачастила ими, скользя вниз по льду, и упала на колени.

— Ну! Разом! Ну! Серко! — прикрикнул извозчик, ударив лошадь концом вожжей. Серко быстро встал, прянул вперед, неверно цепляясь подковами, и, стеня, растянулся на мосту.

Два офицера выругали извозчика за то, что его лошадь мешала им пройти свободно.

Извозчик ругал мост и гололедицу, и бил вожжами Серка, который стонал, жалобно смотря на своего хозяина.

— Он не подымется; разве ты не видишь, у него ноги изломаны? — сказал хладнокровно какой-то прохожий, в синем картузе, с красными выпушками.

— Ой, матушки! — вскрикнула старуха в голубой шубке, стоявшая позади роспусков.— Бедный Яков Петрович! И тут ему талану нету! И на Смоленское сразу не доедет.

— Ты родственника хоронишь, старуха? — спросил я.

— Какого родственника! Это их благородие, дворянин, чиновник. Добрый был, царство ему небесное, а какой бесталанный!.. Вот, хороню на свои деньги... хоть сама не

купчиха какая, не богачка... Бог заплатит, ради доброго покойника...

Недавно члены какого-то человеколюбивого общества, сложась по четвертаку, схоронили безродного бедняка. Целую неделю говорили об этом поступке, и восемь разных статей было написано о нем в газетах, между тем, как о приезде хивинского посланца говорили только сутки, а о возвращении Тальони двое, о привозе свежих устриц трое суток, о механическом диве и о *превосходнейших* каменных зубах (каждого из Вагенгеймов особо) публикуется в «Полицейской газете» только по три раза.

Передо мною стояла простая, необразованная баба, которая, не будучи членом человеколюбивого общества, не складываясь ни с кем, на последние деньги, как могла, хоронила своего бедного собрата-человека и, как мне казалось, даже далека была от мысли публиковать о своем пожертвовании.

Я вообще очень привязан к прекрасному полу, люблю без души молоденьких и чрезвычайно уважаю пожилых: но я с особенным уважением смотрел на бедную старушку в голубой шубке, и как ниже ее в то время показались мне многие из прекрасных дам, читающих французские романы, отчаянно играющих в карты и даже могущих доставить своему protegé * выгодное место!..

Прохожий, которого по синей фуражке я счел за ветеринарного врача, более солгал, нежели сказал правду, потому что Серко, наконец, не выдержал манипуляции извозчика, встал на все четыре ноги и, кое-как переправясь через подъемный мостик, тихо потащил гроб.

Я пошел за гробом, разговорился с старухой и узнал, что умерший был ее постоялец, что он во время болезни даже продал все свое платье, что умер, не оставя ничего, кроме свертка бумаг. «И умер над ними, голубчик! За них, если даст лавочник пятачек, и то спасибо»,— прибавила старуха.

Вы догадываетесь, что я купил у старухи бумаги; она на другой день принесла мне их. Это был повседневный журнал; между листами его лежали письма; каждое пришито к тому дню записок, в который было получено; все это вместе составило род простой повести, и я решился ее напечатать, не изменяя ни одного слова.

---

* Протеже.

* * *

183... года 20-го июня.

Экзамен окончен сегодня — и я вступаю в новую жизнь... Мир праху твоему, добрый человек, основатель Лицея! Благословляю память твою.

Давно ли я был еще ребенок? Как сегодня, помню день моего отъезда в Лицей. Я на своей маленькой лошадке хотел ехать гулять в степь; меня позвал папенька.

— Послушай,— сказал он мне,— собери свои книги, мы сегодня поедем далеко: я тебя отдам учиться в Лицей.

— А это очень далеко? — спросил я.

— Верст полтораста.

— Так мы завтра не воротимся?

— Нет, ты проживешь там долго.

— Более недели?

— Гораздо.

— Месяц?

— Больше.

— Неужели год?

— Шесть лет.

Меня обдало холодом. Ехать в такую даль, за 150 верст от дома, на шесть лет проститься с папенькою, с маменькою, с моею маленькою комнатой, с белою акацией, которую я поливал каждое утро,— а она, как нарочно, так душисто расцвела теперь!..

Грустно стало мне; я вышел на крыльцо; моя лошадка, увидев меня, приветно заржала; я подошел к ней, машинально сел на нее и шагом выехал в поле.

Нивы шумели от утреннего ветерка, росистая степь пестрела в цветах, жаворонки пели; но ничто меня не радовало. Я не спешил нарвать букет анемонов, не старался поймать красивую бабочку, чтоб подарить ее маменьке,— одна мысль тяготила меня: я должен все это оставить, оставить надолго!.. Как хороша воля! — подумал я и соскочил с лошади. «Прощай, лошадка,— сказал я,— ступай на волю!» Поласкал ее и бросил повода. Лошадка стояла передо мною. «Глупенькая, ты будешь гулять!» Я обнял ее и махнул руками. Через минуту только ее головка далеко ныряла между цветистою зеленью; еще минута, и я уже не видел ничего: все зарадужилось, закружилось в глазах моих, наполненных слезами.

После обеда мы с папенькой выехали из дома. Прощаясь, маменька уговаривала меня не грустить, обещала приехать ко мне, дала мне коробочку конфет, и я утешился.

И вот я в Лицее. Меня ввели и оставили в этом огромном здании. Все незнакомые лица, все такие страшные, классические физиономии профессоров, все так сухо, так важно! Папенька уехал.

Я подошел к окошку: оно было в третьем этаже; внизу краснели крыши одноэтажных домиков; далее стройно вытянулась улица, за нею стояла березовая роща, а там — боже мой! — гладкое поле, на нем змеилась дорога на мою родину!.. По дороге неслось облако пыли; мне казалось, что я вижу в нем нашу коляску, даже казалось, что папенька машет мне из коляски платком; но вот и это облако слилось с горизонтом... Я стоял и тихо плакал. Тут подошел ко мне Ш.; он так мило заговорил со мной, такое принял участие в моей печали, что мы с того дня сделались друзьями.

Милый Ш.! Мне теперь смешно, когда вспомню, как он утешал меня. Он говорил, что Лицей непременно должен сгореть, потому что в нем много несчастных, нам подобных, а когда он сгорит, то мы опять поедем по домам. И как эта глупая мысль восхищала меня! Я целый месяц ложился спать, наперед хорошенько увязавши все свои книги и платье, чтобы сейчас же бежать, когда начнется пожар. Вся кровь, бывало, бросится в голову, когда услышишь запах дыма или кто пройдет ночью по коридору со свечою; все ждешь, вот загорится, вот будет тревога, вот разольется огонь по комнатам... Но угрюмо дремали во мраке каменные стены огромного здания; изредка где-нибудь хлопнет незатворенное окошко или в дальнем коридоре простонут тяжелые шаги старого инвалида, и опять все тихо, тихо... Так и захочется спать!

Но вот сегодня шесть лет, как я здесь; завтра день выпуска. И сколько перемен с того времени!.. Наука открыла передо мною свои святые сокровищницы; мой ум смело ширяет в тучах и разлагает громы и молнии, я дерзаю вычислять пути светил небесных; наука увлекает меня на дно моря и показывает жемчуг и подводные чудовища, сводит в недра земли, где растут жилы золота и зреют драгоценные камни; она рассказала мне судьбы народов, и дела давно минувшие переходят в уме моем яркою фан-

тасмагорией; я изучаю природу, изучаю человека, самого себя, и люблю творца, как благодетеля моего, люблю по убеждению.

А поэзия? Боже! И есть люди, которые не понимают поэзии! Бедные, жалею о вас: вы не знаете лучшего наслаждения в жизни! Вы не понимаете ни Жуковского, ни Шиллера, ни Байрона, ни Пушкина, великого Пушкина! Вы произносите эти имена, как имя славного портного, парикмахера, и ваше сердце не трепещет сладким восторгом. Жалкие! Плачьте о вашем невежестве и дивитесь этим именам, как проявлению неба на земле... Шесть лет, и как я вырос духовною жизнью!..

Я должен сказать прости моим милым товарищам, с которыми я рос вместе, с которыми делил и радость, и горе, с которыми не раз тепло молился перед святым алтарем; я должен сказать им прости. Долг чести зовет меня — я должен служить отечеству. Сколько раз я завидовал мудрым Сципионам, Фабрициям, Аристотелям... И вот передо мною широкое поле жизни, поле чистое. Какой разгул для деятельности! Вперед! Какое раздолье быть полезным ближнему... Мой девиз — презирать все низкое, любить одно возвышенное... Я... увидим, что я сделаю!..

27-го июня.

Вот я опять в нашей маленькой деревне. Свободен, как божья птица. И Кант, и Юстиниан, и несносный Лакруа забыты до времени.

28-го июня.

Чудная жизнь в Малороссии летом! Вчера я приехал домой; отец обнял меня и поздравил *человеком;* мать заплакала; сбежались братья, поднялся шум, хохот; так прошел целый день. Сегодня мне отвели квартиру, как говорит батюшка, в саду, в беседке. Эта беседка утонула в зелени деревьев; перед моими окнами цветут целые пирамиды душистого горошка, стройно колеблются разноцветные мальвы, а розы, полные, пышные розы, тянутся густою гирляндою вдоль по сторонам темнозеленой аллеи. Если б живописец мог нарисовать такую картину, он умер бы от восторга.

29-го июня.

Сегодня день моего ангела! Я проснулся рано поутру. В головах у меня стояла огромная ваза только что расцветших роз: человек сказал мне, что с восходом солнца моя маменька сама поставила эти розы и ушла тихонько, перекрестив меня... Как я сладко сегодня молился богу; эти розы курились чистым фимиамом к его престолу! Есть минуты в жизни, которыми выкупаются все страдания человечества.

Люди! Понимаете ли вы, что́ такое мать? Понимаете ли вы это страдательное существо, эту вечную, безграничную, бескорыстную любовь? Мужчины, благоговейте перед матерью; это алтарь, на котором неугасимо горит любовь к человечеству, может быть, одна любовь в мире без холодного эгоизма.

У нас были гости: человека четыре соседей, все люди отставные с мундиром. Целый почти день рассказывали о разных случаях войны; мой отец говорил о взятии Очакова так подробно, как будто вчера только его брали. Тут были свидетели и семилетней войны и войны отечественной. Какая поэтическая жизнь военного человека! Сегодня здесь, завтра там, после в третьем месте; везде новые лица, новые знакомства, прелесть отдыха, грусть разлуки — все это должно тревожить сердце, возбуждать дух к деятельности. А это глубокое самоотвержение, эта всегдашняя готовность пожертвовать для блага общего самым драгоценным для человека — жизнью, не возносит ли это меня самого в глазах моих? Как понятна благородная гордость рыцарей, надевавших меч! Нет, я непременно посвящу себя войне, я буду кавалеристом; мои предки жили и умирали на конях, я последую их примеру.

1-го июля.

У нас есть два соседа статские: один Щука-Окуневский, говорят, удивительный вестовщик и любит говорить свысока, а другой Сутяговский; об этом отзываются как об умном человеке. Они оба вышли в отставку и приехали из губернского города в уезд, в свои деревни, когда я был в Лицее.

14-го июля.

Я очень не люблю нашего соседа Сутяговского, хотя он и пользуется какого-то особенного рода уважением всего уезда: все за глаза его ругают, а в глаза как будто его боятся; даже вид Сутяговского мне не нравится. Высокий мужчина, вечно наклоненный вперед; на лбу всегдашняя дума о чем-то недобром; голос — хриплый бас, похожий на ворчанье бульдога; глаза постоянно опущенные вниз; о чем бы ни говорил он, с кем бы ни говорил, они всегда устремлены на одно место, на пол. Мне кажется, он должен быть большой грешник и боится поднять глаза, чтобы не увидеть над собою карающей десницы правосудия. Важность, с какою он входит в комнату, как поправляет медленно на шее орденскую ленту, как прикидывается простаком, чтоб больше еще выказать свою ученость, которая, entre nous soit dit *, не слишком глубока,— все это нестерпимо. Куда бы ни приехал он, всех перецелует, начиная с хозяина до последнего гостя, хотя бы ему кто был и незнаком — ему все равно: идет потихоньку вокруг комнаты, схватит человека в объятия, поцелуется раз, два, три, заворчит какую-то любезность или заклинание — кто его разберет! — и принимается за другого, пока всех обойдет... Да это так важно, будто он бог знает какая знаменитость и не хочет никого обидеть, лишив частички своей высокой ласки.

Я недавно видел, как в сети паука попалась муха; в одну секунду паук был уже возле своей жертвы, схватил ее, прижал к своей груди и долго обнимал ее двумя передними лапками, опутывая роковой паутиною; потом прокусил бедной мухе голову, выпил из нее кровь и преспокойно возвратился в свою засаду, как ни в чем не бывало, только потолстел немного. С этих пор я не могу равнодушно смотреть на Сутяговского; когда он обнимает человека, мне все кажется: вот запищит бедный страдалец, вот сосед прокусит ему голову...

Сутяговский тоже меня не очень жалует: то экзаменует меня и чрезвычайно важничает, когда я, чтоб не огорчить батюшку, отвечаю ему, как профессору, то берет на себя труд делать мне наставления, поет с бемольного тона о нравственности, как пресвитерианец времен Кромве-

---

* Между нами говоря.

ля. Несмотря на все это, в нем сильно отзывается дух прошедшего XVIII века, не слишком нравственного.

Какую он состроил сердитую рожу, когда я сказал, что не считаю Вольтера великим поэтом! Он готов был скушать меня, как паук муху, проворчал себе под нос, вероятно, какую-нибудь глупость и, сразу переменив разговор, начал проповедывать о чести, обязанности всякого дворянина служить отечеству, о том, что молодому человеку гораздо приличнее служить даже в городской ратуше, нежели заниматься пустыми мечтами, ведущими к растлению нравов; что в старину так не бывало; оттого было более и учтивства, и утонченной вежливости, и приличного всякому обращения... Я вышел из комнаты и возвратился, увидя, что Сутяговский уехал.

15-го июля.

Несносный человек!

Скоро будет в Р. ярмарка; весь наш уезд приходит в движение; только и толкуют о ярмарке; через неделю половина нашего народонаселения двинется в Р.

Батюшка тоже хочет ехать и меня берет с собою. Я скучал бы этою поездкою, если б не надеялся увидеться с Ш., с моим милым товарищем.

19-го июля, полдень.

Мы в дороге. Скоро я увижу доброго Ш. Он живет в том уезде, где будет ярмарка. Как приятно будет наше неожиданное свидание! Я желал бы перелететь в Р. Но мы едем на своих лошадях, сделали упряжку 30 верст, и, говорят, надобно отдохнуть лошадям, покормить их. На постоялых дворах останавливаться теперь нет никакой возможности; там жарко, миллионы мух, а всякого народу еще больше; шум, крик,— несносно. Мы выехали из селения и сейчас же остановились в тенистой дубовой роще, которая от дороги спускалась по отлогой горе до светлой, быстрой речки.

Пока лошади едят овес, а повар, разведя в сторонке огонь, хлопочет около обеда, мы вышли из коляски и уселись в тени на раскинутом ковре. Батюшка читает «Московские ведомости», я пишу от нечего делать. Ба! К нам еще подъезжает экипаж... останавливается... Господи! Да это Сутяговский; его лошадей отпрягают; он уже идет сюда, и я часа два должен буду слушать его широковещательные пошлости... Нет, прощайте.

Вечером.

В первый раз в жизни я благодарен Сутяговскому: чтоб избавиться от его присутствия, я взял ружье и пошел к реке, будто на охоту, велев известить меня, когда лошади будут готовы. По берегу реки шла узенькая проселочная дорога; в двух шагах от дорожки стояла распряженная кибитка, подняв к небу оглобли; на оглоблях было натянуто полотно, из которого тройка гнедых лошадей кушала овес; двое мальчиков, лет около десяти или двенадцати, подбирали на берегу раковины и цветные камешки; недалеко от берега на песчаной отмели сидел в воде пожилой человек, выставя из воды свою усатую голову, покрытую кожаным треугольным картузом; голова весело разговаривала с детьми:

— Батюшка, бросьте нам еще раковин.

— Ладно! — отвечала голова.— Я вам достану самых пестрых,— и отодвинулась еще далее от берега...

— Где же раковины? — кричали дети.

— Господи! Что это?!! Я еду в пропасть... Ух!.. — вскрикнула голова и исчезла под водою; треугольный картуз быстро поплыл по течению... Секунды через три опять показалась голова, ухнула, и опять скрылась...

— Батюшка тонет!..— вопили дети,— он не умеет плавать.

В минуту я был уже в воде, схватил утопленника, кое-как вынес на берег, скоро привел его в чувство и возвратился к экипажу, душевно благодаря Сутяговского.

Я пришел весь мокрый. Сутяговский, увидя меня, начал басить моему отцу:

— Да, я вам говорю, совсем не то время; все теряет свою цену; им тяжело послушать час-другой опытного старика, лучше пойдут в болото, убьют какую-нибудь пичужку — заряда не стоит! ни пуху, ни перьев, ни мяса, в рот взять нечего; а заряд денег стоит, а платье и того более, все перепачкаешь, изгадишь... Мы, бывало, у наших стариков изволь носить пестрядинное, холстинное и прочее... так нанковому платью и цену, бывало, знаешь, а суконное, если дождемся суконного, бывало, бережем, как свою душу: коли черное, так черное, ни пятнышка белого не допустим; а теперь наряжаются в будни как под венец; различия нет между возрастами... Право нехорошо!..

Батюшка крепко обнял меня, когда я рассказал ему свое приключение, а Сутяговский начал ворчать:

— Благородно, не спорю, да нерассудительно; он, вы говорите, толст и здоров, а вы молоды и малосильны; прими дело другой оборот — осиротили бы своих родителей, а пользы никакой...

Тут Сутяговский начал поправлять на шее свою орденскую ленту, а мы уехали.

21-го июля.

Любопытно знать, каким способом распространяются новости в уездных городах? Этот вопрос для меня занимательнее вопроса о востоке. Самые быстрые телеграфы, электрические, гальванические, какие вам угодно, — ничто перед быстротою уездных вестей. Положим, вы спали одни в комнате, никого не было даже в соседних покоях, и в продолжение ночи раза два кашлянули; поутру, вы не успели выйти на крыльцо, вам мимоходом кланяется Борис Иванович и спрашивает: каков ваш кашель? Легче ли вам?

— Да кто вам сказал, что у меня кашель?

— Полно скрываться! Весь свет это знает; я заходил в аптеку, там уже часа полтора для вас катают пилюли.

— Ах они проклятые! Кто их просил?

— Именно проклятые пилюли, хоть и изготовляются по рецепту патентованного медика Лейбы Францевича. Лучше, я вам советую, напиться огуречного рассолу — испытанное средство.

— Много благодарен!

— Не за что! Да, еще Александра Ивановна, проездом в чужой уезд, остановила меня на рынке и говорит: «Скажите (тут она упомянула ваше имя и отчество), чтоб поберегся да пил липовый цвет с патокою». До свидания! Берегитесь. Ох, перенес и я в прошлом году кашель!

Да, чудная вещь! Пока вы спали, дух сплетен незримо прокрался в вашу спальню, подслушал ваш кашель и вынес его на свет божий; вы спите, а за вас уже не дремлют ближние: катают на ваш счет пилюли; доктор записал вас в свою приходную книгу; не только Борис Иванович, но даже и Александра Ивановна уже знает о вашем кашле и, смотрите, через неделю из чужого уезда приедут дальние родственники спорить о вашем наследстве, а вы еще и не думаете умирать. Непонятная вещь!

Если б я был англичанином, непременно назначил бы огромную премию тому, кто вычислит с математической точностью быстроту провинциальных сплетен.

Первое знакомое лицо, которое попалось мне навстречу в Р., был мой милый Ш.; он обнял меня и поздравил с добрым делом. Боже мой! Уж и здесь все знают о том, что я вытащил из воды человека. Мы пошли с батюшкою *в ряды;* народу было множество; все расспрашивают меня об утопленнике, осыпают меня нелепыми похвалами; они уже успели узнать, что человек, спасенный мною, называется Ивановым, что он богатый мещанин нашего города, перекрещенец из евреев и т. п. Знакомые указывали на меня пальцами людям незнакомым.

Неужели самое высокое чувство должно отравляться глупостью? Неужели святая минута восторга, которую я испытал, спасая жизнь ближнего, должна выкупиться оскорбительными часами бестолкового удивления праздной толпы, которая через час еще с большим вниманием станет смотреть на канатного плясуна, удивляться его прыжкам, станет толковать о нем от нечего делать. Да и что тут необыкновенного — вытащить из воды утопающего человека? Неужели кто-нибудь из этих господ мог бы спокойно смотреть на гибнущего собрата и не подать ему помощи?

22-го июля.

И он мне грудь рассек мечом
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул!..

Да, угль, пылающий огнем, пламенеет в груди моей. Чудные вопросы роятся в уме моем: и что со мною? и что я? и для чего я? и что такое жизнь наша?.. Один известный римский писатель задал себе остроумный вопрос: Ouid est nostra vita? (что такое наша жизнь?) и сам же себе отвечает: est forum in quo venditur et emitur (рынок, на котором продают и покупают).

Господи, какой прозаический ответ! Рынок, где продают и покупают!!. Как это отзывается веком падения великого царства, веком, в который изнеженные потомки доблестных, бескорыстных римлян с рассветом дня выходили за ворота своих великолепных домов, с весками в руках, и отдавали проходящим в рост золото!.. Нет, в жизни есть цель выше торгашества...

Как хороша сестрица Ш.! Сегодня меня Ш. звал к себе обедать; я немного опоздал. Вхожу в переднюю — никого нет; в соседней комнате обедают, стучат тарелками, весело разговаривают... «Я его люблю,— говорил нежный, почти детский голос,— за его благородный поступок и желала бы видеть...» — Отворя дверь, я прервал начатую фразу.

— Легок на помине! — закричал Ш.,— а мы думали, что ты изменишь, и сейчас только о тебе говорили. Рекомендую — это мои братья и сестры, а вот эта мечтательница, полно краснеть, сию минуту публично призналась, что тебя любит.

Меньшая сестра Ш., о которой он говорил, наклонилась к тарелке; густые, темные локоны почти закрывали все лицо ее, только по яркорозовым ушкам можно было заключить о пожаре, который вспыхнул на лице ее от слов брата.

Но долго ли продолжается смущение женщины?

Через несколько секунд она оправилась, подняла голову, резво раскинула рукою кудри, улыбаясь, посмотрела на меня — и, боже мой, какой отрадный, утешительный ее взор!.. Я весь затрепетал от этого взора... затрепетал от полноты восторга, как трепещет прозревший слепец, впервые увидя мир божий, как изгнанник, услыша песню далекой родины.

Ее лицо мне знакомо: я где-то видел его, и видел не раз, если не наяву, так во сне; в нем много родного, близкого моему сердцу; я где-то слышал ее речи, эту чудесную музыку голоса человеческого; она мне напомнила лучшие места бессмертных созданий Бетховена и Моцарта: в них отзывается ее речами, — только отзывается, и оттого эти создания так хороши! А тут сами ее упоительные звуки!.. Мне было невыразимо хорошо, невыразимо весело у Ш.; после обеда я остался пить чай и сидел у них весь вечер.

Пришел домой, и вдруг на меня нашла невыносимая тоска; я лег в постель — жарко; отворил окно в сад — в саду пел соловей; у самого окна цвел душистый куст фиалок... Не знаю, почему фиалки мне напомнили *ее*, в звуках соловья было сходство с *ее* голосом... какая-то гармония, успокаивающая душу.

Пой, соловей, пока ты свободен; быть может, завтра сети человека опутают тебя, и в тесной клетке ты станешь повторять свои вдохновенные песни! Может быть, завтра и эти фиалки, сорванные жадною рукою, очутятся в богатой фарфоровой вазе и, оторванные от родного корня, ста-

нут разливать предсмертное благоухание в покоях богатого. Может быть и она — чудесное создание!.. Но нет, неужели какой-нибудь эгоист завладеет этим сокровищем?!.. Господи, и откуда такие черные мысли? Отчего эта душевная тревога! Давно уже соловей умолк, дремля около своей подруги, счастливец!.. Давно уже полночь; луна зажглась, все спит... а ко мне не слетает сон-утешитель...

23-го июля.

Сегодня я опять видел ее, слушал ее, словом, был счастлив целый день. Странное чувство овладело мною: отчего, когда подхожу к ней, в груди у меня что-то трепещет, будто пойманная птичка в руках охотника? Хочу говорить — голос прерывается, а между тем я везде найду ее по какому-то странному инстинкту: в рядах, между сотнею соломенных шляпок с розанами, я безошибочно узнаю ее шляпку, такую же соломенную, с такими же розанами, как и другие — отчего это?

Неужели это любовь? Неужели меня посетило это неразгаданное, таинственное, святое чувство,— чувство, возвышающее человека до невозможности, сила, хранящая весь мир, альфа и омега благости провидения, сила, которая заставляет бездушный цветок трепетать и склоняться к другому, сдвигает противоположные полюсы твердого магнита, проявляется в притяжаемости разнородного электричества, влечет тучи небесные к земле и соединяет небо с землею огненными нитями молнии; краеугольный камень нашей божественной религии: «Любите и врагов ваших!» — сказал бог устами человека...

Да, это ты, любовь! Это ты, желанная гостья! Я схороню тебя, как драгоценность; пусть теплится во мне тихое, беспредельное чувство, я никому не скажу о нем — ни другу, ни брату; они, может быть, улыбнутся, слушая меня, а и этого довольно, чтоб возмутить непорочное чувство. Я не скажу *ей* — боюсь оскорбить *ее;* даже бумаге не стану передавать всех сокровенных помыслов души моей... Теперь я понимаю глубину стихов Пушкина:

Пью за здравие Мери,
Доброй Мери моей!
Тихо запер я двери,
И один, без гостей,
Пью за здравие Мери....

Человек, истинно любящий, не станет хвалиться любовью своею, не станет пить *ее* здоровье в кругу товарищей, чтоб не слышать любимого имени, произнесенного нечистыми устами, чтоб не подать повода никому даже думать о *ней,* нет, он один, в тишине, как древний жрец, совершает жертву своему идолу; он пьет *ее* здоровье от полноты души перед свидетелем, которому известны все тайные помыслы человека — я даже никогда не решусь написать имя *ее*... Кто знает будущее? Может быть, чей-нибудь взор оскорбится, читая это имя. Оно всегда в душе моей.

16-го августа.

Вот уже и лето приходит к концу: везде жатва, везде видно довольство — чудное время! С детства я любил тихую семейную жизнь; и по целым часам смотрел на картинки прошедшего века, подписанные les douceurs de l'automne *; там, в саду, перед дверью домика с навесом, сидит за столом счастливое семейство; полные кружки стоят на столе, два-три старика, разговаривая, курят трубки; прелестный ребенок играет на коленях матери; хорошенькая круглолицая девушка срывает с дерева яблоки, а молодой человек поддерживает ее так лукаво... Она покраснела, как яблоко, которое держит в одной руке, а другою бьет по рукам дерзкого шалуна; но это наказание сопровождается такою милою улыбкою, что сам желаешь быть вечно наказанным. Далее видны виноградники; в них кипит веселая работа: кто обрезывает зрелые гроздья, кто несет полную корзину плодов; другие складывают виноград в деревянные чаны; какой-то проказник опрокинул пустой чан на бок, уселся в нем, как в будке, и смеется; в стороне две девушки хохочут и бросают в него виноградом.

Так, бывало, легко и весело, когда смотришь на подобную картину, забываешь, что эти поселяне ни дать, ни взять маркизы мужского и женского пола века Людовика XIV, что они в париках, в фижмах, в розовых бантиках, как фарфоровые статуйки, полученные в наследство от покойного дедушки,— все забываешь, глядя на картину тихого счастия...

---

* Услады осени.

У нас поля покрылись, как войском, бесконечными рядами копен хлеба. Я всякий день хожу любоваться полевыми работами. Поселяне весело жнут и ожидают с восторгом праздника обжинков; говорят, он скоро будет.

20-го августа.

Никогда Малороссия не была для меня так хороша, как теперь. Царь потребовал от нее казачьих полков — и вдруг все зашевелилось: целые села готовы вооружиться, чтоб исполнить желание своего государя. Где нужно взять пять-десять человек рядовых казаков, там является сто охотников: восемь полков выступили весною, теперь набирают резервы.

На днях в уездном городе будет дворянское собрание для выбора офицеров. Я имею ученую степень — она тоже офицерский чин; попрошу согласия батюшки и матушки и пойду служить. Теперь война; сколько случаев быть полезным отечеству, сколько случаев отличиться, сделать добро!..

Одного я боюсь: если простой народ, бросая свои мирные занятия, стекается толпами под знамена, которые далеко шумели громкою славою при их предках, стекается толпами, более многочисленными, нежели нужно, то что будет в дворянском собрании, куда явятся люди образованные? А у нас осталось еще довольно дворян, служивших в военной службе; им отдадут преимущество — тогда прощай мое желание, моя охота!

Я сказал батюшке о своем желании служить в казаках; он согласен, мы завтра едем на выборы.

21-го августа.

Итак, я офицер ...го малороссийского казачьего полка. Сомнения мои были напрасны... Маршал нашего уезда сидел уже в собрании, когда я вошел туда; дворян было очень довольно, чтоб набрать офицеров на два полка, а тут шло дело об избрании одного обер-офицера. Сутяговский, пользуясь штаб-офицерским чином и старостью, преважно расхаживал и басил о пользе и важности выборов: «Если б мне не подагра, я не посмотрел бы на свою седину,— на коня и в поле; все-таки придушил бы кого-нибудь; жена сама управилась бы с картофелем, а

винокурню в аренду перекресту Иванову; человек хороший, честный; это был бы второй *я*...»

Почтенный старичок-маршал почти дремал в спокойных креслах; подле него стоял письмоводитель, тощий, испитой человек с головкою, загнутою наперед вроде крючка; вообще он был очень похож на цветочный стебелек, убитый морозом. Письмоводитель принес список; началось избрание. Я с удовольствием заметил, что большая часть дворян, находившихся в собрании, были то коллежские асессоры, то майоры, то подполковники, то надворные советники, а требовался обер-офицер; наконец дошло до мелких чиновников . . . .

. . . .

. . . .

Мой аттестат был прочитан, и я провозглашен казачьим офицером, ко всеобщей радости собрания. Маршал встал с кресел, дверь в соседнюю комнату отворилась, и все отправились завтракать, или, по словам маршала, перекусить после трудов. Через неделю будут готовы лошади, и мы выступаем в поход.

22-го августа.

Обычаи старины всегда для меня священны: в них отзывается патриархальная простота наших предков. И нет, по-моему, лучше обычая и веселее праздника обжинков. Когда совершенно кончится жатва, поселяне и поселянки сплетают из хлебных колосьев венок, украшают его цветами и плодами, выбирают из среды себя девушку, лучшую по красоте душевной и телесной, венчают ее этим золотым венком, и с песнями, нарочно сочиненными по случаю праздника, идут веселою толпою поздравлять помещика с окончанием полевых работ.

Еще с утра батюшка уведомил близких соседей о празднике. К обеду приехало несколько человек гостей

Стало вечереть; длинные тени от нашего сада вытянулись по двору; верхи пирамидальных тополей, белые трубы дома и крылья далекой ветряной мельницы вспыхнули красноватым цветом; в воздухе стало свежее, и вот далеко в степи послышались песни, звонко неслись они с широкой степи, все ближе и ближе, громче и громче и, наконец, огласили весь двор. Разнохарактерная дворня высыпала со всех углов смотреть на веселых поселян, которые довольно тихо шли под песню. Впереди, окруженная старей-

шинами села, шла, потупя в землю глазки, царица праздника, премиленькая, быстрая брюнетка; на ней был венок из золотистых колосьев ржи, перевитых словно кораллами, пунцовыми гроздьями калины, что очень шло к ее смуглому личику и черным косам.

Мы вышли на крыльцо; девушка подошла к нам, поклонилась в пояс и, сняв с головы венок, подала его батюшке, а старики в это время поздравляли с окончанием работ; батюшка взял венок, поцеловал его, поцеловал царицу праздника и, кланяясь, поблагодарил крестьян за их летние труды. Песни раздались громче прежнего... Мой отец — старик твердого характера; но когда он положил венок на стол, светлая слеза, как чистая росинка, засверкала, качаясь, на золотом колосе.

На дворе расставлены были столы, и поселяне уселись кушать. После обеда или ужина (не знаю, как назвать правильнее) у крестьян явилась скрипка, начались танцы. Мы пили чай в зале; в растворенные окна с чистым вечерним воздухом долетали к нам веселые песни, хохот и быстрый, звонкий стук подков. Высоко уже взошла луна, когда разошлись пирующие; мало-помалу песни умолкали на селе, соседи поужинали, разъехались; последняя удалилась бричка Петра Федоровича, стуча и дребезжа всеми членами. Вот ее стук замер в отдалении — все спят, а мне опять не спится... Странное дело! Девушка в венке напомнила мне *ее;* не то, чтобы была похожа, нет, а такие же волосы, такого же цвета глаза, почти такой же рост, и этого довольно! Вся кровь прилегла у меня к сердцу. Неужели я ее не увижу? А дней через пять я должен уехать, и, может быть, навсегда!

24-го августа.

Она здесь; да, здесь! Я не верю глазам своим; я опять видел *ее,* опять слышал очаровательные звуки ее голоса. Сегодня мы все сидели за круглым столом и пили чай; батюшка курил трубку и рассказывал мне, как военному человеку, о взятии Очакова; меньшие братья жались ко мне от страха, слушая, как турки, от нечего делать, обрезывали своим пленникам носы и уши; матушка сквозь слезы посматривала на меня; сестра оканчивала кошелек мне на дорогу; вдруг к крыльцу подъехала коляска, и из нее вышел Ш. с братом и сестрою. Я не помню, чтоб я когда-нибудь обнимал Ш. так, как в эту минуту. Семейство Ш.

едет к одному своему родственнику, живущему в нашем уезде, и мой добрый товарищ очень кстати заехал увидеться со мною. Узнав, что я скоро иду в поход, они согласились прожить у нас до моего отъезда.

27-го августа.

Прошли три дня, как три минуты... *Она* дивно хороша!.. А завтра день моего отъезда... Уж все готово; мой быстрый черкес подкован, пистолеты вычищены, добрая тройка выкормлена: завтра прощай все, что мило и дорого сердцу! Кто знает, что застану я, возвратясь на родину, и когда возвращусь? Да и возвращусь ли?.. Прочь, темные мысли! Скоро я обниму отца и матушку, покажу им георгиевский крест... *Она* меня любит!.. Сегодня мы гуляли по саду:

— Вы завтра уезжаете непременно? — сказала *она.*

— Да,— грустно отвечал я.

Мы замолчали и прошли длинную аллею. Потом я начал что-то говорить, сам не понимая хорошенько, что такое; тогда оно казалось очень умно и складно, а как припомню — выходит удивительная чепуха; она тоже говорила о посторонних вещах, но таким голосом, такой смысл выходил в речах ее, что я ободрился и подарил ей на память веточку полыни; сам не знаю, как я решился на подобную дерзость, отдал веточку и сейчас же готов был отнять ее, готов был провалиться сквозь землю, боялся поднять глаза, чтоб не увидеть, как моя веточка, небрежно смятая, с улыбкою будет брошена на землю и с нею вместе мое счастье, покой, будущность. Я слыхал, что женщины всегда улыбаясь делают подобные вещи.

Мы вчера читали «Селям», роскошный язык цветов, и еще Ш. очень смеялся, что полыни дано значение:

Твой образ, забываясь сном,
С последней мыслию слизаю.

Но полынь не брошена; к ней прибавлено два или три мелкие цветочка — и этот букет был целый день приколот к *ее* груди.

Вечером она подошла к роскошному кусту цветущих камелий, сорвала один цветок и робко отдала мне на память. Я пришел в свою комнату, схватил «Селям», начал быстро отыскивать камелию...

Передо мною мелькали: анемон, акация, барбарис, ветреница, василек, гвоздика и проч., и проч. Вот и камелия тут... Я прижал пышный цветок к губам своим — камелия: *я люблю тебя*. Я еще раз прочел, не веря сам себе... точно, напечатано: *я люблю тебя!* Я пишу, и камелия лежит передо мною; ее лепестки, кажется, вытягиваются ко мне, кажется, шевелятся... кажется, шепчут: «Я люблю тебя». Люблю! Какое гармоническое слово! Сколько мягкости и неги в этом слове, как очаровательно должно быть оно в устах *ее*! Если бы мне удалось услышать от нее мелодические звуки этого слова!..

28-го августа.

Сегодня я простился с родным домиком. Отслужили молебен, матушка надела мне на шею образ спасителя, отец благословил меня саблею, с которою он во время Екатерины впереди своих храбрых гусар врезывался в турецкие колонны и казачествовал в отечественную войну. Я обнял отца, матушку, братьев, сестер, милого Ш., поцеловал *ее* ручку, которая видимо затрепетала в моей руке, и поскакал на тройке. Я скоро догнал казачий отряд, выступивший уже в поход.

1-го сентября.

Третий день мы идем, и наш поход очень похож на торжественное шествие; везде народ встречает нас с восторгом; не нужно посылать вперед квартиргеров: старшины казачьих сел, куда мы приходим на ночлег, наперехват приглашают казаков на квартиры, кормят их, кормят лошадей, и ни за что не хотят брать ни гроша. Это приятно, но утомительно; такой незаслуженный триумф несносен: дело другое, если б мы возвращались победителями... Когда бы скорее попасть в неприятельскую землю!

2-го сентября.

Вечно мне ничто не удается! Пришедши в город П *, я уже застал приказ остановиться и дожидать дальнейших распоряжений.

Очень весело стоять в дрянном городке, где даже нет порядочного трактира пообедать, а какая-то скверная харчевня! Для первого моего дебюта в харчевне ничего более не отыскалось, кроме жареной курицы и половины поросенка, вероятно завяленных на медленном огне в

средние века за еретичество. Эти кушанья представили в лицах поговорку: «Видит око, да зуб не ймет». Спросил чаю; мне дали сбитню, и какая-то скверная рыжая борода, называющая себя хозяином харчевни, смеет еще уверять, что это чай, и что почти все семинаристы пьют его под этим названием. А тут еще нет квартиры! Это уже не казачье село, а город; здесь уже никакого толку не добьешься. Едва ночью показали квартиру, и я голодный лег спать.

10-го сентября.

Вот уже неделя, как стоим в П*, а о походе и слуху нет. Там люди получают почести, отличия и славные раны за отечество, а здесь изволь сидеть да скучать. Город осмотрел в два часа; раза три ходил к Днепру — от воды сыро; наступает осень, погода делается холоднее...

Вчера ко мне явился мой хозяин, человек очень фантастический, в серых брюках и в синей венгерской куртке; его маленькая головка, постепенно суживаясь и выдвигаясь вперед, перешла в большой красный нос, отчего мой хозяин очень похож на птицу, называемую дубельшнепом; он улыбался, т. е. приподняв немного кверху нос, оскалив зубы и кланяясь, поставил на землю порядочной величины гроб, который принес подмышкою.

— Что вам угодно? — спросил я.

— Ничего, милостивейший государь; я полагаю, вам должно быть скучно, и принес вам утешение.

— Хороша утеха! — подумал я, и сказал: — Согласен, что это утешение для всякого христианина, но...

— Извините, милостивый государь, и до христианства и иудеев это было в большом употреблении, как средство, разгоняющее темные мысли.

— А иногда, я полагаю, и нагоняющее...

— Извините, милостивый государь.

— По крайней мере я бы просил вас избавить меня от этого странного утешения; смотреть на гроб, хотя он и выкрашен, как ваш, для меня не очень приятно.

— Хе, хе, хе! Государь мой любезный! Вы не поняли дела; оно сходственно, да совсем не то; это доброгласные гусли. — Тут он поставил свой ящик на стол, поднял крышку, и я засмеялся своей ошибке; это были точно гусли; мой хозяин попросил позволения сыграть, и забавлял меня целый вечер.

4-го октября.

Вот и месяц, а о походе и слуху нет; война, говорят, утихает. Неужели придется кончить службу, не выходя из П*?.. Здесь умрешь со скуки. Жизни, однообразнее моей, и выдумать невозможно. Рано поутру выслушаешь донесение урядника, поедешь на конюшню,— там лошади едят овес, монотонный звук от их челюстей, жующих зерна, уже нагоняет скуку. Возвратясь домой, пьешь чай, долго пьешь — часа два, чтоб убить время; потом стреляешь в цель из пистолетов, там обедаешь; после обеда или свистишь, или, глядя в окно, барабанишь по стеклам пальцами, пока не настанет время отправиться на конюшню; на конюшне по-старому слышишь, что «все обстоит благополучно», и лошади опять едят овес. Приедешь домой, напьешься чаю, поучишь час-другой собаку носить поноску, и спать пора. Завтра то же, то же и то же!..

Еще пока было теплее, меня веселили какие-то два ученика в тиковых халатах удивительным дуэтом: у меня перед окном растет пребольшая шелковица; каждый день, бывало, при солнечном закате являются два ученые существа, одно лет шестнадцати или семнадцати, а другое лет двенадцати. Старший ученый усядется, бывало, в полдерева верхом на толстом суку и, болтая ногами, звучным баритоном начинает спрягать латинский глагол amo *, а меньшой взберется на самый верх шелковицы, совершенно укроется в ветвях, — только и видишь из зелени одну торчащую книжку в красном переплете,— и самым пронзительным дискантом распевает какое-то греческое склонение. Да как припустят, бывало, вдвоем! Истинная музыка! Ни одна баба не пройдет мимо двора, не остановясь минуты на две, чтоб послушать иностранного пения.

— С трудом дается наука, милостивейший государь мой! — всегда, бывало, скажет мой хозяин, поглаживая красный нос, когда услышит латино-греческий дуэт.— Смею вам доложить, что лучше б согласился пахать землю, нежели петь подобным образом по деревьям.

Теперь я лишился и этого удовольствия; осень оборвала почти все листья на дереве, вечера стали холодные, и певцы сокрылись неведомо куда. Хозяин и его гусли мне стали противны,— всякий день играет одно и то же; вы-

---

* Люблю (лат.).

просит у меня стакана два пуншу, напьется и начнет петь такие гадости, что слушать отвратительно...

Уже начались мелкие осенние дожди и целый день не выпускают из комнаты; в городе нет ни одной книжной лавки, хоть улицы полны так называемым ученым народом, а винных погребов, кажется, около десятка. Я очень жалею, что не взял с собою из дому ни одной книги; приказал своему человеку говорить сказки, да у него какие-то лакейские сказки — все барыни, да господа, да немцы... «Что ты мне не рассказываешь про бабу Ягу, про Змея Горыныча, про Гаркушу, про Наливайку?..» — «Все это, сударь, мужицкие сказки, я таких не знаю»... Что с ним делать? Вот полупросвещение! Врет нелепости на новый лад и знать не хочет старины! Толковал ему, толковал — ничего не понимает!

4-го декабря.

Наконец я опять дома, в своей деревне, в кругу своего семейства! Наши резервы распущены по домам. Вот и конец моей службе! Какая злая насмешка судьбы надо мною! Где мой крест, где моя слава? Что я сделал полезного? Мне совестно смотреть на людей. Мой поход похож на гору, родившую мышонка; я разыгрывал роль синицы, которая собиралась зажечь море. Рыцарская страсть к приключениям, жажда опасностей и славы — все это дало результат: из нескольких месяцев убийственной скуки и горечи разочарования, одна польза — опыт.

183., 4-го января.

Часто, улыбаясь, смотрел я на танцы и мысленно повторял известный стих:

Да из чего беснуетесь вы столько?

Люди, кажется, и порядочные, и говорят довольно умно, и знают приличия, — мужчины не станут ни прыгать по комнате от скуки, ни свистеть за столом, дамы ходят тихо, плавно, будто боясь вывихнуть себе ногу, все опускают глазки, ни на волос из устава *Куту* китайцев о десяти тысячах церемоний; заиграла музыка, эти люди стали в кружок, — и пошла потеха! Замахали руками, зашаркали ногами, засуетились, запрыгали. Кто

скачет прямо, кто бочком, кто толчется на одном месте; да все так храбрятся, точно воробьи над просыпанною крупой.

Уморительно смешно! А теперь я сам танцую с утра до вечера, с вечера до утра... Согласен, что танцевать так, лишь бы танцевать с кем попало, для vis-a-vis, * для компании, и т. п., мучение; танцевать с дамою, которую не только любить, но даже уважать не можешь, жесточайшая казнь; но танцевать с *нею*, кружиться под волшебные звуки вальса Штрауса в каком-то обаятельном мире фантазии, забывая и людей, окружающих меня, и все, кроме *ее*, держать это чудесное создание в объятиях, чувствовать, как бьется, трепещет под рукою сердце, за которое рад бы отдать и мечты прошедшего, и будущность, пить *ее* дыхание, слышать легкое прикосновение *ее* кудрей к лицу вашему, обдающее вас электрическим огнем, — верх блаженства! Выносить всю негу этих ощущений может душа любящая, но передать их — никто!.. С неделю как *она* приехала с своими родными и гостит у нас, и я, прежде танцевавший только для приличия, сделался страстным охотником до танцев — все почти танцую с *нею*.

Как *она* добра и умна! Матушка моя очень полюбила *ее*, а *она* полюбила мою маменьку. С детства лишенная отца и матери, *она* круглая сирота; *ей* любо отогреть душу любовью.

1-го мая.

Настала весна. Весело щебечут в поле жаворонки, цветут подснежники, зазеленели рощи, зацвели сады; соловей прилетел уже и целые ночи поет свои страстные песни; все живет, все радуется, а мне скучно...

Как весело я встречал весну, будучи ребенком! Как меня радовала первая травка, зазеленевшая на пригорке! Я с восторгом встречал южных гостей, перелетных птиц. Природа теперь все та же — отчего же мне грустно? Какое тяжелое чувство теснит грудь мою и слезы готовы брызнуть из глаз? Отчего это? Я не беден, отец и мать мои живы и так любят меня; я люблю *ее* и любим — не верх ли это благополучия? Женюсь и стану жить в тишине и спокойствии... Нет, я так люблю *ее*, что не могу теперь же-

* Напротив.

ниться... Какое имя я принесу ей? *действительный студент!..* Это значит унизить ее перед уездною спесью, так овладевшею моими землячками, что некоторые даже подписываются на приятельских записках: *майорша и кавалерша* N. N. и проч. в роде этого. Нет, я должен служить, сделаться хоть чем-нибудь, и тогда... Да и батюшка мне это советует; а я не хочу быть ослушником его воли... Мне необходимо служить, я должен употребить на пользу отечества мои познания.

В военную службу я теперь ни за что не пойду; война кончилась — что я буду делать? Опять закочую из села в село, из городка в городишко; скучать или волочиться за дочками помещиков, чтоб от нечего делать как-нибудь убить праздное время? Нет, я переменю саблю на перо, поеду в столицу, в Петербург. Там широкое поле для умственной деятельности, там столько министерств, там я с пользою употреблю мои познания.

Решено: еду в Петербург. Года два, много три — и я надеюсь отличиться; я постараюсь укоротить, облегчить деловые переписки; профессор прав так много нам толковал о них; я ночей не стану спать... Я достигну чего-нибудь и возвращусь домой. Тогда, как будет приятно с гордостью подать *ей* руку и сказать: все для тебя!.. Еду, еду в Петербург! Там же есть брат моей матушки, человек в чинах, давно уже действительный статский советник. Батюшка говорит, что он его когда-то отправил на свой счет в Петербург... Ну, да это в сторону! Довольно, что он брат моей бесценной матери. Я приеду, обниму этого доброго старичка, передам вести о матушке, о нашем житье, о своих надеждах; он верно не оставит меня на первый раз своим советом и покровительством.

10-го мая.

Несносный Сутяговский был у нас и мучил целый день своими хитрыми и злыми рассказами. Когда смотрю на него, невольно приходят на ум стихи Пушкина:

И ничего во всей природе
Благословить он не хотел!

Намеки его на мою праздную жизнь нестерпимы; я сказал ему, что еду в Петербург — ему, кажется, это досадно: он ворчал батюшке о высокомерии молодых людей, о выгоде служить сначала в уездном казначействе и по-

степенно переходить даже до Сената, где можно, дослужась до секретаря, быть *человеком* — да я не слушал его вздора.

Сегодня приезжал Иванов; он рассыпался передо мною в благодарностях, говорил, что он обязан мне жизнью, и просил моего батюшку дать ему в залог нашу деревню на какие-то соляные озера, обещая за это заплатить за крестьян подати. «Мне,— говорит,— многие с радостью дадут имения для этой операции; но как я обязан вашему сыну жизнью, то хочу как-нибудь быть вам полезным, хоть вашим крестьянам. Это дело моей совести, позвольте облегчить ее; а между тем и вы дадите мне возможность получить огромные выгоды и составите счастье моих детей». Отец мой согласился и дает Иванову доверенность. Сутяговский очень одобряет это, и по своему образу мыслей сказал, что можно бы еще было сорвать с Иванова тысячу-другую.

30-го мая.

Вчера я простился с *нею*. Это было на степном хуторе ее дяди, где все семейство Ш. гостит теперь. Часу в десятом утра *она* пошла в степь искать полевой земляники — я пошел с ружьем стрелять перепелок и нашел ее около версты от хутора.

Утро было чистое, ясное — мы сели в долине; все вокруг улыбалось, цветы весело помахивали головками, душистый чабер благоухал в долине. Грустно сидели мы; я рассказал ей необходимость поездки в Петербург. Судорожно обняла меня *она,* как бы боясь выпустить, потом, склонясь на грудь мою, тихо заплакала... Я тоже плакал... Горьки были для меня эти минуты, тяжко было на душе моей, а вокруг все было светло, весело: птички пели, ароматные цветы ярко пестрели. Мы немного успокоились, поклялись в вечной любви и обменялись кольцами. На небе не было ни облачка; но когда *она* стала надевать мне на руку свое колечко с незабудкою, вдруг на лице ее набежала тень — мы разом вздрогнули, взглянули вверх: над нами вился степной коршун. Кто бы мог поверить, что такое ничтожное творение могло заставить нас затрепетать от неизвестного страха?..

Несколько минут мы сидели неподвижно, смотря друг на друга; я еще раз обнял *ее,* наконец оторвался от про-

щального поцелуя и побежал в степь; *она* тихо возвратилась на хутор. К обеду мы сошлись оба печальные, а после обеда я уехал.

15-го июня.

На днях я выеду в Петербург; мне приготовили хорошую дорожную бричку на рессорах; ехать будет спокойно; долго ли проскакать полторы тысячи верст? Через неделю я увижу нашу приморскую столицу, увижу новый свет; образованность, науки, художества — все там имеет свою цену!.. Чудный город!.. Что ты готовишь мне?

Почекина станция. 23-го июня.

Давно ли — еще сегодня утром я был окружен милыми моему сердцу — и вот я один брошен в свет; с каждою минутою удаляюсь от знакомых мест моего счастливого детства и беззаботной жизни и приближаюсь бог знает к чему, к худому ли, к доброму ли,— во всяком случае к могиле. Когда я отправлялся в поход на войну, где готов был всякую минуту стать лицом к лицу смерти, я не грустил нимало, мне было весело; отчего же теперь грущу? Отчего я так плакал, в последний раз обнимая добрых моих родителей? Отчего мне беспрестанно мерещится этот проклятый, зловещий коршун, с распущенными крыльями, с раздвинутыми когтями, висящий надо мною?

Выехав из дома, я все смотрел назад, пока не скрылась из вида наша деревня; долго еще была видна вершина пирамидального тополя — под ним еще вчера мы весело пили чай... Вот и он скрылся из виду; я вздохнул, прилег на подушку и под однообразную песню моего ямщика:

Как жена била мужа
Да еще пошла на него жаловаться,

вздремнул. В минуту я был в каком-то безграничном храме; там множество народа: вот батюшка, матушка, братья и сестры, бегу к ним — они от меня отодвигаются; далее в нише стоит *она,* в венчальном наряде; я к ней, хватаю ее за руку — она отнимает руку, строго смотрит на меня... Я кличу ее по имени, спрашиваю: узнаешь ли ты меня? — она презрительно улыбается и говорит: *я вас* не знаю. Я вздрогнул и проснулся... Какой нелепый сон!..

Вот я уже три часа сижу на станции; долговязый писарь говорит: нет лошадей. «Не верьте ему, бездельнику,— говорит какой-то проезжий, которого я застал здесь,— он на водку хочет; вот я шестой раз сижу на этой дурацкой станции и ни разу не выехал, не дав четвертака этому пьянице — вот он чего хочет!..» Пришел еврей, содержатель станции, поднялся крик, ссора, спор — писать невозможно.

7-го июля.

К бесчисленному множеству мифов, порожденных просвещением, должно также отнести и прославленную быструю русскую почтовую езду. Четырнадцать суток еду день и ночь, и не могу проехать полторы тысячи верст: то нет лошадей, то лошади не везут... А беспрестанные неприятности, просьбы ямщиков и старост на водку, а рублевые порции телятины, которых мало десяти человеку позавтракать,— все это нестерпимо.

Здесь встретил меня человек в роде откормленного кабана, в красной рубахе, с рыжею бородою, с претолстою шеею, сквозь которую едва пробивается хриплый голос. Это был сам староста. Он посмотрел на мою подорожную и посоветовал мне идти в гостиницу, потому что лошадей нет. Я отыскал смотрителя и подал подорожную.

— Надобно спросить у старосты,— сказал он.

— Я старосту видел.

— Что же он?

— Говорит: нет лошадей.

— Вот видите! Я вам говорю, гон ужаснейший!.. Хоть сами посмотрите в книгу... У меня каждая лошадь записана.

— Скоро ли будут лошади?

— А бог знает. Часов через шесть, может, соберем, если кто не подоспеет по казенной.

— А если подоспеет, то мне опять придется ждать?

— Делать нечего, у нас иногда суток по двое сидят: под столицею разгон всегдашний. Бейся, бейся, как рыба об лед — бедовое дело!

— Нет ли у вас своих лошадей?

— Куда нам держать! Служим из хлеба, а если хотите, здесь есть вольный извозчик, у него лошади знатные — мигом вас доставит в Питер.

— Ради бога, пошлите за ним.

— Только он менее сорока рублей не возьмет за тройку.

— Бог с ним, лишь бы доставил скорее.

— Так вы пожалуйте деньги, я ему отдам.

— Возьмите.

Добрый старичок смотритель! Он взял деньги, открыл окно и закричал: — Фомка, живее барину тройку! Пожалуйте вашу подорожную.

— Для чего ж это? Ведь я поеду на вольных.

— Конечно, но все, знаете, оно безопаснее; вы уезжаете из станции, надобно беречь себя.

— Разве здесь шалят?

— Бог миловал; а на всякий случай не мешает, знаете, ради острастки.

Смотритель, записав подорожную, отдал мне ее, приговаривая: «Вот так лучше! Ну, теперь с богом». Добрый человек этот смотритель!

8-го июля.

Много радостей приносит нам фантазия, а еще больше печалей. Как сравнишь мечту с действительностью — вечный проигрыш на стороне последней, и человек — постоянная жертва разочарования. Я в Петербурге и недоволен им! Моя фантазия состроила идеал этого города; существенность не подошла к идеалу, и Петербург мне не нравится. Я ожидал гораздо лучшего... Неоштукатуренные дома некрасивой архитектуры, вроде фабрик, поразили глаза мои неприятным ощущением. Даже, мне кажется, мало в нем жизни, мало движения для столицы. Впрочем, я не видел еще главной улицы — Невского проспекта. На этой улице живет мой дядюшка. Завтра приоденусь и поеду к нему.

9-го июля.

Я приехал к дядюшке в 10 часов утра. «Его превосходительство изволят почивать», — сквозь зубы проворчал мне надутый лакей и захлопнул перед носом дверь. Прихожу в одиннадцать. «Чай кушают!» — отвечает та же ливрейная кукла.

— Доложи, братец, что я племянник генерала, приехал из... *** губернии и привез ему от родной сестры письма.

Лакей окинул меня глазами с головы до ног и, указав

рукою на дверь, ведущую в приемную, сказал: «Обождите там».

Целый час бродил я по комнате, рассматривая эстампы, висевшие на стенах, и не переставая удивляться, отчего бы дядюшке не пригласить меня выпить с ним чашку чаю. Ударило двенадцать; лакей отворил дверь в гостиную и просил меня войти.

Дядюшка в вицмундире, с звездою на груди, сидел на диване; возле него в креслах почти лежал молодой гвардейский офицер, а возле офицера сидела девушка бледная, худая, перетянутая донельзя, очень похожая на стрекозу. При первом взгляде на дядюшку меня оставила мысль броситься к нему на шею. Это был чопорный старик, одетый с изысканностью, с белым фарфоровым лицом, без жизни, без выражения. Когда я ему отдал письма, он, не читая их, подал мне два холодные как лед пальца и хладнокровно проговорил: — Очень рад, садитесь. Вы, вероятно, приехали на службу?

— Точно так.

— Здесь чрезвычайно трудно доставать места по статской службе.

Тут вбежал в комнату какой-то чиновник и пренизко поклонился дядюшке; дядюшка обнял его, усадил на диван и начал толковать о вчерашнем висте.

Мой дядюшка одушевился, глаза его как-то задвигались скорее; он засыпал своего гостя сюркупами, онёрами; три левэ, два левэ, четыре левэ так и лились с языка. Противник не плошал и быстро отстреливался фразами вроде: туз, король и дама сам — пят.

Девушка шепталась с офицером, смеялась и изредка посматривала на меня в лорнетку. Кажется, мой провинциальный костюм очень тешил ее: так, по крайней мере, я заключил из немногих слов, долетевших до меня; а офицер держал оппозицию, уверяя, что в Польше, во время похода, он видел много подобных оригиналов, что это в моде. Вероятно, язычок милой девицы уже слишком заехал далеко; она сделала какое-то замечание на ухо офицеру и, лукаво кивая головкою, громко сказала: n'est ce pas? *, а тот прехладнокровно отвечал: je crois que non. **

— Dites encore, que la neige n'est pas blanche! *** —

* Не так ли?
** Я думаю, что нет.
*** Скажите еще, что снег не белый!

с сердцем, скоро проговорила девушка, сжала от злости губки, отворотилась от офицера и, презрительно посмотрев на меня, вышла из комнаты.

Офицер не тронулся с места, только зевнул.

Видя, что мною никто не занимается, я раскланялся. Дядюшка на этот раз не подал мне и одного пальца, только сказал, слегка кивая головою: — Когда устроитесь, известите меня; мне будет приятно слышать; да кланяйтесь вашим родителям, если будете писать.— В передней я спросил слугу: — Кто эта девушка и офицер?

— Это дети его превосходительства.

— А гость во фраке?

— Сочинитель Единорогов.

— Что же он сочиняет?

— Не могу доложить. Кажется, он сам сказывал, пишет историю дома его превосходительства. Писать лишь бы охота, а дом большой, с флигелями, с конюшнями...

Грустно я вышел на улицу. Мой дядюшка человек надутый; его дети жалкие, пустейшие создания! Никогда нога моя не будет в этом доме. Если б мне пришлось умереть на улице от холода, я не укроюсь у него под воротами. Где радушный прием, о котором я мечтал всю дорогу? Где, наконец, благодарность? Опять разочарование!..

8-го августа.

Вот уже месяц живу я в Петербурге; все мои занятия — обед, сон и прогулка. Чем более я узнаю Петербург, тем более удивляюсь. Очаровательный город!.. Острова его — загляденье; если бы холодная сырость, проникающая вас по закате солнца, не напоминала о близком соседстве с Лапландией, можно бы подумать, что находишься под небом счастливой Италии: кругом прелестные речки с зелеными берегами; в их чистые воды глядятся изящно-красивые домики, тенистые сады, целый мир цветов. Вы идете; пахнул ветерок и обдал вас благоуханием цветущих померанцев. На чистой площадке сада, усыпанной белым песком, вы видите известную статую Меркурия Флорентинского, он вылетает из куста прекрасных синих колокольчиков.

Перст указует на даль, на главе развилися крылья,
Дышет свободно грудь, с легкостью дивною он,
В землю ударя крылатой ногой, кидается в воздух...
Миг — и умчится...

Боишься отвесть глаз, чтоб не потерять этот миг...

Далее, в павильоне из роз и акаций, Амур обнимает Психею; их позы полны неги и сладострастия; с какою любовью смотрит Амур в очи Психеи, будто читает в них вечную, беспредельную повесть счастья! Его мраморные крылья, кажется, трепещут от восторга, и эта группа облита темным полусветом, проходящим между зеленых ветвей акаций, обвеяна тонким ароматом роз... Там ярко пестреет широкополосая, в восточном вкусе, шелковая палатка; шалун-ветерок мимолётом тронет ее — и роскошно заволнуются, перельются в радужных отливах ее фантастические полы, и засверкают алые шнурки и кисти, перевитые золотом. Тише!.. Вы слышите звуки, будто летящие к вам с вышины,— это беглая проба на арфе, аккорд, другой, и чистый голос запел в палатке итальянское болеро; струны арфы то гремят, то замирают под руками, и голос певицы, проходя по всем изменениям страсти, дрожит, перерывается, растаивает в каком-то самозабвении и сливается с арфою; голос умолк, одна только арфа, как далекое эхо, в тихих аккордах повторяет страстную мелодию... Очаровательно!..

1-го сентября.

Теперь уже Невский проспект начал оживать; впрочем, посещая его в известные часы несколько дней сряду, я заметил, что он похож на огромную гостиную: народу пропасть, а встречаешь все одни и те же лица. Я ни с кем не знаком в Петербурге, но знаю очень много людей по физиономии, и, кажется, узнал бы их, если б встретился с ними в Америке. Особливо обратил мое внимание один почтенный старичок: в четвертом часу он каждый день идет по Невскому, в коричневом длинном сюртуке и шляпе с широкими полями; лицо у него важное,— так много на нем думы; глаза всегда с размышлением опущены в землю. Я, ежедневно встречаясь с ним, вчера только заметил, что у него на левом глазу бельмо. Может быть, это один из светильников науки, какой-нибудь известный в мире ученый, академик. Четверть часа ранее встречаются два молодые франта — должно быть, высокие аристократы; они идут вечно вместе об руку друг с другом, вечно веселы, громко говорят, хохочут... Что за манеры у них: то искоса мигнут на встречную субретку, то слегка заденут тросточкою бегущую мимо собаку — прелесть!. Полчаса

спустя после старичка в широкой шляпе встретишь... Ну, да бог с ними, и в неделю не опишешь Невского. Весело, а все-таки, нет места!

В каком министерстве я не был! Везде примут ласково, и отмечают: «К великому сожалению, нет вакансии». Один добрый секретарь даже сказал мне, что так уважает мои таланты и так полюбил меня (поговоря минут пять), что готов сам умереть, лишь бы доставить мне вакансию. Нечего сказать, народ вежливый!..

5-го сентября.

Наконец я определен. Проходя по улице, вымощенной камнем, я заметил надпись: «Департамент ***». Я взял свой аттестат и явился к начальнику. Начальник, маленький, толстенький человек, с круглым веселым лицом и коротко выстриженными волосами, зачесанными кверху, вышел в приемную и, быстро поворачивая в руках золотую табакерку, спросил: «Что вам угодно?» Я объявил ему о намерении служить под его начальством и просил о месте. Директор протянул ко мне руку и, как бы ожидая, что я подам ему письмо, спросил:

— Кто вам рекомендовал наш департамент?

— Никто.

— И вы ни от кого не имеете письма?

— Ни от кого.

— Но вы имеете руку?

— Даже и две, чтоб работать все полезное.

— Нет, вы меня не поняли, вы имеете знакомство, связи, родство?

— Никакого.

— Да как же это вы так?.. Кто за вас поручится? Извините меня...

— Мое происхождение, мое воспитание...

— Ха, ха, ха, извините меня, это неслыханное дело! Петр Иванович! Егор! Позови Петра Ивановича!

Скоро пришел Петр Иванович, высокий, сухощавый человек.

— Послушайте, Петр Иванович, — говорил директор, — вот молодой человек, пришел без рекомендательного письма определяться на службу, — без рекомендательного письма! Да это оригинальная шутка! Мне бы хотелось определить его; у нас есть вакансия?

— Есть одна,— отвечал Петр Иванович, мрачно посмотрев на меня,— на первый оклад.

— Прекрасно! Напишите, молодой человек, просьбу, приложите ваши бумаги и отдайте Петру Ивановичу. Удивительное приключение! Я сегодня же расскажу об этом в Английском клубе — похохочет князь Федот!..

Через час я был уже определен в какие-то чиновники 1-го оклада. Вот как! Разом в 1-й оклад! Завтра явлюсь на службу.

6-го сентября.

Меня упрятали просто в писаря, с жалованьем 420 рублей ассигнациями в год!..

— Вы учились арифметике? — спросил меня начальник отделения, Петр Иванович. Я не успел отвечать на этот нелепый вопрос, как он продолжал: — Так возьмите у журналиста Кокоровкина ведомость, поверьте в ней итоги и подведите общий итог. Кокоровкин дослужился до надворного советника, славно запечатывает и надписывает пакеты, а все не знает сложения: сам вызвался составить ведомость о людях, да и концов не сведет: все в итоге приходится то половина, то треть человека!

Канцелярия засмеялась, и я пошел к журналисту.

При первом взгляде на журналиста я заметил в нем разительное сходство со старичком в широкой шляпе: такой же глаз с бельмом, та же важная физиономия, только вместо коричневого сюртука журналист был в вицмундире. Я взял ведомость, посмотрел на итог и чуть не захохотал во все горло: в итоге было написано $5643^3/_4$ человека; после $^3/_4$ были зачеркнуты карандашом и сверху приписано $^5/_8$.

— Ведомость, должно быть, трудная? — спросил я журналиста.

— Попробуйте, так и узнаете.

— Отчего ж у вас тут вышло $^3/_4$ человека?

— Нет, должно быть $^5/_8$.

— А пять осьмых отчего?

— Отчего? Чорт его знает отчего! Так выходит. Попробуйте, так перестанете смеяться. Тут такое, я вам скажу: и мертвые души, и несовершеннолетние... такая путаница, сам чорт ногу сломит.

— А у него непрочные ноги?

— Попробуйте-ка, попробуйте, перестанете смеяться.

Еще я заметил здесь двух молодых писцов — презнакомые лица, как будто я где-то их видел или снились мне: в старых сюртучках, обшитых галунами; сидят они за особым столом; Петр Иванович в продолжение всего присутствия ворчал на них, выговаривал, что они русской грамоты не знают и не хотят слушать, только озорничают, и грозился оставить их в департаменте без сапогов. Я, говорит, дескать, вспомню старые времена, когда я служил в вашем чине.

В три часа директор уехал. Петр Иванович ушел вслед за ним, и в департаменте поднялась кутерьма: все прятали бумаги; первые выскочили в переднюю два писца, надели короткие сюртучки, взяли тросточки и помчались по Невскому; теперь только я их узнал совершенно — моих невских аристократов. Немного погодя, вышел журналист, натянул сверх вицмундира коричневый сюртук, покрыл мудрую голову шляпою с широкими полями и важно двинулся по Невскому.— Так вот мой академик, механик, астроном! — подумал я и, увлеченный общим потоком, пошел тоже по Невскому — домой.

1-го декабря.

Третий месяц служу я и все переписываю бумаги, скучные, безжизненные! Стоило для этого ехать в Петербург! Я могу при счастьи лет через пять поступить на жалованье 750 р. и все-таки буду переписывать; а я еще при вступлении нажил себе неприятеля в лице Петра Ивановича: он приберегал место, которое я занял, своему крестнику, и вдруг я как с облаков свалился.

Петр Иванович называет меня вольнодумцем оттого, что я, переписывая его бумаги, исправляю букву *е*,[1] которую он ставит как попало; он напишет ведение, а я поправлю в*е*дение; спорим час, и кончится тем, что он расскажет сказку, как яйца курицу учили и тому подобные любезности, не согласится принять одно *е* и пишет в*е*дение.

Ванька несет с почты письмо. В сторону журнал! Что-то нового мне пишут из дому?

«Милостивый государь
Яков Петрович!

Будучи в соседстве и находясь в приязни с домом вашим, я всегда питал к вам чувства моего почтения, иначе

* У автора — буква «ять».

выразиться, чувственную привязанность, не находив в вас трагического духа. С особенным неудовольствием спешу известить вас о падении вашего черкеса: он пал, иначе выразиться, издох от сильного перегона, будучи посылан за доктором по причине удара, приключившегося вашему батюшке, от коего он и помер; ваша матушка осталась теперь во вдовствующем положении, но что же делать! Не печальтесь, ибо мы все ходим под Богом и кончаемся за грехи Адама. У вас на похоронах было много почету, и наш предводитель генерал Н. Н., который, можно выразиться, и генерал и человек генеральный, и Сутяговский очень оскорблялся и плакал, и прочие, все известные, были в сильном расположении и в слезах, а после обеда разъехались. За сим с чувством глубочайшего высокопочитания и совершенной преданности имею честь

пребыть вашим, милостивый государь, покорнейшим слугою —

Иван Щука-Окуневский.

183... года, ноября 15 дня.
Село Скоробрехи.

Прилагаю при сем рецепт, доставленный для вас нашим аптекарем для самопалительных серных спичек.
Возьми: Phosphor. gr. x. т. е. фосфору 10 гранов,
Flor. Sulph,— j — серных цвет. 1 гран,
Kalioximurialici Ʒj — солянокислого поташа 1 драхму, разотри в тридцати гранах слизи аравийской камеди и обмакивай спички, а после суши в сухом воздухе».

29-го декабря.

И еще месяц; я все переписываю бумаги; в положенные часы прихожу и выхожу в положенный час; я сделался сущим автоматом!.. Впрочем, со смерти моего доброго отца, я хожу как в тумане, неспособен понять ни одной живой мысли, и для меня занятие переписчика очень по руке; даже я не мог ничего написать в своей памятной книжке: он умер — и больше ничего! Я даже смеялся, читая бестолковое письмо с серными спичками, а на грудь будто лег тяжелый камень, голова трещала от жара, а руки стали холодны, как лед.

Сегодня немного мне легче; слезы брызнули из глаз, и мне так стало жалко доброго моего старика; я вспомнил.

как он прощался со мною и плакал, обнимая меня, как долго смотрел вслед за уезжающим моим экипажем; как его седая голова медленно кланялась мне из окна... И знал ли я тогда, что прощаюсь с ним навеки... что я хороню его... что мои поцелуи были надгробное лобзание сходящему в могилу? Блажен человек, что не ведает будущего!..

183., 1-го января.

Сегодня новый год. Коллежский асессор Алеутников, служащий в одном со мною отделении, затащил меня поздравить с праздником Петра Ивановича. Петр Иванович одевался, однако принял нас ласково и, разговаривая о погоде, начал повязывать перед зеркалом галстук. Петр Иванович не любит бантов и всегда завязывает галстук на затылке; теперь, как нарочно, концы платка никак не сходились, руки двигались врозь, и Петр Иванович начинал морщиться от досады. В два прыжка низенький Алеутников очутился сзади своего патрона, вытянувшись на цыпочках, овладел галстуком и повязал его. Я невольно улыбнулся.

— Чувствительно обязан! — сказал Петр Иванович, быстро оборотясь к Алеутникову, и даже взял его за руку, а на меня бросил самый мрачный взор.

2-го января.

Косо посмотрел на меня в департаменте Петр Иванович и почти бросил передо мною бумагу, исписанную ужаснейшими крючками и хвостами, сказав сердито: «Переписать скорее, да не ошибиться. Эти ученые много о себе думают, а мало делают».

Начал разбирать кудрявое письмо моего благодетеля, по слову, по два переводить на бумагу, и к концу присутствия явилось очень чистенькое отношение от лица нашего директора к одному важному духовному лицу. Петр Иванович долго рассматривал мою копию, сличал ее с оригиналом, придирался к запятым и вдруг побледнел от ужаса и, гордо подняв голову, грозно посмотрел на меня:

— Как вы смеете делать подобные дерзости, невежественности? Вот что значит принимать на службу неизвестные лица!

— Какие дерзости?

— Еще и какие! Как вы могли сметь искажать смысл бумаги, данной вам начальником?

— Где же, позвольте узнать?

— Где же! Где же! Вы хотите под суд меня упрятать? Еще где же?.. Этакое фанфаронство, с позволения сказать, вольнодумство, сущее безбожие! Неуважение властей...

— Я вас не понимаю.

— Не хотите понимать, лучше скажите... Да, возьмите, читайте, что тут написано: с совершенным и прочая... читайте!

— С совершенным высокопочтением, честь имею...

— Довольно, довольно! Как вы сказали, с совершенным...?

— Высокопочтением.

— Да, высокопочтением, еще и смотрит такою невинностью! Разве можно писать так неуважительно?

— У вас так написано.

— Неправда, подайте сюда! Видите: выс. поч. и только,— это значит, что я дал вам только намек, надеясь на ваше образование, а вы и этого не знали, или не хотели знать, я полагаю.

— Что же здесь написать надобно?

— С совершенным высокопочитанием, понимаете? Не почтением, а почитанием: это означает степень великого уважения. Хорош бы я был, если б подал к подписанию его превосходительству эту бумагу, и вдруг бы мне наклеили нос, вот какой.— При этом слове Петр Иванович приставил к своему носу указательный палец и сделался очень смешон.

Петр Иванович еще петушился, еще ворчал, но я уже не слышал его замечаний: сторож принес мне письмо; я вышел в приемную, чтоб прочитать... нет, прописать... или да, точно, прочитать; и прочитал, перечитал, нет, зачитал... голова кружится, жарко, не могу писать... лягу прочитать.

«Дорогой товарищ мой!

Давно мы с тобою не видались. Как вышли из Лицея, подали на прощанье друг другу руки и разошлись по разным дорогам: ты зажил в деревне, а я отправился к своему дяде, командовавшему ...м уланским полком, получил virtuti militari *, чин поручика, и теперь стою с полком,

* За военную доблесть.

в ...уезде. Славный уезд! Помещиков пропасть, ребята все веселые, *хорошеньких* бездна, извини за армейский слог,— где нам угоняться за вами, столичными! У нас вместо зеркала блистает светлой сабли полоса, и диваны заменяет куль овса, как там поется в этой гусарской песне, ты знаешь; я не мастер был и в классе заучивать стихи, грешен только в четырех строках, которые профессор приводил в пример слога, не помню какого роста, чуть ли не высокого, и за которые я сидел три дня в карцере; врезались в память, проклятые! Вот они, возьми их себе на здоровье:

Хоть с вами б россы к нам достигли
Поящи запад быстрины,
Хотя бы вы на нас воздвигли
Союзны ваши все страны...

А дальше, хоть убей, не знаю. Желал бы и этих не помнить, да запали в голову как смертный грех — а за стихи ты, по старой службе, сослужи службу: вышли по первой почте две пары эполет, одну форменную, а другую бальную, побольше, потолще, поблестяще, со всевозможными блёстками. Что будет стоить, деньги я вышлю. A propos! * Я забыл было! В здешнем уезде живет наш товарищ Ш.; растолстел, братец; все спит после обеда, а у него сестрица — объяденье, такая сентиментальная. Я к ним очень часто езжал прежде с корнетом фон-Шпек. Лихой малый, говорит по-немецки, и по-русски объясняется порядочно, можно понять, играет шибко,— вот беда! Такой бешеный немец: все ставит на карту, пока есть что на нем; рад бы и душу загнуть на угол, да на что кому она? Никто и в грош не примет! Прошли времена громобоев...

С ним было уморительное приключение: сестрица Ш. начала на него заглядываться; он был дорогой гость в доме. Однажды Шпек проигрался в пух и целую неделю питался картофелем и солью; я, едучи к Ш., взял Шпека с собою. Дорогою Шпек мне рассказал о своем картофельном посте. Приезжаем; нам очень рады. Приходит пора обедать. Шпек с удовольствием посматривает в столовую! Сели за стол: первое кушанье — картофельный суп; я посмотрел на Шпека и не мог не улыбнуться; подают соус картофельный, другой тоже из картофеля, жареный картофель, и пирожное из картофельной муки. Шпек то блед-

* Кстати.

нел, то краснел; он принял это в насмешку, тем более, что при всякой перемене черные глазки m-lle Ш. быстро посматривали на Шпека. Я человек не слишком тонкий, а каюсь, подумал, что это насмешка на немецкую натуру моего товарища. После обеда Шпек закапризился ехать домой; я боялся, чтоб он не состроил какой сцены, и мы уехали.

Дорогою Шпек разразился в проклятиях. «Дьявол бы побрал всех этих быстроглазых! — кричал он.— Сама дала мне повод волочиться за собою, а теперь издевается. Да что она мне? Если б не ее имение, я и не смотрел бы на нее. Я знаю себе цену; в сюртуке еще ничего, а надену уланский мундир — все дамы засмотрятся на меня; выбирай любую! Решительно голоден; в желудке пусто, как в кармане! А вы, чай, и хлеба не видали, Федотов?».

Федотов, денщик Шпека, сидевший на козлах вместе с моим кучером, сделал полоборота направо и, приподняв фуражку, отвечал:

— Никак нет-с, ваше благородие, доотвалу накормили; едва могу сидеть на козлах, да и ко мне прибегала, только что мы приехали, горничная барыни, да все спрашивает: «Да скажи, Федотыч, что твой барин больше всего любит?» — Наше дело служивое, ваше благородие; я и говорю: — Вот таких чернявочек. Она хвать меня по руке да и говорит: «Не о том спрашивают; что твой барин любит кушать?»

— Все, что люди едят.

— Да что больше всего ест?

— Коли голоден, что подашь первое, то и ест больше всего.

— Да что чаще всего ему готовят?

— Вот с неделю, мол, все ест картофель.

— Так бы и давно! — И побежала от меня словно угорелая.

Шпек, слушая рассказ денщика, был в восторге. Теперь объяснилась причина картофельного обеда,— ему хотели угодить. Я поздравлял Шпека с завоеванием, взял с него честное слово после венца купить мне одному бутылку шампанского, а я обязался при нем и при его жене выпить. Вчера бутылка выпита, свадьба была не шумная — только свои. Шпек едва утерпел, чтоб в день свадьбы не сесть играть от радости. Его молодая супруга была в восхищении; ее черные глазки так и сыпали искры...

Через месяц назначен огромный бал у молодых, а там и пойдут танцы — то у того, то у другого из родственников. Очень рад, что узнал твой адрес; поспеши выслать эполеты к этому времени; авось и мы выкинем такую штуку... Прощай, mon ange *, как пишут молоденькие пансионерки. Не забудь твоего друга.

А. Завитаев».

23-го января.

Третий день, как я начал прохаживаться по комнате; силы мои быстро восстанавливаются. Сегодня я уже могу писать и докончить описание ужасного дня... Два раза перечитал я письмо Завитаева и начал читать уже в третий раз, как понял страшную истину и судорожно измял его в руке. Мысль, что Завитаев ничуть не виноват, быстро мелькнула в уме моем; я молча спрятал письмо в карман; в это время кольцо с незабудкою блеснуло мне в глаза, я сорвал его с пальца и хотел выбросить в окошко.

— Погодите, ваше благородие,— сказал сторож Егор.

— А что?

— Вы хотите выбросить на улицу колечко.

— Тебе какое дело?

— Так ведь оно, кажись, золотое?

— Ну, да.

— Пожалуйте лучше мне его.

— А тебе на что?

— У меня, сударь, есть дочка, девчонка лет пятнадцати, да такая охотница до перстеньков.

— Нет, если б ты хотел его пропить в кабаке, я, может быть, отдал бы тебе его, а дочери твоей не отдам. Не хочу я, чтоб в добрых руках было это кольцо.

— На улице могут поднять его и добрые люди.

— Это правда; спасибо за совет.

Я спрятал предательское кольцо в карман; но оно не давало мне покоя, шевелилось, жгло меня. Пойду к Неве, думал я, и брошу в Неву гадкий перстень; но Нева так хороша, всегда так величественно, благородно несет свои синие, прозрачные волны; не хочу осквернить ее моим кольцом. В этих мыслях шел я по Невскому и уже был на Полицейском мосту. Была оттепель; у ног моих, как змея,

---

* Мой ангел.

вилась грязная Мойка; ее густые, зловонные струи лениво переливались в широкой проруби... Вот достойное место для *ее* подарка,— подумал я,— достал кольцо, положил его на руку, по старой привычке поцеловал его, и щелчком сбил в Мойку. Долетая до воды, оно еще раз сверкнуло, поворотилось ко мне голубым цветочком и — ушло на дно.

В эту минуту что-то будто порвалось в груди моей, и я почувствовал необыкновенно приятную теплоту; я кашлянул,— кровь хлынула из горла. Пришед на квартиру, я съел пару апельсинов, выпил стакана два со льдом воды, и волнение крови унялось. Я стал, повидимому, спокойнее, даже сел писать свои записки, но не мог кончить... Иванька говорит, что он нашел меня в креслах в обмороке, уложил в постель, и я на третий день едва очнулся от сильного бреда. Доктора взяли меня в руки, поохотились порядком надо мною: и травили целыми стаями злых пиявок, и чего не делали они, а спасибо — помогли.

1-го февраля.

Я хочу не думать о *ней,* я презираю *ее;* а несносное воображение беспрестанно мне *ее* представляет; *она* не стоит того, чтоб я о *ней* думал: *она* хоть и хорошенький бюстик, но без души; *ее* глаза хоть и глядят так упоительно, но в них светится огонь сладострастия и больше ничего; *ее* улыбка хоть и очаровательна, но полна лжи... Так вовсе я не хочу думать о *ней*, хочу заставить себя забыть *ее,* и между тем все больше думаю... Странное создание человек!

3-го февраля.

Сегодня я проснулся; мой Иванька стоит у постели моей и плачет.

— О чем ты плачешь? — спросил я его.

— Ничего,— отвечал он, смешавшись,— так.

— Быть не может; разве ты боишься сказать мне?

— Вот видите что. Вы спали, а я смотрел на вас, да мне даже страшно стало; лежите вы бледные, ни кровинки в лице, словно мертвый; щеки запали, на руках хоть кости считай!.. Такой ли вы были дома, как приехали из Лицея, подумал я: кровь с молоком!.. Бывало, смеетесь, так в пятой горнице слышно, а как сядете на коня, на черкеса, да пуститесь по степи, ястреба вас, бывало, не обго-

нят!.. А теперь что?.. Ни живой, ни мертвый, голосу не отведете. И зачем мы приехали в этот Петербург? Что тут хорошего! Я с первого дня покачал головою, как нарядили вас в узкие немецкие брюки. Сейчас увидел, что тут толку мало... Сколько вот служите, а и эполетов не дают вам. А знаете что?

— А что, Иванька?

— Поедем домой, поедем в наши степи. Там у нас весело, там широко, привольно, много полей, много всякого хлеба, много плодов, всего довольно. Чего нам искать здесь? Что мы потеряли? Выздоравливайте, да поедем скорее!.. Станете гулять по степи, стрелять дичь, опять станете веселы... Даст бог женитесь, а тут, ей-богу, вы умрете.

И добрый Иванька плакал и целовал мои руки...

— Полно, Иванька, перестань, я и сам думаю ехать.

— И слава богу! Заживем опять дома, уедем отсюда! Что это за город! Без гроша воды не дадут напиться, а пойдешь в лавочку, тотчас бороды на смех подымут: и «хохол голоухий», и то и другое... Бог с ними!

6-го февраля.

Я из департамента получил записку, в которой экзекутор, по приказанию начальства, приглашает меня сегодня же явиться на службу, а в случае невозможности — прислать просьбу об увольнении. Далее говорится, что я только занимаю место, беспрестанно болен, от чего останавливается течение дел; другой, дескать, был бы полезнее на моем месте. Я с радостью написал просьбу и отправил.

7-го февраля.

Мой Иванька рассуждал благоразумно. Что я тут буду делать? Поеду в деревню. Матушка одна, ей надобно пособить в управлении имением, пристроить братьев и сестер. Решено! Завтра же пишу к матушке, чтоб выслала денег на прогоны да и расплатиться здесь,— я в болезнь задолжал таки порядочно,— и прощай, Петербург, в тебе очень холодно.

Иванька с утра поет вполголоса свои родные песни и собирается в дорогу; ему кажется, будто мы завтра должны выехать; я и сам целый день мечтал о тихой деревен-

ской жизни... Иногда мне приходило на мысль: не будет ли воспоминание о *ней* тревожить меня в местах, бывших свидетелями первой любви нашей? Нет, я уже простил *ее!*

Кто сердцу юной девы скажет:
Одно люби, не изменись!..
Утешься, друг, она дитя,
Твое унынье безрассудно;
Ты любишь горестно и трудно,
А сердце женское — шутя!..

Эти стихи великого сердцеведа нашего, Пушкина, примирили меня с нею, обвеяли тишиною тревожную мою душу. Мне жаль даже кольца: зачем я его бросил, да еще в такую скверную тину! Оно бы мне напоминало лучшие минуты жизни, которые даровала мне судьба; не всегда же быть человеку вечно счастливу:

Порою всем дается радость;
Что было, то не будет вновь.

Нет, я был злым человеком в минуту, когда бросил перстень в Мойку... Спасибо Пушкину, он успокоил меня. Какой-то, чуть ли не греческий, балагур сказал, что поэта должно увенчать и выпроводить из города. Желал бы я посмотреть в лицо этому мудрецу: оно должно быть нелепее суздальской картинки.

8-го февраля.

Сегодня я только что стал писать домой письмо о своей отставке и высылке мне денег на прогоны,— Иванька подал мне письмо с почты. Со смерти отца я не получал ни одного приятного письма и, как прежде, бывало, бьется сердце от радости, когда увидишь кивер почтальона, так теперь трепещет оно от какого-то темного предчувствия. Я взял письмо и даже боялся его распечатать; почерк Сутяговского — странное дело! — Теперь уже я не поеду, сказал я Иваньке, пробежав письмо,— а ты один будешь дома... Он робко посмотрел на меня, как бы стараясь прочесть что-нибудь в глазах моих, и когда я ему прочел письмо Сутяговского, громко закричал: — Этому не бывать! Я уйду с первой станции!

«Милостивый государь,
Яков Петрович!

Любя вас и уважая память покойного родителя вашего, я спешу известить вас о неприятном положении дел ваших: г-н Иванов оказался несостоятельным по причине различных неудач в соляной операции, и ваше имение, бывшее по сему случаю в залоге, продано с публичного торга. Я, как ближайший сосед, не хотел пустить его в незнакомые руки, купил оное и законным образом введен во владение, но, рассматривая ревизские сказки, я не отыскал в наличности одного человека Ивана Добряка, а как по справкам оказалось, что оный мой крестьянин Иван Добряк находится у вас в услужении, то я и отнесся в санкт-петербургскую полицию о высылке означенного Ивана на мой счет по этапу и, не желая огорчить вас нечаянностью, решился писать к вам об этом. Впрочем, уважая память покойного вашего батюшки, я ничего не стану требовать с вас за услуги означенного моего крестьянина, до отправления его из Петербурга, надеясь, что вы с вашей стороны не оставите за сие снабдить его на дорогу приличным платьем. Я полагаю, что вы, как человек ученый всяким наукам, не станете скорбеть о потере пустого имения. Блага земные непрочны, и в свете все так делается, как сказано в новейших российских прописях: «Всякий в свою очередь является на сцену и сходит с нее». Я учился по этой прописи, и теперь мой сынок Павлуша ее пишет. За сим, при желании вам всех благ, имею честь быть вашим покорным слугою.

И. Сутяговский».

183... года, января 24.
С. Грабуново.

9-го февраля.

Сегодня получил письмо от матушки. Она пишет, что когда Иванов объявил себя банкротом, Сутяговский приехал к ней, уговорил ее не писать об этом ничего ко мне, чтоб не потревожить меня — какое человеколюбие! — а сам Сутяговский плакал перед нею, говоря, что и он немного виноват в этом, советовав покойнику дать залог Иванову, и, сознавая свою ошибку, сам поехал хлопотать об этом в губернский город, откуда возвратился уже вла-

детелем нашей деревни. Сама же матушка с детьми, не желая пользоваться ничьим снисхождением, наняла в городе у одного мещанина небольшой домик и живет кое-как. Наш дом занял какой-то шляхтич, управитель Сутяговского.

16-го февраля.

Иванька отправился по этапу. Тяжело было мне расстаться с ним: он у меня был одно существо, с которым я мог делить радость и горе; он понимал меня, сочувствовал мне, когда я говорил о родине... Теперь я один, сирота в шумном городе!.. Прощаясь, я уговорил Иваньку не бегать ни с первой, ни с какой станции, советовал честно служить новому господину, и мы расстались... Через четверть часа опять входит Иванька в комнату.

— Что тебе надобно?

— А вот, барин, я нечаянно унес ваш ножик: он был у меня в кармане, да я так и ушел; вспомнил дорогою, да так стало совестно, что подумаете, может быть, будто я нарочно взял его. Едва уговорил солдата воротиться к вам на минуту.

Он подал мне ножик; руки бедного Иваньки дрожали, крупные слезы падали на землю.

Еще раз обнял я моего доброго слугу и более уже не видел его.

17-го февраля.

Теперь я *должен* остаться в Петербурге, *должен* работать, жить скромно, должен сколько-нибудь помогать моему бедному семейству; я не допущу, чтоб матушка, добрая матушка, которая так любит меня, дожила до необходимости питаться трудами рук своих. Я не напрасно учился; здесь много пансионов, отыщу себе где-нибудь место — надеюсь, что мой аттестат будет уважен учеными людьми — и стану передавать свои знания молодым людям. Мне кажется, нет святее этой обязанности... Я понимаю науку не как сухое собрание правил, которые должен *задолбить* себе в голову бедный ученик,— нет, наука, по-моему есть известная форма, посредством которой мы передаем молодым умам живую идею, обогащая ум знанием и вместе согревая душу любовью к прекрасному, высокому... А прежде всего мне нужно расплатиться с долгами.

20-го февраля.

Мебель, часы и все лишние вещи проданы; денег было довольно, а как расплатился с долгами, и в аптеку, и за квартиру, и за то, и за другое,— остались в кармане двадцатипятирублевая ассигнация и гривенник; на эти деньги не раскутишься, а пока места нет... Сегодня же поищу квартиру и завтра перееду в нее. Говорят, должно искать дешевую квартиру на Петербургской стороне.

24-го февраля.

Едва отыскал квартиру по своим деньгам — все дороги. Теперь моя резиденция в Теряевой улице на Петербургской стороне. Кто бывал на Петербургской, на Большом проспекте или около кадетских корпусов, тот не имеет никакого понятия о характере Теряевой улицы: там аристократия Петербургской стороны, здесь чистый плебс; там домики довольно опрятные, выкрашенные, — здесь мрачного, железного цвета; там вы иногда увидите и солидного чиновника, едущего на своей лошадке, и атласный салоп, иногда услышите звуки фортепьяно, если погода позволяет открыть окошко; иногда на улице наступите ногою на сотерновую пробку или на листок газеты,— здесь подобные вещи баснословие! Тишина изумительная; в шесть часов на улице нет живой души; с вечера упадет снежок, а утром вы увидите под вашими окнами свежие следы волка!.. Может быть, летом будет веселее.

Я занимаю маленькую комнату от жилицы, за 15 рублей ассигнациями, с столом — на условии учить грамоте ее семилетнего сына Ваську. Хозяйку мою зовут Анисья Карповна, а дом принадлежит какому-то отставному Арапу. Впрочем, он человек белый; я его раз видел.

2-го марта.

Целую неделю ходил по пансионам, и везде отказ; все спрашивают: кто рекомендовал вас? Был и у M-r Куку и M-r Коко, и у M-me Шнейбах, и у M-me Гольцкопф, и у пана Ютржицкого, и у десятого, и у двадцатого — не берет!.. Один посылает к другому, другой к третьему... Еще попытаюсь; говорят, где-то за Черною речкою есть, на бо-

лоте, пансион отставного капитана Лисицына, и у него всегда найдешь вакансию, лишь бы подешевле.

— Уживетесь ли вы с ним долго, за это не отвечаем: у него никто больше месяца не выживет, а принять-то он примет,— так говорили люди о Лисицыне. Люди не всегда правду говорят, и иногда охотнее скажут дурное, нежели хорошее, я думаю; притом же не умирать мне с голоду,— пойду в пансион на болоте.

4-го марта.

Договор с Лисициным сделан. Я вот уже неделю учу его школу читать, писать и арифметике — за 50 рублей ассигнациями в месяц; я должен быть в пансионе каждый день с семи часов утра до двенадцати и с двух часов до семи вечера; а опоздаешь минуты две-три, все Лисицын записывает и при окончании месяца слагает минуты в часы и по расчету вычитает из жалованья.

Незавидна моя участь: с утра до ночи толковать безмозглым шалунам одно и то же, толковать им из последних сил, что дважды два — четыре, и замечать, что слушатели в это время или спят, или рисуют с меня карикатуры, между тем, каждый день выносить невыносимо холодный и презрительный взгляд седого капитана Лисицына, регулярно каждый день слышать одну и ту же фразу: «У вас мало старания! Получая деньги, надобно заниматься делом!..» Надменный человек! Будто я не понимаю своих обязанностей... Видно, он провел свой век, обучая рекрут!.. О, деньги, деньги! Сидите вы у меня на сердце.

Говорят, бедность не порок. Бессовестная ложь: порок бедность, ужасный порок, отлучающий человека от общества, кладущий печать отвержения на лицо человека, убивающий душу и тело!.. Одна религия спасает меня... Благословляю минуту, в которую она озарила меня истинным светом евангелия... Придешь домой с душею истерзанною, с телом истомленным, станешь на колени перед образом спасителя, простишь обиды гордому человеку — *не ведает бо что творит*... и слезы и молитвы текут из успокоенного сердца, и все печали отлетят от тебя, и станет светло и легко на душе, и дух и тело укрепляет на завтра, на новую битву с жизнью, на новые страдания.

5-го апреля.

Месяц прошел. Я получил жалованье. С меня вычли рубль пять копеек,— отняли сухарь у нищего!.. Из этих денег пошлю красную ассигнацию матушке...

27-го мая.

Настала весна, и мучения мои умножились: на дачи наехало пропасть праздного народа и, гуляя от нечего делать, всякая сволочь заходит в пансион. Лисицын сейчас начинает экзаменовать воспитанников для поддержания славы заведения. Приходящие от скуки дают Лисицыну разные советы, а он сейчас же приводит их в исполнение...

Беда учить русскому языку! Каждый лавочник, умея записать расход и приход, воображает, что он знает русский язык! И каждый лавочник, смею вас уверить, даст какой-нибудь бестолковый совет касательно русского языка,— только попросите его. Начнешь опровергать какую-нибудь нелепость, Лисицын сдвинет седые брови и скажет такую любезность, что все внутренности перевернутся, а молчишь... О бедность!..

16-го июля.

Лето не веселит меня, даже ни разу я не был на островах... Бог с ними! Там все такие веселые лица... Погода непостоянная: то жар нестерпимый, то холод с дождями. Придешь из пансиона, поучишь Ваську, помолишься,— и спать пора... Моя хозяйка очень добрая баба; ей лет за пятьдесят, была замужем за солдатом, три года как овдовела и живет одна с сыном, занимаясь мытьем белья.

2 сентября.

Приходит осень; падают листья, вечера делаются длиннее, по утрам мороз белеет по заборам. Моя грудь начинает опять болеть; я два дня не был в пансионе — не мог дойти туда: в ногах тяжело и во всем теле какая-то слабость, все спать хочется. На третий день Лисицын прислал мне отказ, извещая, что он не намерен содержать богадельню, что больной человек, не принося пользы, наносит уже вред. При конце он прибавил, что отказывает мне не из каприза, но по *долгу*, и весьма обо мне сожалеет.

Я заметил, что Лисицын не так зол от природы, как высказывается в своих поступках. Он прочел «Историю Наполеона», заметил, что тот часто для пользы государственной ставил в ничто и жизнь и счастье одного человека — и стал применять это к своему пансиону... Слабость человеческая! Он даже и руки складывает á la Napoleon. Бог ему судья!

Анисья обещала мне отыскать работу: переписывать что-нибудь; она моет белье на какого-то сочинителя. Спасибо, хоть та польза от моей службы в департаменте, что выучился четко писать. Работать нужно. Последние деньги я отправил к матушке в надежде на жалованье из пансиона. Чем стану жить, чем заплачу за квартиру? А обременять собою добрую старушку-хозяйку я не намерен.

4-го сентября.

Был сочинитель. Это Единорогов, которого я видел у дядюшки. Он не узнал меня — и к лучшему! Он мне привез свое сочинение.

— Будет ли иметь эта книга успех? — спросил я.

— Невероятный; я ее посвящаю одному важному лицу — и я в барышах. Для этого вот вам четыре печатные книги; вы выпишите только из них в одну общую тетрадь все, что отмечено карандашом, и книга составится.

— А эта тетрадь? — спросил я.

— Здесь ничего нет, кроме заглавия; вы в эту тетрадь и выписывайте. Надеюсь, что мы останемся довольны друг другом. Со временем я похлопочу о вас; граф Б., графиня С., барон П. и все за вас постараются — это все мои друзья; а между прочим, позвольте спросить, что вы берете с листа?

Этот вопрос сбил меня с толку; я покраснел и едва мог сказать:

— Я не знаю; что вы другим платите?

— Я моему писарю плачу сорок копеек с листа.

— И я на это согласен.

— Но, позвольте, любезнейший, тот пишет с писаного — это труднее, а вы будете писать с печатного: здесь нет никакой трудности — читай себе и пиши! Поэтому, я надеюсь, вы возьмете по 35 копеек с листа?

— Пожалуй.

— Еще одно условие: чтоб завтра к вечеру все было готово; я должен поднести мою книгу его превосходительству в день его рождения. Прощайте, тороплюсь на завтрак к князю Прохору Ивановичу.

Единорогов уехал на прекрасной паре собственных лошадей.

5-го сентября.

Сегодня к вечеру я окончил работу, но уже не мог сам отнесть ее; моя грудь разболелась — и не удивительно: я написал в сутки около тридцати листов. Кровь сильно показалась из горла. Холодно, а голова горит — лягу в постель.

6-го сентября.

Я слег. Анисья принесла мне от Единорогова деньги, без гривенника: те, сказал, после отдам, мелочи нет. На долго ли станет этих денег? А мое здоровье все хуже и хуже. Анисья добрая баба, а никак не соглашается топить у меня в комнате. «Бог с тобою,— говорит,— теперь еще начинаются утренники, а тебе, кормилец, топи печку! Что же зимой делать?» Хорошо ей ходить с утра до вечера в своей голубой шубе,— ей тепло.

8-го сентября. Утро.

Верно я крепко болен — Анисья без моей просьбы истопила печку и пошла за доктором, как говорил Васька.

Вечер.

К вечеру пришла Анисья, ругая наповал всех докторов: — Экие они, какие! — ворчала старуха, — которому ни расскажу о тебе, все говорят: «Некогда, бабушка». Вcилу отыскала одного и оставила адрес.

Часа через два приехал доктор — мальчик лет восемнадцати; он очень важно вошел, поговорил со мною издалека, беспрестанно нюхая какие-то капли, будто я лежал в чуме,— сказал слов пять по-латыни и уверял, что эта латинщина моя болезнь; потом прописал рецепт на полулисте, приказал принимать микстуру (которая должна родиться из его рецепта) через час по ложке, и уехал, объявив Анисье, что в другой раз он ни за что в свете не приедет в такую чертовскую даль.

4-го октября.

Вот уже месяц я лежу в постели, и все в одинаковом положении — ни лучше, ни хуже. Не будь я слаб, я был бы совершенно здоров. На дворе октябрь, грязно, сыро — у меня над постелью появилась течь, в комнате тяжело пахнет глиною. Вчера продал последнюю книгу «Сочинения Пушкина», подаренную мне в Лицее за успехи в науках.

7-го октября.

Сегодня отдал старый серебряный рубль Петра Великого, именинный подарок моей матушки, когда я еще был ребенком. Двадцать лет я носил его с собою; он был мне вдвойне дорог — как память матушки и память о великом государе. Впрочем, я его отправил в лавочку, с уговором выкупить со временем. Немного оправлюсь — и хоть стану дрова рубить, а достану денег на выкуп.

8-го октября.

Какой-то поэт сказал, что юноша вступает в свет в венке из прелестных цветов. Человек живет — и опыт неумолимою рукою обрывает на венке один за другим все цветы; остаются под конец только засохшие стебельки, которые, как терны, мучат человека. В этом венке он сходит в могилу... Давно ли я смотрел на жизнь, как на веселый праздник. Все люди были мне приятелями, все девушки казались чистыми, непорочными сильфидами. Я был окружен родными; отец, матушка, братья любили меня... *она* — горькое воспоминание! — так жарко клялась в беспредельной любви, в верности до гроба... мне совестно за *нее*! И все исчезло, прошло как сон, как разлетается от ветра позолоченная гора облаков... Я имел достаток и мог помогать ближнему, а теперь моя матушка в бедности, и я не могу помочь ей! Сам лежу без куска хлеба, одолжен существованием милостыне от бедной солдатской вдовы!..

Часто смотрю по целым часам в окно: у самого окна стоит береза; на черных безлистых ветвях ее трепещет запоздалый, бледный листочек... Где его товарищи, с которыми он так сладко шептался в знойные часы лета? Их давно умчал холодный ветер; он один остался сироткою,

и тихо лепечет между ветвями свои жалобы, пока порыв бури не умчит его туда,—

Куда и лист лавровый мчится,
И легкий розовый листок!..

Мне жалко бедного листочка; его моет осенний дождь, и нет товарища прикрыть его... защитить его. Его судьба похожа на мою. Я люблю его, он мне родной... А далее, там, за березою, несутся по небу серые тучи, одна другой темнее, мрачнее, тяжелее!.. И день и ночь грустно тянутся они, как погребальное шествие за гробом прекрасного лета. Куда летят они, гонимые буйным ветром? И зачем летят они?.. В этом туманном небе, обремененном тяжелыми тучами, в этом тоскливом вое ветра, как в зеркале, отражается душа моя. Мне любо слушать и созерцать грустную природу... Со временем ветер перенесет облака, опять засветит солнце, и мир оживет снова — а я?.. Кто знает! Может быть, мне придется сказать с Жильбером:

Je meurs, et sur la tombe oû lentement j'arrive,
nul ne viendra verser des pleurs.
Salut, champs que j'aimais, et vous, douce verdure,
Et vous, riant exil de bois!
Ciel, pavillon de l'homme, admirable nature,
Salut pour la dernière fois *...

Во всяком случае будущее отрадно — если не здесь, то там, где нет ни печали, ни воздыхания, там отдохну от страданий...

16-го октября.

Как благодетельна природа! При однообразном моем положении, при нестерпимой скуке, которая ест меня, как ржа железо, она мне даровала какую-то способность дремать: стоит только закрыть глаза,— сейчас передо мною чудесные картины: горы, леса, реки, все живет, движется, говорит, поет... Невыразимо приятно! А между тем я слышу шаги Анисьи или частый стук дождя по оконным стеклам.

---

* Я умираю, и мою могилу, к которой я медленно приближаюсь,
Никто не посетит, чтобы пролить слезы.
Привет вам, поля, которые я любил, и нежная зелень,
И улыбающиеся лесные дали,
И небо, приют человека, и чудесная природа, —
Привет вам в последний раз...

Более всего мне представляются картины моего детства. Кажется, утро. Солнце только что поднялось над землею, везде блестит роса; мы с сестрою выбежали в сад и едим клубнику. Ягоды такие крупные, сочные...— Стыдно, дети, есть без спросу ягоды! — говорит маменька, отворяя окошко. Мы так и сгорели от стыда!.. Бежим в комнаты, а навстречу нам папенька: — Куда, дети? Ко мне, на шею! — И мы бросились целовать его... Вот мы все едем по степи в линейке, а вокруг столько цветков, да такие душистые... Мы, дети, побежали срывать цветы; так весело! На цветах садятся и ползают хорошенькие жучки — и золотые, и серебряные, и красные... Я подбегаю к кусту ракиты... порх из куста птица и полетела, свистя крыльями.— Какая это птица, папенька? — Стрепет.— Ух, какое страшное название! Слава богу, она далеко улетела.— Ты трус! — говорит папенька.— Нет, я не трус, посмотрите,— и я иду к раките, толкаю куст ногою, а сердце так и бьется, так и кажется: еще вылетит другой стрепет. Иногда в несколько минут вырастаешь — и вот я казачий офицер, стою у окошка и слушаю дуэт школьников на шелковице, а между тем думаю: любит ли *она* меня? Является *она,* полна невинности, очаровательно хороша, улыбается мне и дает цветок камелии; я хочу обнять *ее*... Скрипнула дверь, я открыл глаза — все улетело, и цветы, и сады, и чистое небо, и зелень лесов, и милые лица...

Опять дышишь гнилым воздухом, видишь сырые, грязные стены. За окнами шумит дождик, и одинокий желтый листочек дрожит и трепещет от ветра на обнаженной ветке. Закроешь глаза — и снова являются знакомые образы, и снова душа полна блаженства. Так проходят мои дни и ночи.

20-го октября.

Поутру я смотрел в окно и не видел уже желтого листочка: он улетел куда-то темною ночью, и уже не кланяется мне так приветно... еще я осиротел более. Писем из дому нет; хоть бы еще раз увидеть руку матушки, поцеловать ее строки! А тучи все идут по небу, мрачнее вчерашнего...

21-го октября.

Сегодня я всю ночь беседовал с батюшкою.— Скажите, пожалуйста, — говорил я ему, — вы живы и здоровы

и даже попрежнему веселы, а мне писал Щука-Окуневский, что будто вы умерли.

— Нет, мой друг, это неправда,— отвечал батюшка.

— Я так и думал! Старый сплетник Окуневский вечно лжет.

— Не брани человека; может быть, так надобно было.

Я начал думать и убедился, что Окуневский прав, что иначе сделать было нельзя, как написать ко мне такое письмо. После долго мы говорили с стариком. Вошла Анисья, и видение исчезло; но я ясно слышал слова «до свидания!», и за Анисьей в темном углу что-то кивнуло мне головой.

— Кто здесь был? — спросил я у Анисьи.

— Никого, батюшка; ты бредишь!

Я не захотел спорить с доброю женщиной, а попросил придвинуть ко мне столик и подать мою памятную книжку.

— Куда тебе писать! — сказала она, покачивая головою,— чай, пера в руках не удержишь.— Однако подала, и я пишу,— пишу, а писать не хочется: так очаровательны видения! Так и хочется закрыть глаза... Допишу после... чудесные видения... вот батюшка... Вот еще кто-то...

. . . .

* * *

Недавно я был в Большом театре. Давали «Озеро волшебниц». Театр был полон. Волшебница Тальони, обвив рукою резвую Шлефохт, неслась по сцене в живом галопаде. Вот они летят к зрителям; минута — и удаляются в глубину сцены, под прихотливые звуки оркестра, восхитительно улыбаясь, сладострастно маня руками какого-то счастливца. Восторгу не было границ, театр дрожал от *браво*...

— Как вам нравится наш театр? — спросил один мой знакомый у толстого человека с огромными усами, сидевшего рядом со мною в креслах.

— Изрядно! — отвечал толстяк.

— Кто этот жирный чудак? — в свою очередь спросил я в антракте знакомого.— Этот толстяк, с которым говорил ты?

— Известный человек, дает чудесные обеды! Откупщик Иванов.

— Он не здешний, как видно?

— Да, он недавно приехал из ***

— Мне кажется, он был банкротом?

— Бог его знает! Впрочем, он выдал свою дочь замуж за какого-то секретаря и обделывает все дела под его именем. Да мне что за дело! Он славный малый; простоват немного, немного материален, а обеды дает *поэтические*. Хочешь, я тебя завтра представлю к нему прямо в столовую? По рукам, что ли?

— Ни за что в свете!

1841 г.



ДОКТОР

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Хотя корень учения горек, но плоды оного сладки суть.

Новейшие Российские Прописи.

Le ton fait la musique *

Пословица.



«Не дает мне бог сына, а умел бы я воспитать его»,— часто говорил Тарас Иванович.

И дал бог Тарасу Ивановичу сына.

И началось воспитание.

Но кто был Тарас Иванович? Тарас Иванович был помещик одной из русских губерний, очень красноречиво описанных в разных российских географиях. Он смолоду был беден, но красив, удал и любезен, приглянулся богатой невесте, увез ее и женился. Молодая жена Тараса Ивановича была ревнива; она не хотела разделять своей власти ни с кем, хотела, чтоб муж принадлежал ей безраздельно. Спустя год, жена родила ему дочь Лизу, а сама умерла — кто говорит от простуды, кто — от расстройства нервов, иные — будто от скуки, что муж не имел права носить шитого ментика, а во фраке был неловок; другие

* Тон делает музыку.

уверяют, что покойницу свело в гроб имя Тарас, что, будучи девушкой, в пылу любви, она не заметила этого варварского имени; ей нравился ее идеал с блестящими эполетами, с гордой поступью, с красивыми усиками; но когда она стала дамою, когда первый чад любви прошел, когда пригляделась к идеалу, тогда имя *Тарас* выросло перед ее глазами мрачным пугалом. «Боже мой! — часто, говорят, повторяла она, — какие есть прекрасные имена: Юлий, Альфред, Станислав, Аполлон... а у меня муж Тарас!.. Никак его нежно не переделаешь! Таря, Таринька, Таруша!.. Какая гадость!» И жена Тараса Ивановича не шутя плакала.

Оставя в покое общие места, т. е. простуду и нервы, я от души верю последним двум причинам смерти жены доброго Тараса Ивановича, основываясь на изустных сказаниях ее современников и на критическом изучении *красной* летописи. Современники говорят, что, спустя два месяца после приезда в деревню Тараса Ивановича Севрюгина, т. е. ровно полгода спустя после его брака, он часто с озабоченным, почти даже расстроенным видом уходил к себе в кабинет, запирался и проводил многие часы в писании... чего? — неизвестно. Тщетно любознательные современники расспрашивали об этом камердинера Тараса Ивановича; камердинер всегда отвечал одно: «Не могим знать, писанием забавляются, все в какую-то красную книжку записывают».

Часто любознательный сосед открывал зорким взглядом под кучей бумаг в кабинете Тараса Ивановича красный корешок переплета книги и небрежно спрашивал:

— А что это у вас, почтеннейший Тарас Иванович, за красная книга?

— Так себе, домашние записки,— отвечал всегда Тарас Иванович, прикрывая книгу каким-нибудь письмом или ведомостью о мериносах.

— Позвольте полюбопытствовать! — говорил сосед, протягивая руку к красному переплету.

— Не стоит, почтеннейший; это так, вздор, расчеты, комиссии,— все такое...— и, быстро схватив красную книгу, Тарас Иванович запирал ее в ящик.

Красная книга была загадкой для всех до смерти Тараса Ивановича; по смерти его она переходила из рук в руки, а теперь находится у одного страстного антиквария и библиофила, где мне удалось ее видеть.

Книга исписана по-русски с примесью иероглифов вроде египетских. Буквы писаны вообще бойко, твердым почерком, а иероглифы нарисованы или, лучше сказать, нацарапаны довольно робкою рукой. Но обратимся к книге. С начала первой страницы было написано несколько чисто русских фраз, чрезвычайно загадочных, несмотря на всю их народность, загадочных потому, что они поставлены без всякого смысла и могли применяться к чему угодно; после следовали довольно младенческие изображения каких-то инструментов по части музыки и торговли, перемешанные с разными слогами, не имеющими никакого значения, хотя были поставлены в строчку с иероглифами; порой четко рисовалась на странице прежняя фраза, и опять следовала загадочная строчка в роде следующей:

Бе (нарисована *гитара*) *с* (нарисован *безмен*) *тика.*

Если это читать просто как шараду, т. е., «беги Тарас без ментика», то весьма понятно, в каком состоянии бедный Тарас Иванович убегал в кабинет и составлял шарады. Душа читателя просветляется новым светом, показывающим отношения между супругами; точно очень легко применить к делу и ввести в смысл все отрывистые фразы рукописи и весьма легко со мной согласиться, что смерть супруги произошла именно от последних двух причин.

Скоро после смерти жены Тарас Иванович опять женился на бедной дочке своего соседа, женился, по словам его, для того, чтоб иметь сына; пять лет жил он с женой, строил планы о воспитании наследника своего имени, а сына все не было.

— Не дает вам бог деточек,— говорили соседи.

— Что прикажете делать? Не дает! Нет, как нет!.. Верно, прогневил господа!

— Ну, да вы счастливы дочкой: она у вас такая сдобная.

— Девчонка не что́, будет, с позволения сказать, кусочек!.. А сынишки все-таки хочется; знаете, собственный сынишка — вещь! А дочка выйдет замуж, и фамилию даже переменит!.. Сынишка — дело десятое, я бы умел сделать его человеком; я бы умел воспитать его...

— Лихой был бы кавалерист! Правда, Тарас Иваныч?

— Это еще бог знает... Оно, конечно, приятно видеть

своего наследника в благородной одежде, как бы сказать... я бы его не пустил по этой дороге.

— Что вы?

— Право, так; я бы из него сделал ученого; а ученый — он себе и смирный, и говорит потихоньку, да все идет своей дорогой, и оклады хорошие получает, и рассказывает все занимательное, сразу, может статься, его и не очень полюбят, а после привяжутся... право, привяжутся... Не дает мне бог сына, а умел бы я воспитать его...

Наконец, дал бог сына Тарасу Ивановичу.

Двое суток спокойно прожил в этом мире сын Тараса Ивановича, а на третьи началось воспитание. Тарас Иванович окатил новорожденного холодною водой — ребенок запищал, захлебнулся и умолк. Вся родня кинулась к нему: терли его фланелью, отогревали, дергали, теребили и кое-как привели в чувство. Думали, что умер он, а вышло напротив: ребенок остался жив, хотя с неделю уездный доктор отчаивался в его жизни и каждый день говорил Тарасу Ивановичу:

— Я знаю, вы человек не романический, лучше приготовьтесь к удару, скрепите родительское сердце.

— Ах, почтеннейший,— отвечал Тарас Иванович,— видит бог, как болит оно!..

— Это и худо; в истории много есть прекрасных примеров; недалеко сказать, вот в Риме Брут сам казнил своего сына...

— Что же из этого?..

— То, Тарас Иваныч, что вы должны великодушно перенести потерю: ваш сын... как бы вам сказать поделикатнее... не выскочит, то есть не увернется от смерти.

— Полно, правда ли, почтеннейший?

— Извините, Тарас Иваныч,— отвечал доктор голосом обиженного,—я учился, я имею дипломы, во мне и профессор никогда не сомневался. К чему же нам наука? Я недаром в двадцать лет получил лысину, и в доказательство я вам теперь без обиняков объявляю, что ваш младенец через четверть часа умрет — вот вам моя рука, что умрет.

Прошла четверть часа, за ней еще не одна четверть, а маленький Севрюгин не умирал; прошла неделя, другая, и он совершенно выздоровел, только на всю жизнь у него осталось в глазах какое-то странное выражение испуга.

II

Этот плутишка, этот разбойник весь в меня!

Родительские нежности.

Тарас Иванович любил сына, как самого себя: в нем он видел продолжение своего имени, своих качеств, своего ума, и часто говаривал: «Сынишка мой — весь я. Не учили меня уму-разуму, а я не то был бы, что теперь!.. Хорошо, хоть мой опыт будет ему наукой!»

Севрюгин был очень добр со всеми, но с сыном обходился чрезвычайно строго; этим, по его мнению, выражалась любовь. Я люблю сына и не щажу на нем лозы, думал он, наказывая сына, и заглушал в душе жалость к ребенку.

— Ах, боже мой, Тарас Иваныч! Не грех ли тебе так мучить ребенка? Ты его ненавидишь! Скажи мне, за что ты ненавидишь его? — говорила жена.

— Полно, матушка! — отвечал муж,— вы, женщины, всегда готовы плакать из-за пустяков. Я люблю его больше себя, да нельзя же его пустить самовольничать; не сделать же из него какого-нибудь шалыгана! Надобно, чтоб помнил мальчик науку. На, посмотри, что написано: *Хотя корень учения горек, но плоды его сладки суть*. Понимаешь? Ведь это напечатано: это не мы с тобой выдумали; это вот, посмотри, напечатано Василием Логиновым в Москве, в столице. Понимаешь? Мы с тобой не Логиновы! Недаром говорит пословица: деревенский ребенок, что городской теленок. А Москва еще столичный город! Нет, ты уж оставь меня действовать, как я сам знаю: будет у нас не сын — золото, чистое золото, аравийское золото, как говорится.

— Ты умнее меня; но зачем же так жестоко наказывать Ваню? (Сына назвали Иваном в честь дедушки).— Можно как-нибудь иначе.

— Эх, матушка! Знала бы ты свое соленье да варенье. Я не мешаюсь, как вы там с Лизой вышиваете голубков да составляете шипучку; а ты ко мне не мешайся. «За битого двух небитых дают, да и тут не берут»,— говаривали наши деды.— Нет, жена, строгость — мера спасительная: я это на себе испытал. Когда мне было лет семь-восемь, я страшно любил пошалить. Вот, как теперь помню, в во-

скресенье матушка надела на меня чистое белье и отпустила погулять по саду. Я заманил в сад козла, сел на него верхом и ну кататься; козел не взлюбил этого, стал на дыбы и сбросил меня в грязь. Дело, кажется, простое, а как наказала меня покойница,— царство ей небесное!.. У!.. Даже до сих пор не могу смотреть на козла без отвращения; и очень благодарен. Обходись со мной так почаще, я бы не то был, что теперь. Ты ведь знаешь иезуитов?

— Какое мне до них дело?

— Нет, матушка, это народ умный, дьявольски умный; и совет дать — дадут, и полечить — полечат, и на иностранных языках вот так и режут, как мы с тобой по-русски. Я присмотрелся на них, как стоял с полком в Польше. Чужих детей, а как воспитывают! Раз я был у отца Гонория: нужно было кое-какие рецептики взять; он мне дал рецептики да и говорит: — Теперь вам нельзя пить ни водки, ни вина, ни даже пива.

— Что же я стану пить? — спросил я.

— Можно,— говорит,— пить всякое молоко. Я,— говорит,— и сам вот с месяц нездоров и все пью молоко. Хотите, разопьем вместе кувшинчик?

— Пожалуй,— сказал я.

Он позвал небольшого мальчишку, своего ученика, высек его, дал гривну меди и приказал сбегать на рынок купить кувшин молока. «Я,— говорит,— высек тебя, друг мой, для того, чтоб ты не шалил дорогой, и не разбил кувшина; а если разобьешь, то еще высеку».

И надобно было посмотреть, как этот мальчишка скоро воротился и как бережно принес молоко: ни капли не пролил!

— Вот,— сказал мне отец Гонорий,— как должно обращаться с юношеством. Будут у вас детки, так обходитесь с ними — не нарадуетесь под старость.

Жена Тараса Ивановича после такого разговора обыкновенно уходила в спальню, обнимала сына, горячо целовала его и потихоньку плакала.

Впрочем, не думайте, чтоб Тарас Иванович был зверь; напротив, он был добрый человек, даже был способен, как мы выше видели, убегать в кабинет и писать шарады; но он имел свое убеждение, которому слепо следовал, как правоверный алкорану; российские прописи, иезуиты развили, укрепили это убеждение, а обсуждать его он и не

смел, и не мог, и не хотел. Бывают обстоятельства, при которых человеку очень тяжело рассуждать.

Надобно было видеть, с какою любовью смотрел Тарас Иванович на своего сына: как просветлялось лицо его, глядя на умное, хотя робкое и слабое лицо Вани; но чуть Ваня встречался глазами с отцом, тотчас последний принимал строгое выражение и начинал журить его. Ребенок робко опускал ресницы, на них дрожали слезы.

— Что капризишься,— говорил отец,— о чем хнычешь? Посмотри на других детей: все какие веселенькие, резвые, а ты волком глядишь на отца. Экая дрянь!

Иногда Тарас Иванович тихонько подходил к постели своего сына и долго смотрел на беззаботный сон ребенка, как вольно раскинулись его нежные ручонки; светлые кудри небрежно разметались на подушке; молодая кровь играла на щеках; уста улыбались.

— Посмотри, жена,— шопотом говорил Тарас Иванович,— какой красавчик наш Ваня; ведь это наш собственный сынишка, а?

И, тихо наклонясь, он целовал сына; но беда, если мальчик в это время открывал глаза; верный своему направлению, Тарас Иванович грубо говорил: — Что ты так рано улегся? Не мог бы чем-нибудь позаняться?

Мальчик, вздрогнув, подымался с постели.

— Ну, спи, коли улегся,— продолжал отец, уходя из комнаты,— да вперед, чтоб этого не было.

И мальчик снова засыпал, свернувшись клубком, как постельная собачка, и не раз в ночь вздрагивал и плотнее кутался в одеяло, будто спасаясь от какого-то кошмара.

Иногда, бывало, природная резвость мальчика возьмет верх над робостью: он разыграется, рассмеется, побежит по лугу за красивою бабочкой.

— Это что? — вдруг загремит голос родителя.— Чему так обрадовался? Рад, что глуп? Бегаешь, как мужицкий мальчишка, гоняешься чорт знает за чем, как борзая собака! Вот я тебя! Не занялся бы чтением, а?

Чтение была одна пристань, куда мог укрыться молодой Севрюгин от семейных бурь и вечного ворчанья своего отца. Книга, какая бы ни была, защищала Ваню, как добрый бастион, от родительских выстрелов, и Ваня полюбил своих благодетелей-защитников, полюбил книги; из них он составил для себя особенный мир; к ним он удалялся из семейного круга, где встречал беспрестанные выговоры,

словно в кружок веселых, невзыскательных товарищей, мечтал над ними, плакал, а иногда и смеялся.

Ваня прочитал и почти выучил все книги, какие были в старинной домашней библиотеке, хотя библиотека была довольно пестра и обширна: здесь были и газеты семисотых годов в синем переплете, был «Мальчик у ручья», «Видения в пиренейском замке», «Мещанин во дворянстве» — комедия с балетом господина Мольера, «Жизнь Олаудаха Экиано», им самим писанная, «Сеятель благочестия к пользе живота», «Безрассудные обеты» госпожи Жанлис, «Золотое сочинение Самуила, раввина иудейского», «Тамара и Селим», трагедия Ломоносова, «История Роленя», переведенная через Василия Тредьяковского, «Знатная корсиканка», переведенная титулярным советником Навроцким; даже были стихи в богатом сафьяновом переплете, напечатанные in folio *, в следующем роде:

Греми везде, российска слава,
И вознесись превыше звезд,
Туды, где божия держава
Пространностью владеет мест; и проч.

Все это читал Ваня; многого не понимал, многое понимал темно, другое превратно, о многом догадывался, но все читал, читал прилежно, а Ване было только восемь лет. Отцу было вовсе не любопытно, что читал его сын; он был рад, что Ваня не бегает, как мужик, по саду, по полям и не играет в неблагородные игры. Так шло образцовое воспитание сына Тараса Ивановича. Ребенок был слаб, задумчив, робок и мечтателен; кроме русской грамоты и прочитанных былей и небылиц, он ни о чем не имел понятия. В это время случилось в его жизни маленькое изменение.

III

Кто долго жил в глуши печальной,
Друзья, тот верно знает сам,
Как сильно колокольчик дальной
Порой волнует сердце нам.

А. Пушкин.

В одно прекрасное утро Тарас Иванович пришел к жене своей, держа в руках распечатанное письмо, поцеловал жену и потрепал ее письмом по носу.

---

* Формат книги: лист, сложенный пополам.

— Это что? — спросила жена.
— Новости, душенька, приятные новости.
— Садись-ка да пей чай.
— Сяду и буду пить чай: а все-таки ты не узнаешь новости. А хочется узнать?
— Какие там у тебя могут быть новости? — говорила супруга Тараса Ивановича с притворным равнодушием, вытирая ушко большой фарфоровой чашки.— Так просто, пустяки.
— Положим, пустяки... Сегодня чай очень ароматный; должно быть, ты прибавила что-нибудь в чайник.
— Мне-то знать, если и прибавила; это моя тайна.
— Скажи же мне, душоночек... право, штука хорошая.
— У вас есть свои тайны, у меня свои.
— О-го! Вот она куда глядит! И без тебя знаю: здесь или розовый пупочек, или листочек лимонный — не правда ли?
— Неправда!
— Нет, правда.
— Нет, неправда. Коли на то пошло, так будет тебе стыдно. Я положила, для пробы, веточку розмарина! Вот видишь? А письмо от кого?
— Видишь, я наполовину отгадал: если не роза, так розмарин. А письмо от моей любовницы — да!
— Вечно глупости! — сказала супруга Тараса Ивановича, презрительно отдувая нижнюю губу.
— Нет, правда. Эта любовница ходит в сапогах, в серых — да; я думаю в серых: теперь лето, в серых брюках и, пожалуй, в сюртуке или во фраке, как придется.
— А! знаю: секретарь Лепетаенков.
— Нет.
— Ну, так Гулякин.
— Станет он ходить во фраке! Отставной майор, с мундиром!
— Так кто же?
— А вот кто: приехал из Москвы наш сосед, мой старинный приятель, Евграф Петрович Волдырев, с деточками; и сегодня пишет: «Приеду к тебе обедать, коли дома будешь». На, читай. Вот что называется по-приятельски.
— Евграф Петрович! Покажи сюда! Да, он. Скажи, пожалуй, приехали! А целые три года прожил в Москве! Вот-то, я думаю, понавез всего столичного. А у жены-то, я думаю, мод, скроек, выкроек, узоров!.. Ах, как я рада!

— Вот вечно вы, женщины, хоть дом гори, покажи вам только с чего-нибудь выкройку — побежите за ней, все забудете. Ты постарайся хорошенько распорядиться, чтоб принять московского гостя. Я ведь сказал форейтору: «Кланяйся барину, благодари за честь и скажи, что ждет, мол, к обеду с фамилией, а обедает, дескать, по-деревенскому, в первом часу». Так ты подумай об обеде, это — твое дело.

— Ах, боже мой! Теперь уж восемь часов; что если повар пьян? Вчера он справлял крестины. Душа моя чует, что пьян.

— Ничего, я сейчас прикажу окатить его раза три холодной водой — освежится и справится. Да, кстати, я, душка, велю подать жирного каплуна под лимонным соком. В столицах это редкость: там, говорят, и люди и птицы все такие поджарые, сухопарые, а жирны только собаки да лошади...

— Ах, маменька! — кричал Ваня, вбежав в комнату и бросаясь на шею матери.— Как это весело! там, в Индии, есть пчелиный царь; куда он идет — и пчелы за ним летят.

— Тебе снилось, душенька.

— Нет, я сейчас читал в «Путешественнике всемирном», там еще пушка...

— Тьфу! Глупый мальчишка! — закричал Тарас Иванович.— Чему радуешься? Наказал меня бог этим дураком! Никакого приличия не знает: бежит, сломя голову; никакой солидности нет!

Только при этих грозных словах заметил Ваня своего отца, покраснел, задрожал и стал молча, опустя руки.

— Ну, что стоишь, не можешь подойти к отцу, пожелать ему доброго дня, а? Вот так. О какой пушке говорил ты?

— О пушке...— робко говорил ребенок, глотая слезы, — в которую запрягали много... слонов... и... клали... много по... роху...

— Глупость, братец! А вот, ты смотри, веди себя хорошенько: сегодня будут гости, двое московских детей, один постарше тебя, а другой тебе ровесник; дети эдукованные не по-нашему, с ними как можно вежливей — слышишь? да не врать чепухи, лучше смолчать, коли что не по тебе, да и не играть в молчанку — слышишь?

— Слушаю-с.

— А ты, жена, смотри, Лизу-то нашу принаряди и приумой, и разукрась ее, чем знаешь, и локончиками, и кисейкой, и перстеньками, и духами, и помадкой; ведь она у меня не бесприданница, барышня в полном смысле: и бела, и румяна, и с состоянием; а соседи люди богатые: знаешь, чего доброго, мы же ведь шутя помолвили ее со старшим сыночком Евграфа Петровича, с Федькой; он теперь должен быть молодец. Не ударим лицом в грязь, что ваши московские!

Евграф Петрович жил верстах в десяти от деревни Тараса Ивановича Севрюгина и был с ним очень дружен. Они переженились почти в одно время, и когда у Евграфа Петровича родился первый сын, а у Тараса Ивановича дочь, то они, в шутку, от нечего делать, сосватали своих детей, и очень утешались, когда малютки, едва начиная лепетать, уже называли друг друга женихом и невестой.

— А, Тарас Иваныч! — посмотри-ка, как мой пострел подкачивается к твоей дочке,— говаривал Евграф Петрович.

— А моя-то сударыня как важничает,— замечал Тарас Иванович,— вся в покойницу жену.

— Важничать-то важничает, да все-таки посматривает на парня.

— Еще бы! Такова у них, сосед, натура!

— Слушай, Федька, поди сюда, стань перед барышней... Что ж ты упираешься? Ведь Лизавета Тарасовна твоя невеста... Ну, вот так. Пой за мной:

Пожалуйте, сударыня,
Сядьте со мной рядом;
Пожалуйте, сударыня,
Удостойте взглядом...

— Пой за мной, Лиза,— говорил Тарас Иванович и начинал:

Прочь, прочь, отойди,
Какой неспокойный!
Прочь, прочь, отойди,
Любви недостойный!.

— Э-ге! Да ты, сосед, этак рассоришь наших цыплят,— замечал Евграф Петрович.

— Ничего, шутка шуткой, а дело делом. Ну, поцелуйтесь, постреленки, так, покрепче! Браво!..

Так потешались добрые люди своими детками.

Года три назад уехал Евграф Петрович в подмосковную деревню, которую он получил в наследство; из деревни завернул в Москву. Москва ему понравилась; он выписал туда по первозимке жену и обоих сыновей, старшего, Федора, меньшого, Леонтия, да еще повара, да еще кого-то, да целый обоз дворни и зажили припеваючи. К жене Евграфа Петровича ездили модистки, и сама она ездила на все гулянья и на Кузнецкий мост. К его сыновьям ходили по часам разные учителя, и сами сыновья, переименованные гувернером в Теодора и Леонарда, ходили гулять по бульварам. К Евграфу Петровичу ездила куча приятелей, а Евграф Петрович рыскал всюду с утра до ночи. Поживши два года в Москве, Евграф Петрович заложил свои подмосковные триста душ, через год увидел, что, живя в Москве, проценты плохо выплачивать, и уехал, для поправления обстоятельств, в свою далекую деревню; а возвратясь на родину, тотчас вспомнил старого приятеля Тараса, о котором почти было забыл в столичном шуме.

IV

Неописанная приятность увидеть
друга после долгого отсутствия!..

Замечание одного философа.

Ударил час в столовой на старинных часах Тараса Ивановича.

— Уж эти мне столичные! — начал было Тарас Иванович, но стук экипажа прервал его фразу.

У крыльца остановилась щегольская карета лимонного цвета, запряженная шестеркой вороных лошадей; с запяток соскочили два лакея в цветных ливреях, обвешанных до безобразия снурками, кистями и аксельбантами, и начали выгружать карету: прежде всего явился сам Евграф Петрович, во фраке темновишневого цвета с бронзовыми пуговицами и в серой шляпе; за ним его супруга, толстая барыня, в лентах, в перьях, в цветах; за ней старший сын, Теодор, мальчик лет тринадцати, в щегольской курточке с воротниками á l'enfant *, в фуражке с золотой кисточкой, тощий, высокий не по летам и старообразный лицом, с надменной физиономией, со вздернутым носом, с улыб-

* Как у ребенка.

кой презрения ко всему окружавшему; наконец меньшой, Леонард, здоровый, краснощекий мальчишка, лет десяти; в кучерском голубом кафтане и в кучерской шляпе.

Тарас Иванович немножко смешался, как посравнил свой старый мундирный сюртук с нарядами своих гостей, но вскоре оправился, перецеловал приехавших и ввел их в гостиную, где ожидали его жена и дочь Лиза, вся обвешанная жемчугом и дорогими каменьями покойницы-матушки. Ваня стоял в углу, в скромном нанковом платье, и боялся приблизиться к маленьким гостям. У них были такие нарядные платья, а у него простое, серенькое; у них вились до плеч мягкие, шелковистые кудри — он был выстрижен вплотную, по-солдатски; они были развязны — он робок; они были в гостях как дома — он дома словно в гостях.

— Ну, слава богу! Слава богу! — говорил Тарас Иванович, усаживая гостей.— Наконец-таки вы приехали. Мы с женой, бывало, ума не приложим: куда, дескать, запропастился Евграф Петрович? да таки со всей фамилией! Дочка растет, говорю, жениха увез...

— Признаться, и мы таки скучали по вас; а мой Теодор просто стосковался... Да как Лизавета Тарасовна выросла, как похорошела! Узнаете ли вы меня, сударыня? Вот, я вам привез жениха. Теодор, обними свою невесту!

Лиза покраснела; Федор Евграфович без церемонии поцеловал ее.

— А это твой Ваничка? — продолжал Евграф Петрович.

— Да. Растет, не знаю, на печаль или на радость...

— Э, полно! Верно на радость. Подойди ко мне, Ваничка, познакомимся. Вот я тебе привез товарища. Ты знаешь Леонарда, помнишь его?

— Знаю,— отвечал ободренный мальчик, — он очень зол и питается мясом.

— Кто тебе сказал это?

— Я знаю, я читал; он очень похож на кошку.

— Что ты врешь глупости? — закричал на сына Тарас Иванович.— Молчать! Извините его, он врет такие глупости!

— Это видно,— с ужимкой отвечала жена Евграфа Петровича.

Две слезы покатились по щекам Вани; он убежал из комнаты и через несколько минут возвратился, неся в ру-

ках книгу, первую часть «Естественной истории» Рейнольского, и, показывая пальцем на картинку, сказал сквозь слезы Евграфу Петровичу: «Вот, посмотрите, вот, посмотрите! Вот леопард: он очень похож на кошку, а вы мне не верили».

Евграф Петрович захохотал, и все захохотали.

— Ты не понял меня, Ваничка,— говорил Евграф Петрович, едва отдыхая от смеха,— я говорил о сыне моем, Леонардушке.

— А он разве не Левушка?

— И Левушка, все равно!..

— Извини его, Евграф Петрович,— сказал Тарас Иванович,— он такой у меня дурак.

— Нет, ничего; а видно книги читает — это хорошо; сюда прибавить светское обращение — и выйдет очень хорошо!.. Вот мои, если их раскусить хорошенько, так просто изумление!

После обеда мужчины ушли в кабинет курить и разговаривать нараспашку, т. е., без сюртуков; дамы уселись в гостиной и, заедая вареньем, сообщали одна другой разные истории, которых нам ни выдумать, ни вообразить; а дети ушли в сад; там Теодор, по праву жениха, совершенно завладел Лизой, прогнал брата и Ваню прочь, говоря, что они дети и должны знать себя, и, взяв под руку Лизу, удалился в густую аллею, где сообщал ей, какой фрак ему сошьют через год, какие у него скоро будут лошади, сколько у него будет душ, когда умрет папенька, и как ему будет весело, когда он будет жить вместе с Лизой, и Лиза отвечала:

— Ах, как будет весело! А скоро это?..

За чаем речь зашла о Москве, о балах, о гуляньях, о гостином дворе, о рысаках, об ученых, о ресторациях и пансионах. Евграф Петрович обо всем говорил обстоятельно; но более всего поразил сердце Тараса Ивановича, радеющее о воспитании сына, рассказами о блестящих экзаменах в пансионах, где только что не хватают звезд с неба перед почтеннейшей публикой.

— Ну-ка, сосед, а попробуй моего сынишку, пощупай его, этак, со всех сторон,— ты ведь там навострился.

Евграф Петрович как ни отговаривался, но должен был уступить просьбам Севрюгина и спросил Ваничку:

— Ну, а скажите нам, что есть глагол?

Ваничка молчал.

— Не знает, каналья! Ка́к вы, глагол, что ли, говорили? — сказал Тарас Иванович.

— Отчего же нет? Верно знает, да робеет немного. Ведь вы знаете?

— Знаю,— тихо отвечал Ваня.

— Так скажите.

— Глагол времен — металла звон,
Твой страшный глас меня смущает...—

начал робко говорить Ваня. Тарас Иванович за каждым слогом с улыбкой одобрительно покачивал головой.

— Нет, кажется, не то,— сказал Евграф Петрович.— Что есть глагол, Теодор?

— Глагол есть часть речи...— резко отвечал Теодор, самодовольно улыбаясь.

— Точно так. Я вам скажу, Теодор — голова!

— Ну, спроси-ка еще из другой какой науки.

— Хорошо. А разрешите мне вот ту задачу: летело стадо гусей...

— Это по вашей части,— заметил Тарас Иванович, мигая на жену.

— Да. Летело стадо гусей,— продолжал Евграф Петрович,— и повстречался им один гусь, и говорит: «Здравствуйте, сто гусей!», а они ему: «Нет, врешь, нас не сто гусей, а если б нас еще столько, да полстолько, да четверть столько, да ты один, тогда бы нас было сто гусей». Вот, видите; сколько их летело?

Ваня стоял решительно уничтоженный этой мудрой задачей, взятой целиком из «арифметики» штык-юнкера Войцеховского. Сам Тарас Иванович не знал, как понимать эту загадку: проявлением ли глубокой мудрости, или московской шуткой своего соседа, и нерешительно посматривал то на соседа, то на сына. Между тем, Евграф Петрович с торжеством заметил общее смущение и небрежно спросил:

— Теодор, а сколько ты думаешь, было гусей?

— Тридцать шесть,— торжественно отвечал Теодор.

— Неужели? — спросил Тарас Иванович.

— Да так; уж это верно; мой Теодор не соврет.

— А подайте сюда счеты!

Принесли счеты; несколько минут Тарас Иванович стучал косточками, приговаривая: «полстолько, то есть, шестнадцать... нет, восьмнадцать, да четверть, то есть, девять»

и т. д.; наконец бросил счеты и закричал: «Тьфу, ты пропасть! Ведь так, право так. Господи, подумаешь, как умудряется народ, этакой можно сказать ребенок, а нашего брата, старика, научит всячине!.. Благословил вас бог сынком!».

— У меня и Леонард не ударит лицом в грязь. Ну-ка, Леонард, расскажи-ка нам про муравья.

Леонард проговорил скороговоркою известную басню:

Попрыгунья стрекоза
Лето целое пропела...

— Хорошо, хорошо,— говорил Евграф Петрович, повторяя последние стихи:

Ты все пела — это дело,
Ну, теперь же попляши!

— Где ж тут нравоучение, а?

Леонард молчал.

— Помнишь,— продолжал отец,— вот тебе толковал учитель-немец, Гибмир, что это значит?

— А, да,— отвечал Леонард,— это значит, что если кто проводит время в праздности, так мы не должны ему помогать, когда он будет в нужде...

— Да, да, хорошо.

— А ведь, именно так,— сказал Тарас Иванович изумленным голосом,— мне и в голову это не пришло:

Ты все пела — это дело,
Так пляши же теперь!..

Ха-ха-ха! То есть, не угодно ли поголодать теперь, то есть, вот вам дверь, милостивый государь, коли сами не умели ничего собрать себе. У нас, дескать, есть, да для себя. Вперед было думать!.. Как говорится: есть квас, да не для вас!.. Истинное нравоучение! Как это умные люди из всего извлекут пользу: кажется, пустые стишонки, а раскуси их — смысл есть!

— Да,— заметил Евграф Петрович,— теперь все так: научают с приятностью.

Разговор в этом вкусе продолжался довольно долго, пока не подали кареты. Соседи раскланялись, расцеловались и уехали. Прощаясь, Евграф Петрович потрепал по щеке Ваню и сказал ему: «Ты сердишься на меня за ма-

ленькое испытание? Не сердись; в большом свете это необходимо. Тарас Иванович, я тебе советую по-приятельски не щадить денег, достать учителя для сына; он мальчик со способностями. Я сразу вижу — поверь мне!»

V

Дети: Ах, папенька! гости! гости!..
Отец: Федька! кого там нелегкая несет? Да подай мне новый сюртук.

Из семейного разговора.

По моему мнению, как бы ни были приятны гости — я говорю, собственно, о так называемых *гостях* — как бы ни рад был им хозяин, но, по отъезде их, он все-таки чувствует какое-то удовольствие. Замечайте — и вы убедитесь в этом. Или человек по натуре своей, показываясь перед гостей, надевает маску, которая бывает иногда довольно тяжела, и по отъезде гостей похож на актера, вышедшего после трудной роли за кулисы вздохнуть свободно; или физические силы, ослабевая от беспрестанной сторожи, на которой находится человек, хотящий быть любезным хозяином, рады отдохнуть — та ли, другая ли причина, во всяком случае хозяин рад отъезду гостей. Не забывайте, что я говорю только, собственно, о *гостях*.

Верно, вам случалось бывать в гостях по случаю именин, крестин и т. п.; о свадьбах и толковать нечего — в обществе средней руки, где был приглашен, так, для почета, какой-нибудь дальний родственник или благодетель, генерал или статский советник, и вы верно заметили, как это важное лицо, откушав чашку чая, спешит убраться домой, будто боясь, что слишком долго находилось в атмосфере гораздо ниже своего достоинства, и как хозяин, выпроводив гостя с низкими поклонами и благодарностями за дверь, возвращался, радостно улыбаясь, и говорил обществу: «Ну, господа! Уехали, слава богу! Теперь можем повеселиться». И все общество, само не зная отчего, вздыхало свободнее и на слова и улыбку хозяина отвечало приятной улыбкой. Не от того ли это, что оно сбрасывало маску, выражавшую глубочайшее почтение и таковую же преданность? Общество веселилось, пело, играло в карты, плясало, любезничало, дурачилось и разошлось далеко за полночь, думая, что донельзя веселит радушного хозяи-

на, а он, смею вас уверить, с досадой говорил жене, выпроводив последнего гостя: «Насилу разошлись! Просто меня из сил выбили».

— Да,— отвечала, зевая, жена,— давно спать пора; у меня так глаза и слипаются, а они все сидят!

— Теперь отдохнем на свободе,— говорил весело муж, входя с женою в спальню.

И супруги вдруг, бог знает отчего, стали веселы. Тут, изволите видеть, они еще сняли одну маску — маску милых, обязательных хозяев.

Если вы наблюдали подобное свойство человеческого рода, то нимало не удивитесь и не осудите Тараса Ивановича, узнав, что он весело вошел по отъезде гостей в гостиную и почти торжественно сказал: «Ну, жена, отдежурили! А хороший человек Евграф Петрович!.. Как меня давит этот галстук!»

— Да,— отвечала жена, снимая с головы цветочную наколку,— я совсем замучилась...

Здесь позвольте сделать еще маленькое отступление.

У меня был знакомый дом, очень странный; в доме жила хозяйка-вдова, Федосья Федоровна — олицетворенная филантропия, добрейшая душа, по мнению всего околодка; у Федосьи Федоровны были четыре дочери-невесты. Во всем этом ничего нет странного; а вот что было для меня предметом удивления и всегдашнею загадкой: вся дворня Федосьи Федоровны встречала меня с какой-то особенной душевной радостью, так что это меня часто озадачивало. Я не деловой человек, нужный всем и каждому; не богач, бросающий деньги на все четыре стороны; не жених, не представляю штук, не... ну, не друг Федосьи Федоровны — словом, человек не веселый, а, между тем, вся коллекция в доме Федосьи Федоровны заспанных Ванек, Фомок, Петрушек и т. д. встречала меня с пренизкими поклонами; все эти лица ухмылялись и осклаблялись на меня от истинной, непритворной радости. А иногда, если я не бывал в доме недели две-три, как-нибудь лакей, перегибаясь передо мной, говорил: «Что вас, сударь, так давно не видать? Барыня изволила скучать по вас». Непонятно!.. И все эти Петрушки и Фомки очень грустно провожали меня, когда я уезжал домой, лениво подавали шинель и медленно, с какой-то печалью на лице, отворяли мне двери. Еще непонятнее!.. Не правда ли, что в доме Федосьи Федоровны это была большая странность? Мы

привыкли вообще встречать в передней при входе недовольные ливрейные лица и радостные физиономии при выходе, что и понятно: всякий гость прибавляет хлопот для слуг. Но здесь было наоборот.

Я передал свое замечание об этой странности двум-трем приятелям, тоже посещавшим дом Федосьи Федоровны; они отвечали, что и их точно так же встречают и провожают слуги в этом доме. Мы начали доискиваться причины и — кто бы подумал? — узнали, что Федосья Федоровна при гостях тише воды, ниже травы, но без гостей — бич своих домашних; что, будучи одна, она, как дух-разрушитель, путешествует из комнаты в комнату, придирается за всякие пустяки к своим слугам и служанкам, ругается с ними, не дает им покоя и даже — извините за выражение — бьет их собственными руками; но при первом звонке все утихает: хозяйка небрежно садится на мягкий диван, морщины гнева сбегают с лица ее, руки вооружаются какою-нибудь красивой книжечкой; голос ее делается мягким, приятным, и она очень нежно говорит: «Подай мне, милый, стакан воды с сахаром», говорит тому самому Петрушке, на которого за четверть часа прежде расточала весь запас своей злобы, ругательств и проч. Эта комедия игралась, пока гость был в доме; но чуть он выходил за порог, прежняя трагедия воскресала со всеми неприятными подробностями.

Почти на таком положении, как дворня Федосьи Федоровны, существовал в родительском доме сын Тараса Ивановича, и весьма понятно, отчего бедный Ваня жался в уголок гостиной, боясь выйти и остерегаясь быть незамеченным, отчего он робко посматривал на отца, снимавшего галстук, и при первом слове готов был сознаться, что он, т. е. Ваня, виноват, хоть и не чувствовал за собой никакой вины.

— А, ты здесь еще! — закричал Тарас Иванович, глядя на своего сына,— что дрожишь, как заяц?

— Да оставь его! — сказала жена Тараса Ивановича.

— Как оставь, матушка! Ради бога не мешайся! Хочешь вскормить болвана, как покойница Окуневская... Поди сюда, Лиза, Лизок! Покушай: вот осталось варенье; вот так, душа моя, на здоровье! А что, понравился тебе жених, а?

— Понравился, папа́; только...

— Что только?

— Только у него усов нет.

— Ничего, вырастут. А тебе, небойсь, хотелось бы, чтоб у него были усы, как у меня?

— Нет, папа́, как у того офицера, что ездил к нам зимою.

— Эге-ге! Да ты, Лизок, уж и приволакиваешься за офицерами! Слышь, жена? Усики-то и заметила у Фофонтонова! Экое женское отродье! Чуть из колыбели — уж и замечает и то, и другое, и третье... Да, Лизок, будут у твоего жениха такие же усы, как у хорошенького офицерика.

— Как я рада! Так скоро мы женимся, папа́?

— Погоди, друг мой.

— Как это скучно!

— Для чего же тебе торопиться? И ты подрастешь, и у него усы вырастут...

— Мне бы хотелось скорее; *он* мне обещал много-много нарядов...

— Вся в покойницу!.. А ты, Ванька, что там стоишь, словно чужой? Что не ешь варенья?

— Не хочу.

— Врет ведь, бестия! Знаю, что хочет, а так, капризничает, ломается, скверное зелье!

— Право, не хочу,— продолжал сквозь слезы ребенок,— пускай она кушает.

— Кто *она?* О ком ты говоришь?

— О сестрице.

— Ах, ты, мерзкий оборванец! Не мог бы сказать повежливее: *они*. Да знаешь ли ты, что ты ее подметки не стоишь? Она и умна, и хороша, и богата — понимаешь ли: *богата!* А ты нищий — слышь? просто нищий, да еще глуп, да еще и грубиян. Ты мне наказание, ты мне позор! Я ведь не забыл, как ты вздумал сегодня называть благородных детей кошками или тиграми, или чорт тебя знает какими зверями... Над другими насмехаешься, а сам что знаешь? ровно ничего! Стыд, срам было мне сегодня; чужие дети, что ни спросишь — так трарарара... и отрежут, а ты все глазами хлопаешь да молчишь. Нет, я тебе укорочу поводья! Завтра же посылаю за учителем, да выберу... сам знаю какого: ражего, в сажень ростом, черного как смоль, вот с такими глазами — ты у него не пикнешь!

VI

Перст указательный, все признаки ученья,
Как наши робкие тревожили умы!..

Грибоедов.

С этого дня Тарас Иванович начал пугать своего сына учителем, а сам написал в губернский город к знакомому чиновнику, служившему в каком-то комитете, кажется, шелководства, преумилительное письмо, с просьбой выслать надежного учителя, который был бы очень умен, не любил засматриваться на прекрасный пол и зеленó вино, за что обещал на свадьбе шелкового чиновника протанцевать казачка.

Хотя означенному чиновнику было под шестьдесят лет, хотя он не располагал жениться и твердо был уверен, что Тарас Иванович казачка танцевать не станет, и что это с его стороны была только приятная шутка, любезность, однако позаботился о высылке воспитателя, тем более, что это не представляло больших затруднений: в губернской семинарии только что кончились экзамены; семинаристы разъезжались на каникулы по первое сентября и многие из них, дети бедных родителей, считали за особенное счастье заняться лето уроками и что-нибудь приобресть.

Верно, кто-нибудь из вас встретил летом 18... года по ...ской дороге едущую повозку: в корню пегий конь, на пристяжке серенькая кобылка-двулеток; на козлах человек в тиковом балахоне; из-под шляпы торчит и кивает небольшая коса, в руках длинный прут; повозка нагружена сундучками и мешочками; между ними торчит перепелиная сетка с дроздом. На этом холме, непостижимо как, умостились четыре мальчика в картузах; верно, вы заметили идущего рядом с повозкой человека в желтых нанковых штанах и пестром жилете; козырек зеленого картуза, пара черных густых бакенбард и большая, оплетенная проволокой трубка с крышкой решительно скрывали лицо его; он шел, закинув на спину руки, и дымил, как паровая винокурня. Это был учитель, путешествовавший в дом Тараса Ивановича.

В один прекрасный вечер Тарас Иванович сидел с женой в комнате, курил трубку и разговаривал или, лучше сказать, ругал губернского чиновника шелководства.

— Да ты слишком строг к Евтихию Евпсихиевичу: он занят, у него много дела,— говорила жена.

— Э, матушка! Он только кричит о своих трудах и ничего не делает, а дураки — не с тобой сравнить — и верят. Ну, посуди сама, какая ему работа? Ни одного червяка не выплодил, а жалованье берет, дармоед, просто дармоед...

— А может быть и...

— Какое может быть! Ведь ни одного дерева нет шелковичного: все, говорят, вымерзает; разве теплицы сделают... да куда им! Вот проезжал советник — не наплачется: все, говорит, черви, все муравьиные яйца побило холодом; соловья нечем кормить,— просто беда; какие же тут будут шелковичные черви? Они, брат, себе на уме; их не проведешь! А Евтихий просто зазнался, думает... Слушай, никак пришел кто-то?

— Кажется.

Точно, слышно было: в прихожей кто-то вытирал об пол сапоги, робко откашливался и потихоньку сморкался.

— Кто там? — спросил Тарас Иванович.

— Кто там? — спросила жена его.

Молчание.

— Да какой там чорт? Ну, пойди сюда! — грозно продолжал Тарас Иванович.

Дверь осторожно начала отворяться, и в комнату показался запыленный сапог, а за ним желтая нога; потом явилась рука без перчатки, держащая запечатанное письмо, вслед за нею — нос, опушенный черными бакенбардами.

— Опять чорт принес просителя! — сказал вполголоса Тарас Иванович жене.— Ну, входи, братец!

При этом слове незнакомец явился весь, как он был: в желтых штанах, в пестрой жилетке, в синем, почти голубом сюртуке; рост незнакомца был невелик, зато бакенбарды очень велики и черны, голова черна; плохо выбритое загорелое лицо тоже не отличалось белизной — словом, явился учитель, которого мы видели в путешествии около повозки, робко стал у двери и, кланяясь, вытянул руку с письмом.

— Из греков, брат, что ли? — спросил Тарас Иванович, опуская руку в карман за кошельком.

Тарас Иванович имел полное право сделать подобный вопрос, потому что его в это время часто тревожили греческие паликары, которые, вышед из Греции во время турецкой войны, несколько лет бродили по нашим южным

губерниям, собирая подаяние, кто на войско, кто на монастыри.

— По-гречески только прошел этимологию и синтаксис и немного занимался переводами,— говорил пришлец, почтительно подавая письмо,— а более...

— Ну, письмо твое читать не стану; бог с ним! Все они на одну масть. Что же более?..

— Более по-латыни, т. е. «Корнелия Непота», например, «Цицерона» de oficiis * и прочее, т. е. извольте потрудиться прочитать: Евтихий Евпсихиевич все подробно изволили описать...

Тут учитель остановился, вздохнул, вынул из кармана синий носовой платок с белыми мушками и отер со лба крупный пот.

— Так вы от почтеннейшего Евпсихиевича! — закричал Тарас Иванович.— Что же вы давно не сказали? Смею спросить, верно имею честь видеть рекомендованного учителя?

(Тарас Иванович в разговоре с учеными людьми любил немного притуманивать свои речи).

— Имея пламенное желание к образованию российского юношества, имею счастье рекомендоваться к вашим услугам...

— Покорнейше благодарю. Позвольте беспокоить: имя, отчество?

— Философ Иван Павлов, сын Звонок-Делигенский.

— Садитесь, сделайте одолжение.

Философ присел на кончик стула и начал сморкаться. Тарас Иванович прочитал письмо и повел с гостем беседу очень разумную о разных нравственных предметах; но как он ни натягивал свои мысли, как ни путал слова, стараясь придать своим речам ученый колорит, философ так и ставил его втупик. Тарас Иванович сам почувствовал, что даже поглупел немного, поговорив полчаса с таким ученым человеком, с жаром схватил его руку, предложил ему остаться хоть на десять лет в доме, образовать Ваню и быть совершенно своим.

— Да, милостивый государь, признаюсь откровенно, мне давно хотелось иметь философа в доме; вы, господа ученые, прямо ходячие шкапы с книгами,— говорил Тарас Иванович,— нужно что — вас за бок и дело в шляпе:

* «Об обязанностях». (Трактат Цицерона).

сейчас и справка. Немцы и французы, признательно сказать, народ хороший, и по хозяйству что-нибудь придумают, и на конюшне присмотрят, да, знаете, нет глубокой учености, и главное, нравственность!.. Беда!.. Вот у нашего соседа немец еще туда и сюда, только и порока, что к ужину никогда не является; так бывает вечером хмелен; а француз — бедовый человек! Где ни увидел женский фартучек, уж он и там, уже ему боярские дети плевое дело, он их и знать не хочет, он уж там и приютился возле фартучка и щебечет, и прыгает словно воробей... Этакой перепел!.. Смотреть на него гадко. Понимаете?

— Дело удобопонятное... и, если хорошенько углубиться, т. е. вникнуть в сущность...

— Да, да, да! Вот эта-то сущность, как вы говорите, и главное, именно так! Я ведь, знаете, человек неученый; понимать понимаю, да по-вашему не умею выразить, а вот сущности-то мне и надобно.

Пока беседа текла таким образом, подали чай, и Тарас Иванович приказал позвать сына, а сын давно уж стоял за дверью, с ужасом и глубоким почтением рассматривая в щелку страшного черного учителя, говорящего непонятным языком. Ваня вошел в комнату в сопровождении своей маменьки и робко остановился.

— Ну, что же ты стоишь? — сказал Тарас Иванович.— Поклонись своему будущему наставнику и благодетелю.

Мальчик отставил левую ногу в сторону, шаркнул к ней правой и поклонился, потом отставил правую, шаркнул левой и опять поклонился. Тарас Иванович при каждом поклоне безмолвно кивал головой и тихо ударял ладонью по своему колену. Видно было, что церемонные поклоны были если не изобретены, то по крайней мере переданы сыну Тарасом Ивановичем.

Тарас Иванович подлил в чай философу немного рому: философ стал развязнее, даже начал смотреть прямо в лицо жене Тараса Ивановича, чего до сих пор сделать никак не решался, и обещал по воскресным дням ловить с Ваней рыбу на удочку, а между прочим, советовал ему учиться латинскому языку.

— На нем, кажется, нигде не говорят? — заметила жена Тараса Ивановича.

— Не говорят теперь невежи, т. е. непросвещенные, а все великие люди говорят и говорили: например, Цицерон

и все говорили. Люди основательно ученые и теперь иначе не говорят; в нем сладость неописанная.

— Ну да,— заметил Тарас Иванович,— я хочу, чтоб Ваня был очень учен; учите его этому языку, не смотрите, если ему не понравится, не поблажайте — за уши да и в угол!.. Еще лучше, если труднее: навек в памяти останется...

— Напротив, это язык самый веселый; например, вот возьмем примером pater, т. е. отец.

— Это значит отец? — спросил Тарас Иванович.

— Да, отец; так и в грамматике написано и в лексиконе Кронеберга.

— Видишь что! А я часто в Польше слышал ксендзов зовут патер да патер, и думал, что это кличка, а это по-нашему, т. е. *батюшка!*

— Справедливо изволили заметить. Вот видите, pater будет просто номинативус сингулярис, а множественное, т. е. плюралис, будет номинативус же patres. Позвольте, теперь calcar *, т. е. шпора, будет плюралис, номинативус же не calcares — нет, а будет calcaria; а, как вы полагаете, отчего?

— Бог вас знает!

— Нет, и я знаю, и Ваня будет знать; это, например, оттого, что calcaria будет среднего рода, т. е. неутрум! Видите, как оно просто, а между тем весело. А скажи кто иначе — и ошибка будет... Удивительное разнообразие!.. против него нет языка, разве русский... и то не русский, а славянский, т. е. словенский.

— Да, уж, батюшка, русский — молодец-язык: спеть ли на нем что — споешь на славу, похвалить ли — в смерть захвалишь, поругать ли — так разругаешь, что самому станет весело, ни по-каковски так не одолжишь. Я с удовольствием заметил, что даже иностранцы часто ругаются по-нашему.

После этого философ, в утеху и назидание своих слушателей, просклонял по третьему склонению Jupiter ** в пример самого великого отклонения от правил и почти совершенного изменения звуков бедного Юпитера в косвенных падежах и проспрягал какой-то отложительный залог глагола; но венцом его красноречия была выходка против

---

* Calcar (лат.) — шпора, поощрение.
** Юпитер.

мельников вообще и мельника Тараса Ивановича в особенности, по случаю какой-то песчинки, попавшей на зуб Тарасу Ивановичу в хлебе. Тарас Иванович, разумеется, ругнул булочницу и весь ее причет; жена заступилась за булочницу и начала обвинять мельника, который худо мелет муку, худо смотрит за камнями, а потому и песок иногда попадает в хлеб. Философ, видя, что его спряжений никто не слушает и что мельник сделался современным вопросом для всего семейства, хватил против виновного громовую речь, даже, в пылу красноречия, встал со стула, начал махать руками и доказывать преступление apriori и aposteriori *, опутывать преступного софизмами и поражать рогатыми силлогизмами. Кажется, он воображал себя в то время Цицероном, а мельника Катилиною.

Не смейтесь, господа! Философ был добрый человек, очень добрый, даже весьма неглупый, но необразованный или, лучше сказать, странно образованный. Вышед из низкого состояния, ставившего его в уровень с крестьянином, а по бедности родителей даже и ниже, он не видал и не мог видеть света, хотя чувствовал, что есть общество выше сельского старосты с причетниками; так он попал в школу, где узнал свет из Цицерона и других латинских писателей; вот почему бедный философ или вдавался в школьные мелочи, дрязги, или заговаривал о муке и пирогах высоко, надуто, напыщенно, словно древнейший вития на форуме, или, изобличая кота в краже жареной курицы, хватал его за уши или хвост, и опутывал тонкими сетями диалектики известных мудрецов, краснобаев доброго старого времени. Видите, не философ виноват, а кто? — бог его знает! Судьба, коли хотите.

VII

Да, таков уж неизъяснимый закон судеб: умный человек или пьяница, или рожу такую строит, что хоть святых выноси.

Н. Гоголь.

— Нет, матушка, шутишь! Этому не бывать, чтоб я выгнал Ивана Павловича, ни за что! — говорил жене Тарас Иванович.— Это человек полезнейший!

---

* Независимо от фактов и на основании их.

— Кто тебе говорит его выгнать? — возражала жена.— Я только предостерегаю тебя, советую, пока дело не зашло далеко.

— Уж этого я не понимаю; по-моему, или взашей кого, или в объятия; у меня середины нет; это уже по вашей части: говорить одно, а думать другое, и ругать и хвалить вместе, и надувать человека, и строить ему глазки; а по-моему, все пустяки! Иван Павлыч живет у нас три года, все его знают, уважают, как человека ученого; он для Вани второй отец... и, верно, не станет волочиться за Лизой. Он знает свои сани.

— Ах, Тарас Иваныч! Никто не может управлять своими чувствами.

— Так и есть! Заговорила как покойница! Та, бывало, потузит кого-нибудь — и расплачется. «Я, говорит, несчастная, не могу управлять чувствами». Все вы на один покрой, как я вижу...

— Верь, не верь, мне все равно, а и Лиза на него, замечай, как посматривает.

— Вот уж это чистые пустяки! Ты на Лизу смотришь, как мачеха... Лиза еще ребенок...

— Хорош ребенок шестнадцати лет! Тут уж позволь мне лучше тебя знать нашу натуру; да в шестнадцать лет у добрых людей дети уже тешат собственного ребенка... Да недалеко сказать: я родилась, а моей покойнице-матушке не было полных шестнадцати лет. Лиза — ребенок, а посмотри, как у ней глазки бегают...

— Положим, и так; да неужели ты думаешь, что Лиза, богатая невеста, вздумает влюбиться в какого-нибудь бездомного, бесприютного голяка, нищего, с позволения сказать? Хоть Иван Павлыч и очень ученый человек, да все-таки нищий; да и что за рожа у него — головня осиновая: станет ли барышня волочиться за ним? Дело другое был бы офицер, молодец.

— Замечай — увидишь.

— Эка беда, если она ему порой состроит глазки! Сама сказала, что дитя на поре; играет молодая кровь: вот она и дурачится, практикуется — ребенок, больше ничего...

— Вот еще новости! А знаешь ты пословицу: «Полюбится сатана пуще ясного сокола?». Ну, а как она влюбится так, что их после и водой не разольют, что ты станешь делать? Что будут говорить о нас?..

— Ну, оно конечно,— начал говорить Тарас Иванович, задумчиво ходя по комнате,— вы, женщины, знаете свою натуру лучше нас... только мне кажется, это дело можно уладить... Конечно, Иван Павлыч сам человек молодой и, от скуки, чего доброго, сдуреет: надобно его занять... Знаешь, что я думаю? Мы возьмем для нашей Лизы какую-нибудь гувернантку, или компаньонку, чтоб было дешевле, только хорошенькую...

— Это что за новости?

— Вот уж и вспыхнула! Экой ревнивый народ! Я говорю не в свою пользу: по мне, чорт с нею; ты прежде выслушай. Когда будет у нас компаньонка, мы и постараемся влюбить в нее Ивана Павлыча: человек займется, и мы успокоимся.

— Прекрасно! Чем же это кончится?

— Ничем. Если они полюбят друг друга, можно их будет женить; пара выйдет хорошая: она — бедная девушка и он бедняк, нечем будет упрекнуть друг друга, заживут припеваючи.

— Пускай будет и по-твоему, только уж компаньонку я сама приищу; а до поры до времени я бы думала перевести учителя куда-нибудь из дома подальше.

— Куда же, например?..

— Да вот, у нас в саду при бане есть две пустые комнаты: там сушат травы для настоек да прячут на зиму луковицы; я бы приказала их вычистить, выбелить и перевела бы туда Ивана Павлыча, пусть там живет. Ваня может ходить к нему учиться, а Иван Павлыч только станет приходить к обеду, к чаю да к ужину; здесь, при наших глазах, он не посмеет куры строить, и Лиза не станет к нему бегать, как теперь: то пёрышко почините, то то, то другое...

— Умная у тебя голова, матушка! Что дело, то дело. Сегодня же прикажу перевести учителя в баню. Там и заниматься им с Ваней будет сподручнее: никто не помешает. Право, хорошо! Спасибо за совет. Как это мне давно не пришло в голову?

Дня через два в комнатке при бане уже стояла кровать Ивана Павловича, стол, четыре стула, обитые черной кожей; на столе куча книг, письменный прибор и несколько тетрадей; под столом бутылка ваксы и бутылка чернил; на одном окне трубка и табак в чайном блюдечке, на другом горшок мелисы. За столом сидел Ваня, глядел в ка-

кую-то книгу с красным обрезом и громко читал: «Смерть и жизнь, бытие и ничтожество — вот что предлежит разрешить мне прежде, чем я преступлю порог вечности, — сказал Катон, — роковое...» и т. д.

Иван Павлович лежал на кровати к потолку лицом и, зажмурясь, шептал:

Внезапно постучался
У двери Купидон.
Приятный перервался
В начале самом сон.
«Кто так стучится смело?» —
Со гневом я сказал.
— Согрей обмерзло тело, —
Сквозь дверь он отвечал... и проч.

Потом вздыхал, потягивался во всю длину кровати и, будто пересиливая себя, открывал глаза, уставлял их неподвижно в потолок и напевал вполголоса густым басом:

Гром победы раздавайся,
Веселися, храбрый росс!
Звучной славой украшайся:
Магомета ты потрёс!..

Учитель и ученик занимались в бане, как вы видите. Жена Тараса Ивановича не очень торопилась отыскать компаньонку. Так шли дни за днями.

Был жаркий летний день. Учитель и ученик после сытного деревенского обеда ушли в баню заниматься; учитель лег на кровать, ученик сел за стол и раскрыл книгу. Но, скажите, можно ли порядочно учиться тотчас после обеда, да еще и в жаркий день? В эту пору на самого ретивого человека находит лень. Ваня зевал над книгой, учитель зевал на кровати. Может быть, они и заснули бы, но летние бичи, тираны человечества, просто говоря, мухи лишали наших героев и этого удовольствия. Безотвязные мухи, словно друзья, не давали им покоя: то садились на нос, то самовольно лезли за шею, то неприязненно жужжали в уши всякую всячину.

— А знаете что, Иван Павлыч? — сказал Ваня.

— А что? — спросил учитель.

— Сколько у нас, говорил Филька форейтор, на коноплянике голубей?

— Ой ли?

— Право; говорит, как подымутся, словно туча летит.

— Ну-с? — сказал учитель, с участием приподнимаясь на кровати.

— Ничего; бьют, говорит, коноплю.

— О, они мошенники! Да, впрочем, это ваши голуби.

— Какое наши! У нас мало, и все с хохлами; а это, говорил Филька, все простые, из соседнего села; и папенька сердится на них, да не знает, что делать.

— А вы что думаете?

— Я думаю, если б вы пустили на них, знаете, в кучу заряд, другой, папенька был бы доволен.

— И я это думал,— сказал учитель, вставая с кровати,— да как же оставить занятия? Разве ужо вечером...

— Вечером их не будет: они наедятся и улетят.

— Правда ваша. Да если папенька увидит...

— Теперь папенька спит после обеда. Мы пройдем садом и вернемся, пока встанет.

— И вы хотите идти со мной?

— А почему нет? Что я стану здесь делать? Вы такой добрый, Иван Павлыч, я вам не помешаю, только пройдусь немного: ведь это здорово, вы говорили.

— Именно. Один философ сказал:

После ужина ты стой,
Иль пятьсот шагов удвой.

А что говорится об ужине, то несомненно относится и к обеду, потому что ужин тот же обед, только для различия называется ужином.

Ваня запрыгал по комнате. Учитель принес из сеней длинное ружье и начал его заряжать.

Выбравшись из сада, педагог и воспитанник прошли мимо черного двора под досчатым забором, немного пригнувшись для безопасности, и очутились в поле. Скоро показался желанный конопляник; половина его уже была выдергана и представляла гладкое поле, на котором высились пирамидальные кучи сложенной конопли; между ними бродило, суетилось, перелетывало большое стадо голубей. Другая половина конопляника была еще нетронута, и зеленые стебли конопли стояли на корне частым лесом выше роста человеческого.

Долго подкрадывался Иван Павлович к своим летучим неприятелям то из-за одной, то из-за другой кучи — все не было удачи: голуби не подпускали близко, а учи-

тель, хотя и знал по-латыни и по-гречески, но был не из числа отчаянных стрелков и не решался выстрелить или, как он выражался, лишиться заряда иначе, как почти приставить дуло в упор неприятелю. Между тем солнце жгло его без милосердия, пот катился крупными каплями со лба, и педагог отретировался на другую сторону коноплянника, отдохнул, присев на дороге под тенью еще растущей конопли, и начал раздеваться.

— Вам жарко, Иван Павлыч? — спросил Ваня.

— Жарко-то жарко, да и платье-то у меня новое: как раз останутся зеленые пятна.

— Что же вы хотите делать?

— Наказать этих зловредных филистимлян; я их так не оставлю; я подползу коноплями прямо к ним нос к носу и тогда увидите, что будет — настоящая баталия...

Говоря это, учитель разделся и в одном только картузе и сапогах уполз в частые конопли. Ваня положил себе в голову платье своего наставника и спокойно улегся на зеленой травке, в тени той же конопли.

Надобно было случиться, что Тарас Иванович в тот день, вопреки своему обычаю, не уснул после обеда: ему не дал спать гость, сосед по деревне, Автомат Человекович. Тарас Иванович рад не рад, а по деревенскому обычаю должен был оставить приятные мечты о сне и занимать гостя. Гость был несловоохотлив; Тарас Иванович зевал; беседа не вязалась.

— Прекрасная погода,— говорил Тарас Иванович.

— Приятная погода,— отвечал Автомат.

Молчание.

— Пече... а... у!.. Печет немного.

— Таки припекает.

Молчание.

— Что Марта Ивановна?

— Ничего, слава богу!

— Слава богу... а... у!..

Молчание.

— А... у! В жары так вот ко сну и клонит.

— Особенно в жары.

Наконец, чтоб как-нибудь занять гостя и самому разбить сон, Тарас Иванович приказал заложить линейку и предложил Автомату поехать погулять в поле.

Ваня, ничего не подозревая, лежал преспокойно у дороги в тени, как вдруг послышался стук экипажа и из-за

угла показалась знакомая линейка; в линейке сидели Тарас Иванович и Автомат. Первым движением Вани было броситься в конопли, но страх так овладел им, что он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой: будто невыносимая тяжесть легла на его грудь, и он лежал, казалось, спокойно, как и прежде, не заботясь о приближении бури.

— Стой! — закричал Тарас Иванович кучеру, когда линейка поравнялась с Ваней.

Линейка остановилась.

— Ба! Ты что тут делаешь? Зачем ты здесь?

Но я увольняю вас от слушания различных родительских нежностей; скажу только, что кое-как Ваня объяснил своему отцу, как и зачем он попал сюда и где сидит Иван Павлович. Тарас Иванович посадил на линейку сына, велел ему взять учительское платье и поехал домой.

Предоставляю вам судить об испуге и удивлении бедного педагога, когда он, возвратясь, не нашел на месте ни своего ученика, ни платья. В его голове сейчас возникли все вздорные басни о ворах и разбойниках, о жидах и цыганах, похищающих ребят, и т. п.; потом он вспомнил неровный характер Тараса Ивановича, вспомнил его любимую поговорку: *за битого двух небитых дают, да и тут не берут*, и в отчаянии готов был наложить на себя руку... правда, даже наложил, только затем, чтоб почесаться. Потом задал себе вопрос: как быть? и решился просидеть в коноплях до вечера, потому что деревня Тараса Ивановича лежала не на островах Тихого океана, а сам он, учитель, очень был похож на отаитянского франта при дворе Тамео-Мео. «Ночью же, думал он, все лошади вороные: хоть кто и встретит, не очень станет присматриваться; проберусь кое-как через сад, надену в бане другое платье — и все будет хорошо. Но если пропал Ваня?» — Тут опять он крепко задумывался.

Между тем мухи, мошки, муравьи, комары и иные разные насекомые сильно тревожили Ивана Павловича. Несколько раз он решался выйти из своего убежища, осторожно разводил в стороны ветви, просовывал голову и быстро прятался в коноплю: кругом на полях, как нарочно, ходила куча народа всех полов и возрастов. Возвратясь вечером домой, он нашел у своей комнаты лакея, который сказал ему, что барин давно его спрашивает и гневается. От лакея узнал учитель, что Ваня жив и здоров, что его привез с поля Тарас Иванович, и проч.

Эти подробности поразили Ивана Павловича стыдом и страхом. Он велел сказать, что нездоров, не может придти, отказался от ужина и лег спать.

На утро, к величайшему удивлению всего двора, не оказалось налицо учителя; он исчез ночью неизвестно куда, исчез со всеми своими пожитками, заключавшимися в небольшом чемодане. При первом известии о побеге учителя жена Тараса Ивановича кинулась в комнату Лизы, но Лиза была дома — и она успокоилась.

Учитель не был крепостной Тараса Ивановича, ничего не унес, так за ним и погони не было; только Тарас Иванович целый день ворчал: «Видишь, жена, не умела удержать человека, вот и пляши теперь с нашим болваном! Вырастет дураком! Что б было найти компаньонку, так нет, все погоди, после, да после. Ох, вы мне, бабы!».

Через несколько дней Тарас Иванович получил из ближнего города от Ивана Павловича почтительное письмо, в котором он благодарил его за все благодеяния и извинялся, что оставил его дом, где ему по многим причинам нельзя было оставаться; просил, чтоб приискали для Вани хорошего учителя, рассыпался в похвалах и вежливостях и объяснял, что едет далеко искать своего счастья.

— Хорошо, хорошо,— говорил Тарас Иванович, читая письмо,— умный человек. Вот только приписка мне не нравится; оно кому другому ничего, а ученому неловко!

Приписка была следующая: «P. S. Еще извещаю вас, мой благодетель, с трепетом сердца, что, для прикрытия наготы своей, взял я на ваш счет у здешних купцов сукна и прочего материала; всего на двести рублей ассигнациями, которые считаю священным долгом и постараюсь вам выплатить при первой возможности».

VIII

Что за комиссия, создатель,
Быть взрослой дочери отцом!

Грибоедов.

По отъезде Ивана Павловича Тарас Иванович ощутил в сердце своем пустоту: ему не с кем стало толковать о разных ученых предметах, которые он понимал не слишком глубоко, даже почти вовсе не понимал, но любил толковать о них в зимние вечера от нечего делать. Подобных

примеров множество на свете. Не с кем стало Тарасу Ивановичу играть в пикет и безнаказанно обсчитывать, что ему очень нравилось. Загрустил Тарас Иванович и послал отыскивать другого учителя; другой учитель не пришелся по нраву и через месяц выехал; достали третьего; этот через полгода уехал. Так прошло еще несколько лет, у Вани перебывало с полдюжины наставников, а все дело воспитания не клеилось.

Между тем другие заботы заняли Тараса Ивановича: его Лиза сделалась отъявленною невестой; голодная стая женихов осаждала дом Тараса Ивановича к невыразимой печали его супруги. Надобно было сделаться стоглазым Аргусом, чтоб уберечь избалованную взрослую девушку, очень хорошо понимавшую, что она и хороша и богата; раза два чуть было она не сбежала из дома то с ремонтером, то с каким-то прапорщиком, а желанный жених Федор Евграфович все еще не ехал: оканчивал где-то в Москве, в пансионе, свое воспитание. Часто Тарас Иванович с горестью замечал, как кокетничала его дочка с окружавшею ее молодежью, как она стреляла направо и налево своими блестящими глазками, изумлялся, слыша, как она, нежничая с драгунским капитаном, видимо, теряла многие буквы российского алфавита: сначала изменила букву *р* в какую-то попугайную трель, а потом эту трель умягчила до какого-то придыхания вроде французского *h*, и вместо «брат» начала говорить «бгат» (bhat); вскоре такая же участь постигла букву *л*: вместо *был* Елизавета Тарасовна произносила «быг» и так далее... Тарас Иванович пожимал плечами и уходил в кабинет, как во время оно, но только не писал шарад, а курил трубку и тер себе лоб докрасна или, призывая сына, бранил его за какие-то вещи, которых Ваня и сам еще не понимал хорошенько.

— Я знаю тебя и вижу по глазам твои штуки; худо будет, если я прикажу горничным бить тебя башмаками; а будут бить, я настою на своем.

Этим обыкновенно оканчивались родительские наставления.

Иван Тарасович был уже мальчик семнадцати лет; он был высок не по летам, но немного наклонялся вперед, как бы от ига, которое нес с младенчества. Поступь его была робкая, глаза блестели умом, а вместе с тем в них прокрадывалось выражение испуга и недоверчивости; бледное лицо оттенялось черными кудрями, которые

иногда Тарас Иванович приказывал ему отращивать, приговаривая: «Что ты стрижешься по-солдатски? Хочешь в юнкера, на волю?», а иногда собственноручно обрезывал, приговаривая: «Не позволю я тебе сделаться бездушным франтом! Что ты каждый день приглаживаешься, причесываешься, да прихорашиваешься? Жениться собираешься, что ли? Какая дура пойдет за тебя, за урода, дурака? Долой эти кудри! Старайся, чтоб у тебя голова была внутри красива, а не снаружи!». Ивану Тарасовичу было грустно жить на свете; он часто удалялся в комнату и, начитавшись всяких книг, начал писать, по примеру многих печатных героев, свой дневник.

Я устал рассказывать; займемся этим журналом или дневником молодого человека: авось он объяснит нам дальнейшие происшествия и избавит мою лень от рассказа.

Дневник Ивана Тарасовича Севрюгина

18... января 1-го.

Наконец, приехал давно ожидаемый для сестрицы жених: авось папенька станет добрее. Федор Евграфович настоящий франт: сукно блестит как атлас... Верно, его любит отец!.. А все мне не нравится будущий братец Теодор, как называет его сестрица; у него что-то есть неприятное: все подымает кверху нос и надувает губы, как наш Валет, когда услышит в траве перепелку. Впрочем, папенька принял его странно; мне это было приятно сначала, а потом стало жалко. Федор Евграфович вошел в комнату, странно волоча ноги и шаркая по полу.

— Что, почтеннейший, у вас ноги болят? — спросил папенька.

— Нет,— отвечал он.

— Отчего же вы так волочите ноги, словно они у вас перебиты?

— Это мода, — отвечал он, покраснев до ушей, — все так ходят в Москве.

— Вот что! — сказал папенька.— Мы люди простые: оставьте эту моду для Москвы, а то подумают, что у вас подагра.

Лиза рассердилась за это на папеньку. Она говорит, что папенька человек старого века, что ничего хорошего не знает, что выжил из ума. А мне кажется, он, хоть и сердит, а добрый человек.

Января 3-го.

Опять сегодня был Федор Евграфович с отцом своим, с матерью, с гувернером. Не знаю, для кого гувернер?.. Были у нас еще гости; время шло довольно весело. Папенька долго о чем-то трактовал, запершись в кабинете, с Евграфом Петровичем; Федор Евграфович так странно смотрит на сестру мою, что мне хочется наступить ему на ногу, а потом все болтает по-французски с гувернером и хохочет во все горло; соседи этим обижаются; Автомат Человекович прозвал Федора Евграфовича — Парлеву. Я пытался раза три заговаривать с ним и начинал, кажется, вежливо, да он сухо скажет «да», или «нет», или притворится, что не слышит, отвернется и пойдет далее. Отчего бы это? Все соседи не взлюбили Федора Евграфовича, все называют его заглаза: Парлеву, хоть в глаза ему очень приятно улыбаются и говорят с ним очень ласково, даже с почтением. Впрочем, все находят его умным человеком оттого, что он говорит по-французски *, а он, сколько я понимаю, говорит пошлости.

«Пропали за тебя деньги,— сказал мне отец, когда разъехались гости.— Можно бы десять работников купить, как сосчитать, что я переплатил дармоедам-учителям, да на сколько они у меня съели харчей, переломали стульев да выкурили турецкого табаку, а все нет проку: ты все дурак! Двух слов по-иностранному сказать не умеешь». Плюнул и пошел спать.

Господи! Да я чем тут виноват? Знал ли я, что Иван Павлович и все его преемники учили меня по-французски латинским выговором? Теперь только, как прислушаюсь, то замечаю, что я хоть могу переводить, хоть и знаю грамматику, а даже читать не умею: с Иваном Павловичем мы читали и дочь *филь,* и сын *филь!*

— Как вас называть по-французски? — раз я спросил Ивана Павловича.

— Жан де Павль,— отвечал он.

Я его и стал называть то Иван Павлович, то Жан де Павль, как когда приходилось лучше... и все казалось хорошо; а теперь я и сам вижу, что это как-то неловко. Да кто же этому виноват?.. Грустно.

---

* Прошу не забыть, что этот дневник писался очень давно. *Е. Гребенка.*

Наконец, сегодня помолвили сестру Лизу; Федор Евграфович объявлен женихом. Были гости; много пили вина за здравие всех, Автомат Человекович выпил и за мое здравие. Мне было очень совестно.

— Он еще ребенок,— сказал папенька,— ему еще рано до этой чести.

— Ничего-с,— отвечал Автомат, ставя на стол пустой бокал.

— Ему лишь бы выпить,— заметил Федор Евграфович и громко захохотал.

Все захохотали и встали из-за стола.

«Ровно, братец, мне не по нутру этот Парлеву»,— сказал отрывисто Автомат, подойдя ко мне после обеда».— И мне также,— подумал я, но не сказал ничего: он скоро будет моим братцем; мне надобно полюбить его.

Федор Евграфович беспрестанно целует Лизу; мне даже совестно! Я всегда отворачиваюсь, когда замечу, что он хочет поцеловать ее; в это время у него делаются какие-то странные глаза. А Лиза, кажется, очень рада, что стала невестой; я нечаянно зашел в ее спальню, а она одна прыгает перед зеркалом и хохочет, как сумасшедшая.

— Ах, если б ты знал, как мне весело! — сказала она и опять принялась прыгать по комнате.

— Отчего? — спросил я.

— Ах, какой глупый! Я ведь невеста! Буду жить своим домом, давать балы! Прелесть! Не правда ли, мой Теодор хорошенький?

— Вы говорите о Федоре Евграфовиче?

— Фи, какой лакейский тон! — сказала она.— И видно...

— Что видно?

— Ничего; прошу, милостивый государь, вперед называть моего Федора Теодором. Слышите? Теперь можете идти.

Мне стало досадно и я, не знаю почему, присел тут же на стуле.

— Так-то вы меня слушаете? Убирайся сейчас; я хочу остаться одна! Будто дама не может остаться одна, когда ей хочется? Вот прекрасно! — почти закричала Лиза, топая ножками.— Вот я несчастная: у отца в доме мне нет покоя! Все против меня! Ах, когда б скорее выбраться, и не плюну в этот проклятый дом; хоть он и мой дом, сожгу его... непременно сожгу...

Лиза расплакалась, я испугался не на шутку и убежал в залу.

Гости толпились у карточных столов — кто играл, кто зевал на игравших.

— А где Лизет? — спросил Федор Евграфович, выходя из гостиной в залу.

— Верно в своей комнате,— отвечал папенька.

— Где это? Я пойду к ней.

— Нет, не ходите; она у меня такая богомольная, верно, молится, неравно помешаете; знаете, сегодня для нее такой день или эпоха...

— Быть не может! — заметил Федор Евграфович, закуривая папиросу.

Я крепко струсил; но минут через пять вошла Лиза, и у меня отлегло на сердце. Она была весела, так добродушно улыбалась своему жениху, так приветливо разговаривала, так непринужденно хохотала — ни тени неудовольствия на лице... я даже изумился. Я бы очень любил ее, если б она всегда была такая; а то как рассердится, станет такая противная, гадкая, что нельзя смотреть без отвращения. Мужчина, если сердится, кричит во все горло — еще ничего, а женщина или смешна, или гадка. Отчего это? Мне кажется, женщины должны быть все предобрые, прехорошенькие, гораздо выше нас. Вот как Юлия в «Подземельи Мадзини» или Фани в романе Лафонтена «Природа и любовь». Славный роман! Я не раз плакал, читая его...

Января 8-го.

Сегодня узнал, что через две недели свадьба: у нас весь дом в движении, все бегают, суетятся; дворовые девки собрались в девичью, шьют белье, поют песни, да такие унылые! Я долго слушал под дверью и заплакал, сам не знаю отчего. Вдруг идет папенька, я в испуге отскочил от двери и ждал, что он начнет ругать меня и попрекать, не знаю за что, то Машкой, то Сонькой, то бог знает кем, а вышло напротив: он подошел ко мне, взял меня за руку и ласково спросил: «О чем ты плачешь, Ваня?» — «Так, мне грустно»,— отвечал я.— «И мне грустно» — сказал он, пожал мне руку и ушел. Мне даже показалось будто он, обернувшись, отер глаза рукой. Непонятно! Обед шел довольно скучно; папенька и маменька все говорили о покупках для

свадьбы, сестра сидела, надувши губы. Когда подали пирожное, папенька спросил: — Ты все еще сердишься, Лиза?

— Как я смею сердиться! — отвечала она, смотря в тарелку.

— Однако у тебя такое печальное лицо.

— Мне неотчего быть печальною: вы такой добрый, все для меня делаете.

— Согласись, где мне взять теперь соболий салоп? Хоть и деньги есть, купить негде.

— Прежде надо было об этом подумать.

— Да ты, душа моя, никогда не вспоминала о нем; тебе вчера натолковал жених, что теперь в Москве такая мода — ты с утра и заартачилась.

— Прошу моего жениха не трогать.

— Ох, какая быстрая! Ну, полно же, перестань! Сегодня пошлю Степку в губернский город; хоть переплатит сотню-другую, а достанет.

Лиза немного повеселела, а как после обеда приехал жених, опять принялась хохотать. Господи, как они целуются!.. И при папеньке и при маменьке иногда; но чуть они из комнаты — вот так и не отстают друг от друга. Я всегда тоже выхожу: как-то неловко; а если как-нибудь замешкаюсь, то Лиза сейчас скажет: «Ваня, поди, принеси стакан воды», или «Там у меня в комнате поищи платка»,— лишь бы меня выжить.

Января 9-го.

Меня хотели сделать шафером, да говорят нельзя: у меня нет фрака. Я просил фрака у папеньки; он отвечал: «Пустяки, и в сюртуке можно: это не служба; фрак не мундир, а просто прихоть. Как приучишься с этих лет до прихотей, после будет поздно отвыкать». Федор Евграфович и слышать не хочет, чтоб был шафер в сюртуке, и нашел другого. Да и лучше! Признаюсь, я боялся этого: там все будут такие ловкие, умные, красивые люди, а я что? — дрянь, как папенька говорит, ни с кожи, ни с рожи! А все-таки хотелось бы фрака: будут гости, будут танцы; меня верно папенька заставит танцевать — срам! Все будут одеты прилично, а я один, как лакей... И Машенька и Дашенька будут, и верно станут надо мной смеяться; они такие гадкие, все скалят зубы, а хорошенькие, очень хо-

рошенькие. Я и досадую, как они приезжают к нам, гордые насмешницы, и рад, как вижу их. Приедут — досадно, уедут — жаль.

Февраля 1-го.

Насилу кончилась эта несносная свадьба! Господи! Сколько шума, крика! Сколько веселья! А я поскучал вдоволь, даже плакал раза два, а все причиною сюртук, да и я таки сам бог знает на что похож. Гостей была куча. Еще накануне папенька мне сказал: «Смотри мне в оба! Будь вежлив, предупредителен, внимателен, а главное, знай свое стойло, не забудь, ты здесь меньше всех — слышишь? Будь у меня тише воды, ниже травы!». Вот я и терся все у дверей, в своем синем сюртучке. Раза два приезжие офицеры приводили меня в краску; один закричал мне прямо в лицо: «Человек, подай трубку!». Я приказал Фильке дать ему трубку и опять стал у дверей; смотрю, идет другой и прямо ко мне: «Принеси, братец, воды с вином». Я ни с места. Как сверкнет он на меня глазами, как подымет усы, как гаркнет почти над ухом: «Слышь, болван? Тебе говорят!» а тут, на беду, идет мимо Дашенька— я и света не взвидел... Был приезжий на праздник гимназист, сын нашего судьи, удивительный танцор — так и летает, и пишет ногами, так и хохочет с девушками. И то правда: у него мундир такой блестящий, сам приехал из губернии, ловкий человек, видел свет!.. Я ушел в буфет.

— А ты вечно от людей прячешься! — сказал папенька, входя в буфет. — Посмотри, гимназист тебе ровесник, какой развязный; все пляшет, всех занимает собой, а ты хлопаешь глазами, как сова, да прячешься по буфетам! Все с лакеями! Урод!

И он насильно повел меня танцевать. Все дамы были ангажированы; папенька нашел в третьей комнате какую-то гувернантку, девушку лет сорокапяти, желтую, худую, и поставил меня с ней в кадриль. Не успел я стать на место, как услышал за собой чей-то голос: «Зачем этот молодец лезет танцевать в сюртуке? Он полами выбьет дамам глаза». Против меня стояла Машенька и, смеясь с кавалером, глазами показывала на мою даму или на меня — не знаю. Я смешался, перепутал фигуру; гувернантка сделала мне выговор... Я вздохнул свободнее, когда кончилась кадриль. И еще говорят, люди танцуют для удовольствия!..

Папеньке не прошла даром свадьба. На другой день был бал у Евграфа Петровича; мы туда ездили и там танцевали почти до света; ночью поднялась мятель, и на обратном пути папенька простудился. У него разболелась голова, сдавило, говорит, грудь и, когда дохнет, то немного колет бок. На ночь его напоили бузиною; к утру стало легче; мы пили чай вместе, а к вечеру опять хуже. Сегодня третий день; он слег в постель. Завтра у нас обед и вечером танцы. Сегодня сестра Лиза прислала записку, что завтра приедет с московскими гостями к нам; они, пишет она, скоро уезжают. Бабошкин и Тотрюхин спешат в Москву к масленице: «А если вам, папенька,— пишет,— не легче, то лежите в кабинете, мы вас не обеспокоим». — Папенька послал пригласить соседей.

Февраля 2-го.

Наконец разъехались гости! Папеньке все хуже: он стонал целый вечер, а в зале танцевали; я у постели читал ему вслух книгу. Маменька беспрестанно приходила к нам, но папенька все отсылал ее, говоря: «Ступай туда, занимай гостей, это твое дело». Раза два прибегала сестра, спрашивала: «Что, вам лучше?» — «Лучше», — отвечал отец.

— Ну, выздоравливайте; мне некогда: я ангажирована,— и опять исчезала. Уезжая, она уже явилась в бархатной шляпке и в теплом капоте, советовала послать завтра за доктором и извинялась, что ее муж не пришел проститься: не хочет, дескать, беспокоить больного.

Февраля 3-го.

Отец всю ночь простонал; мы с маменькой не отходили от его постели. На утро маменька хотела послать за доктором.

— За кем же ты пошлешь? — спросил отец.

— За нашим уездным, за Карлом Карлычем Бракс.

— Нет, я не хочу этого: этот, бог его знает, выкрест ли он из жидов, или фармазон какой заграничный, или что такое, а нехороший человек.

— Что же в нем нехорошего? — спросила маменька.

— Ты знаешь, он чуть было не отправил на тот свет Максима-старосту. Это было в первый год женитьбы моей на покойнице. Максима укусила собака; он был в городе

и пошел к Браксу. «Вот,— сказал,— укусила меня собака; люди бают: бешеная; дайте лекарства». Лекарь прописал что-то; Максим ему поклон да и в аптеку. Аптекарь еще у нас был христианская душа, прочитал рецепт и говорит: «Пойди, братец, к доктору, скажи, верно, он ошибся: здесь такое лекарство написано, что ты умрешь к вечеру». Максим сказал это лекарю, а тот как закричит на него: «Убирайся вон! Я не ошибся; ты не к вечеру, а сразу умрешь, как выпьешь; все равно тебе не жить: не сегодня-завтра взбесишься, так еще людей перепортишь!». Максим рассказал мне это, я ему велел бросить рецепт — и концы в воду. Собака была не бешеная, а Максим, вы знаете, какой здоровый до сих пор. Нет, Бракс не по мне; никогда не забуду, как он пророчил Ване смерть: вот, говорил, умрет через четверть часа, а вышло пустяки: ребенок жив до сих пор; только пугал, дурак!.. Ты не помнишь этого, ты была очень больна, да и Ваня вряд ли помнит.

— Ну, так я пошлю за этим, знаешь, вольным... как он? Морозополи, что ли?..

— Ох! И этот мне не приглянулся: все прыскается духами да руки моет десять раз в день, говорит с расстановкой, как усталая женщина...

— Ты капризничаешь, Тарас Иваныч. За кем же я пошлю?.. Ведь больше нет никого.

— Ну, коли так, то посылай уж за вольным.

Послали за доктором. Уж вечереет, а доктора все нет. Папеньке будто немного легче; он, кажется, вздремнул... И я прилягу, отдохну.

Ночь.

Мне что-то страшно; папеньке хуже, Морозополи приехал поздно вечером, извинился, что брал ванну от веснушек, которые к весне показываются у него на лице, и потому не мог раньше выехать; потом посмотрел на язык больного, пощупал пульс, подавил грудь и, покачав головой, сказал: «Плохо, Тарас Иваныч; у вас воспаление. Если вам не бросить немедленно крови, вы будете в опасности».

— Так бросайте! — сказал папенька, нетерпеливо протягивая руку к доктору.— Бросайте! Чего же вы стоите?

— Это не мое дело. Нет ли у вас фельдшера?

— Нет,— отвечал папенька.

— Жаль, очень жаль!. А я своего отправил на ярмарку покупать пристяжных лошадей.. Ну, так пошлите в город: Бракс отпустит казенного.

— Разве вы сами не умеете? — спросил папенька.

— Помилуйте! Да я забыл взять инструменты.

— За инструментами пошлем к вам,— перебила маменька,— это все ближе, нежели в город; город от нас в двадцати верстах.

— Нет, это невозможно. Вот видите... я очень сострадателен и не могу смотреть на кровь: мне делается дурно... и я в это время не ручаюсь за верность руки.

Послали в город за фельдшером. Доктор заварил в кастрюле алтейного корня, прибавил туда селитры, приказал принимать эту микстуру через час по ложке и, взяв от маменьки за приезд белую ассигнацию, уехал. Уезжая, он приказал выпустить папеньке две глубокие тарелки крови.

Февраля 4-го. Утро.

На рассвете приехал посланный из города.

— Ну что? — спросил я.

— Нету,— отвечал посланный.

— Отчего? Как это можно?

— Я просил лекаря; вот так, мол, и так у нас случилось, так, мол, просили отпустить.

— А у кого твой барин лечится? — сказал лекарь.

— Я и говорю, у Морозова, что ли. «Ну, так,— сказал,— пускай он дает своего фершела, а у меня, мол, для всякого нету». Вот я и поехал.

И это люди?!! Послали в другой город за фельдшером, верст за сорок. У меня голова кружится, как подумаю, если и там не найдут? А папеньке все хуже и хуже; микстура не помогает. У нас три повара, два писаря, два огородника, два садовника, отчего же нет ни одного фельдшера? А как бы дорого я заплатил за него!

Ночь.

Сейчас приехал фельдшер. Кровь не пошла. Это, говорят, очень худая примета. Маменька плачет. Послали за сестрой. Что-то будет? Боже мой! Неужели это может кончиться худо?.. Я не верю, а сердце так вот и замирает. Господи! Как страдает бедный папенька!

Февраля 5-го. Утро.

Не легче папеньке! Приезжала сестра с мужем, посидела часа два, посоветовала приставить к груди пиявки и уехала. Им, говорят, нельзя долго оставаться: у них сегодня обедает важный гость — прокурор; а завтра понаведаются. Папенька заплакал, когда уехала сестра, и обнял меня. Какой он стал добрый! Теперь я узнал, как он любит меня... Чего бы я не дал, чтоб облегчить его страдания!..

12 часов ночи.

Его уже нет... Папенька умер...

Февраля 10-го.

Как я давно не писал моего дневника! Папеньку похоронили. Грех признаться самому себе, а мне жаль, что папенька перед смертью так был ласков со мною; теперь мне жаль его, очень жаль; а то, может быть — господи, прости меня! — мне было бы легче. Сестра уже застала папеньку на столе и упала в обморок. Странное дело — обморок! Я первый раз в жизни его видел: лежит женщина совсем неживая, кажется, сама умерла, а между тем, все показывает рукой себе на грудь: значит, она что-нибудь да чувствует. Мы стояли, не зная, чего ей хочется; она показывала несколько раз, а после простонала: *вот тут!* Ее муж бросился, вынул у нее из-за корсета скляночку со спиртом и поднес ее к носу: сестра вздохнула, открыла глаза, очнулась и принялась плакать. На похоронах много было гостей; все вздыхали, плакали, а потом сели обедать. Говорят, печаль отнимает аппетит, это ложь: гости кушали очень хорошо. Правда, мы с маменькой ничего не ели... После похорон я несколько дней ходил как шальной; все мне чудились глухие удары молотка, которым заколачивали гроб, в ушах отдавалось: *Со святыми упокой!..* Ночью было страшно спать... Теперь немного проходит...

Февраля 11-го.

В самый день смерти папеньки привезли с почты на его имя письмо. Как жаль, что папенька умер, не прочитав его! Да до того ли было тогда!.. Мы все бегали, суетились, не помня себя. Сегодня я только вспомнил о нем и прочёл. Бедный Иван Павлович! Он прислал папеньке 200 рублей, извиняется, что так долго не отдавал, оттого,

что не было у самого, а теперь пишет: «Я уже вышел в полк лекарем и из первого жалованья посылаю вам». А покойник все считал его обманщиком; мне всегда было жалко его слушать... Умирая, отец говорил мне:

— Не доверяй людям, Ваня, никому не верь: все обманывают; такой уже нехороший род человеческий; самый умный, самый добродетельный, самый ученый человек, хоть на всех языках говорит, а все норовит надуть своего ближнего,— поверь мне. А что, сестра не приехала?

— Нет еще,— отвечал я.

— Плохо!.. Что она так мешкает?.. Поверь мне, я тебе живой пример: когда я проводил кого, все говорили: молодец Тарас Иванович, с ним держи ухо востро.., а как позволил себя надувать, все заговорили, если ты не слыхал, то верно услышишь, что дурак Тарас Иванович... Да, поверь мне: все дураки люди, которые позволяют себя надувать, а сами никого не трогают... Еще нет Лизы?

— Нет.

— Вот не дождусь ее!.. Иван Павлыч, например, какой был ученый человек, а все-таки под конец надул меня, и теперь, я думаю, хвалится. Ну, да бог с ним! Я говорю только для примера... И женщинам также не верь: и они люди... как ни думаю, а придется назвать их людьми — этим еще больше не доверяй, я знаю по опыту; из-за какой-нибудь дряни, из-за ленточки или бронзовой булавки они станут ласкаться к тебе, станут в глаза хвалить, станут, с позволения сказать, перед тобой подличать и клясться в вечной любви, и из-за пустяка же, оттого, что ты приморозил кончик уха, или съел с косточками бекаса, вдруг разлюбят тебя, обнесут, оклевещут, нажалуются на тебя целому свету... скажут, что ты чудовище, отравят тебе жизнь, отравят тело и душу... в гроб вгонят, а после зарыдают над твоим гробом, упадут в обморок... и весь свет скажет: «Какая добрая женщина!», и осудят тебя в гробу, осудят беззащитного, бездыханного — поверь мне!..

И я слушал отца и не смел сказать ни слова в защиту доброго Ивана Павловича, а письмо *его* было у меня в боковом кармане, лежало на сердце моем. Мне тяжело, что папенька умер, не прочитав его: он бы умер, мне кажется, спокойнее. Мне кажется, страшно умереть с такими верованиями... Стоит ли жить, если люди, окружающие тебя,— все злодеи, если я должен быть целую жизнь настороже?.. Нет, этого быть не может. Папенька заблуж-

дался: это письмо служит доказательством. Жанлис, Котень, Лафонтен и прочие писатели знали жизнь: отчего же у них в романах так много людей добродетельных, особливо женщин... Так и должно быть: под прекрасною наружностью непременно должна быть чудесная душа!..

Февраля 12-го.

Сестра, ее муж и все семейство Евграфа Петровича за что-то сердиты на маменьку — не понимаю за что, а видимо дуются. Грех им: маменька такая добрая! Автомат Человекович сегодня заезжал к нам, выпил два стакана пуншу и все молчал, а за третьим заговорил: «Ровно, братец,— сказал он мне,— напрасно ты выдал сестру за этого Парлеву». (Автомат, если хочет заговорить с маменькой, всегда заговаривает со мной; прямо к ней сначала он никогда не относится).

— Отчего же это вы думаете?—спросила его маменька.

— Так, сударыня; он ведь просто, хоть и хорошей породы, а ровно дрянь! Не ухвалил я его, смею вам доложить... Он только насмехается над нашим братом да болтает по-птичьему, а чина на нем ровно никакого нет, ровно никакого!..

— Ничего, послужит — дослужится; а ведь Лизе лучшей партии было не дождаться: и образован и богат Федор Евграфович...

— О первом не поспорю, это нашему брату горячо, обожжешься; а за богатство верно знаю, что у него, у этого Федьки, ровно ничего нет.

— Разумеется, сам он не владеет, но у отца около тысячи душ, а их всего два брата...

— Так, точно так, да старик-то замотался по уши, ничего нет, все в долгу; на него есть бумаги, нехорошие бумаги...

— Оставьте! Это верно сплетни!.. Откуда вам знать?

— Нет, правда. Если б Александра Тумановна говорила, я бы и рукой махнул, а то бумаги есть настоящие, я сам читал, читал по должности, в земском суде и далее...

— По какой должности?

— А разве вы не знаете? Я, ведь, уже другая неделя, как служу становым...

— Я не знала. Чем же вы не похвалились?

— Нечем-с. Я думал, сами заметите; ровно две недели

служу. Сам предводитель просил. «Ступайте,— говорит,— любезнейший Автомат, поддержите службу; у вас, говорит, и уменья хватит, и сила есть, и печень здоровая...» много наговорил мне хорошего. Я и согласился.

— Поздравляю вас. Так у Евграфа Петровича много долгов?

— Настоящее, большое количество, и запрещения, взыскания, и бог знает чего не наслали из Москвы, вот этакая куча! Даже один натурой приехал, т. е. лично; я вчера его видел в городе, купец, невелика штука, борода в аршин, кафтан синий; плохо будет!..

После этого разговора маменька крепко задумалась...

Февраля 13-го.

Сегодня мы не обедали; утром не стало повара: говорят, приезжали от Федора Евграфовича и взяли; молодая барыня, говорит, приказала ему приехать к себе. Я было рассердился, да маменька сказала: «Не беспокойся, Ваня, это вредно здоровью; повар Лизин, она и взяла его». Оно так, однако... однако... это как-то неловко!..

Марта 22-го.

Вчера был день рождения папеньки: мы его провели печально, хоть соседи, по старой памяти, и съехались к нам, обедали и целый день провели. Маменька проплакала весь день, особливо ее оскорбил Евграф Петрович: он перед закускою налил себе рюмку водки, сказал: «Царство небесное покойнику», и выпил, не только ничего не пожелав маменьке, но даже не поклонясь ей; она стояла перед ним в двух шагах. При этом гости переглянулись и посмотрели на маменьку — она побледнела.

— Вот до какой чести дожили! — сказала маменьке Александра Тумановна.— Вас уже и не замечают!..

Маменька ушла в спальню, прилегла немного, приняла каких-то капель и, отдохнув минут пять, вышла к обеду.

Марта 24-го.

Был какой-то толстый мужик: ходил у нас по двору; я встретился с ним — он мне поклонился, прошел мимо и начал говорить с кучером; кучер стоял перед ним без шапки и все кланялся.

— Кто это? — спросил я у ключника.

— Это Бульдог Иваныч, приезжал расспрашивать, как у нас идет хозяйство.

— А ему какая надобность?

— Как же-с, Бульдог Иваныч приказчик Евграфа Петровича... Так их присылали барыня Елизавета Тарасовна...

Марта 25-го.

Маменька очень печальна. Ей передали посещение Бульдога; вся дворня с какою-то злобною радостью говорит об этом. Что мы сделали этим людям? К обеду приехал какой-то лысый старичок в сером сюртучке с черными костяными пуговицами; долго ходил он по деревне, по двору, по саду, потом пришел в дом, рекомендовался, что он будущий арендатор, говорил, что Елизавета Тарасовна уезжает в Москву с мужем пользоваться весной искусственными минеральными водами, а свое имение отдает на аренду. Маменька говорит, что мы должны выехать. Поеду завтра к Федору Евграфовичу.

Марта 26-го.

Никогда больше не поеду к этим гордым людям; однако позволили пожить здесь до окончания дела. Если б не было холодно, я бы лучше согласился ночевать под открытым небом, нежели просить у них чего-нибудь. Бедная матушка! Я ничего не говорил ей, даже боюсь написать, что от них слышал. Но бог слышал все их речи, видел все их взгляды — он заплатит им!..

Апреля 2-го.

Вчера приезжал от Лизы форейтор и сказал: «Барыня приказали кланяться и велели известить вас, что они, мол, не едут в Москву, и арендатора не будет, а вы, мол, живите хоть целый год, пока не устроитесь». А сегодня опять был арендатор и сказал, что это была шутка для 1-го апреля: Елизавета Тарасовна пошутить изволили.

Апреля 3-го.

Говорят, семейство Евграфа Петровича скоро уедет; нас беспрестанно посещают то арендатор, который обходится здесь, как хозяин, то какой-то человек, в зеленом нанковом сюртуке, привозит маменьке письма и бумаги и

отвозит. Я спрашивал о нем маменьку; она отвечала: «Не беспокойся; это чиновник из суда. Я кончаю кое-какие счеты с Лизой, так он ходатайствует...» Лакеи почти нас не слушают; когда маменька прикажет подать себе стакан воды, я всегда сам бегу подать ей: боюсь, чтоб какой-нибудь болван не оскорбил ее непослушанием.

Апреля 17-го.

Наконец все, слава богу, кончено. Мы избавились от этой несносной жизни. Вчера маменька ездила в суд, подписала какие-то бумаги, получила тысячу рублей деньгами от Лизы и на две тысячи вексель. Мы переедем жить в город. Сегодня уезжает все семейство Евграфа Петровича в Москву. У нас был Автомат и говорил маменьке, что ей больше можно бы получить, да Евграф Петрович человек сильный, спасибо и за это; потом он советовал мне служить в земском суде и обещал протекцию. Арендатора он упросил позволить нам пожить с недельку, пока для нас найдет квартиру. Арендатор очень боится Автомата. Маменька со слезами благодарила Автомата за его старания.

— Позвольте,— отвечал Автомат,— это ровно ничего; покойник был хороший человек; я помню хлеб-соль... стакан пуншу... было весело...

Апреля 23-го, ночь.

У нас в городе нанята квартира. Слава богу! Завтра мы бросим эти стены: они давят меня!.. Но отчего же мне так грустно оставить их?.. Я сегодня весь день ходил и прощался с местами, знакомыми мне с детства; видел забор, под которым с Иваном Павловичем крались на охоту; был и в бане: она опять завалена сухими травами; нет в ней ни кровати Ивана Павловича, ни стульев; только остался стол; на нем, вместо книг, лежал лапоть; окна затканы паутиной. Я выдвинул из стола ящик; в ящике лежало перо; его бородки обрезаны прихотливыми зубчиками, на конце нацарапано булавкой: «Принадлежит Ивану Севрюгину». Я спрятал это перо, как воспоминание детства. Давно ли это было, а уж его не воротишь, уж о нем есть только воспоминание!.. В саду по-старому зеленеет крыжовник, в который я прятался бывало от рассерженного батюшки. Назад тому пять лет я привил вишневое дерево; сегодня был у него и с ним прощался; очень вы-

росло, гораздо выше меня, и душисто цветет, будто снегом покрытое белеет... оно стоит такое веселое! Я заплакал, глядя на него... Был на могиле батюшки; посеянные мною цветы уже взошли, и она не так страшно чернеет... Просил у арендатора не скашивать цветов с могилы.

«С большим удовольствием, — отвечал он, — это мне ничего не стоит; почему же! У нас, на Волыни, часто украшают могильные кресты венками. Если вы захотите, приезжайте, я вам всегда позволю нарвать на лугу цветов и повесить их на могиле; это пустое, ничего не стоит...»

Кажется, речи арендатора были очень обязательны; но от них у меня сжалось сердце — мне стало холодно.

Вечером я усердно помолился богу, осмотрел свою комнатку, простился с каждым уголком, знакомым мне с детства. В последний раз, может быть, до гроба, я в том месте, где вырос, где для меня было хоть, правду сказать, больше печали, нежели радости, но и печаль эта имела свою прелесть. Сегодня ночь светлая; полная луна глядится в мое растворенное окно... в саду поет соловей... Я долго слушал его, долго смотрел на небо, долго прислушивался к знакомому шороху деревьев, к лепетанью осиновых листьев, к легкому шуму крыльев ночной бабочки, и не мог уснуть... Встал и начал писать... К чему спать! Поживу лучше, пободрствую еще несколько часов под родительским кровом... Завтра — прости, всему скажу прости! Отчего это человек любит свою родину?..

Апреля 25-го.

Вот мы уже и городские жители. Маменька наняла, или, лучше сказать, Автомат Человекович нанял для маменьки одноэтажный домик в три комнаты с кухней, маленьким старинным палисадником перед четырьмя окнами, выходящими на улицу. Улица широкая, как поле; против нас забор; на улице пыль по колено. Нас всего четверо: я с маменькой, старуха — моя няня, да девка лет за сорок — единственное приданое моей матушки. Проходящие с любопытством заглядывают к нам в окна, а после отправляются на двор, к хозяйке нашей квартиры, и спрашивают: кто переехал, зачем, кто у нас готовит кушать и сколько мы издерживаем на стол, и едим ли по постам скоромное и т. п. Вечером иногда гуляют мимо наших окон женщины в больших красных платках, мужчины

в сибирках и сюртуках; ходит один франт в белом картузе с тоненькой тросточкой, и ездит на дрожках седой старик; ему все кланяются он, говорят, городничий.

Апреля 26-го.

Пошел проходиться. В конце улицы будка; у будки отставной солдат в красном жилете с железным прутом в руках; за будкою пыльная дорога и поле.

Апреля 27-го.

Сегодня я было крепко испугался: думал, придется опять кочевать, опять искать квартиры. Рано утром я проснулся от крика и плача: смотрю — перед окном стоит высокий шест, на шесте навязан пук соломы; от шеста быстро удаляется длинный, сухопарый человек в круглой шляпе, а за ним два десятника. У шеста стоит хозяйка, старуха-мещанка, и горько плачет.

— Что с тобою, матушка? — спросил я.

— Вишь ты, дом ломать хотят: завидно стало, что жильцов пустила, вот и веху поставили, а погодя, говорят, придем, ломать станем — улица будет. Какая тут улица, булдыхан проклятый, оглобля березовая этакая! Мало ему места, журавлю беспёрому. Не бойся, не сунется к другим иным прочим, а бедная вдова терпи...

Скоро вернулся один из десятников и долго говорил с хозяйкой; потом она оделась по-праздничному и пошла к землемеру, к обеду вернулась и весело говорила: «Землемер такой добрый, посмотрел в бумагу, увидел, что ошибся, мой соколик, и приказал снять веху». Ввечеру сняли веху. Был Автомат. Завтра я подаю прошение в земский суд и поступаю на службу. Как-нибудь да стану поддерживать маменьку.

Мая 1-го.

Итак, я уже канцелярский чиновник, или служитель, как говорит наш секретарь. Просителей куча каждый день. Странный взгляд на вещи у нашего секретаря; он часто говорит просителю: «Ваша правда, по-вашему совершенно так; но и по-моему будет правда». Как же это? И так правда, и иначе правда?.. Меня заставили написать

форменную бумагу; я наврал ужасно; секретарь рассердился и приказал мне переписывать, пока не уразумею. Я переписываю.

Мая 4-го.

И к чему моя латынь, и Цицерон, и Гораций, которыми меня мучил Иван Павлович, и к чему все эти греческие спряжения? Люди едва грамотные, с хорошим почерком, гораздо больше уважаются, и я сознаю себя между ними самым последним человеком. Правду говорил покойник-батюшка, что я ни к чему не годен. Мне совестно перед Автоматом Человековичем: он определил меня, а я ничего не знаю. Тяжело жить из милости!

Мая 6-го.

Сегодня баба всучила мне в руку двугривенный; я бросил его на пол и чуть не заплакал. Мои товарищи смеялись; сторож поднял двугривенный. Баба ушла. Кто-то сказал: «Напрасно бросаете деньги!».

Мая 8-го.

Сегодня то же, что и вчера, завтра то же, что и сегодня. Скучная жизнь... нечего записывать. Брошу вести свой журнал... только трата времени.

. . . .

IX

Голенький ох! за голеньким бог.

Народная пословица.

Был август месяц. Иван Тарасович, идя «на должность», заметил необычайное движение в городе; мимо него проехал на дрожках городничий в полном параде; на дороге ему встретилось несколько человек солдат с ранцами за плечами, в окнах городских домов выглядывали беспрестанно разряженные головки девушек. «Что бы это значило?» — подумал Иван Тарасович, когда услышал музыку и песни. В город входил на постой пехотный батальон. Стройно выступали пестрые ряды солдат; впереди ехал начальник, по сторонам шли офицеры. Весело входили солдаты на постоянные квартиры. Удалой запевала высоким тенором затягивал:

У воробушка головушка болела,
Ах болела, ох болела, ах болела!

А хор подтягивал:

Шилды, будылды,
На чики чикалды
Чики чикаволды шилды
Бух, бух, бух!..

В хору звенели тарелки, и слова: «бух, бух» сопровождались сильными ударами бубна.

За батальоном тянулись экипажи, кибитки с сидевшими в них женщинами и собаками, огромные зеленые фуры; подле фур ехал человек в треугольной шляпе, в сюртуке с красными выпушками, с необъятными черными бакенбардами. Ивану Тарасовичу показалось знакомым лицо с бакенбардами. Лицо с бакенбардами, поравнявшись, пристально посмотрело на Ивана Тарасовича и вдруг закричало: «Иван Тарасович! Вы ли?»...

— Я, Иван Павлович,— отвечал Иван Тарасович, который в незнакомце узнал своего прежнего учителя.

Лекарь соскочил с коня и бросился обнимать Ивана Тарасовича, приговаривая: — Так и есть, говорите после этого, что сердце не вещун!... Именно, въезжая в ваш город, я думал о вас, о вашем батюшке. Ну, что он?.. Сердится на меня, а? Говорите же! Да у вас слезы на глазах! Неужели что случилось?..

— Папенька скончался..

— Царство ему небесное!.. Не горюйте: закон судеб. Вот мы поедем к вам в деревню, отдохнем, поохотимся вместе — не правда ли?

— Я здесь живу.

— Как, в городе?

— Да, в городе, служу...

— Да где же вы живете? Одни, или с матушкой, с сестрицей?

— Сестрица вышла замуж.

— В добрый час! гм!

— А я живу с матушкой.

— Где же? Скажите! Я вот только уложу свой лазарет и сейчас явлюсь к вам...

— На Пустопорожней улице, дом мещанки Круглоротовой.

— Буду, непременно буду. До свидания!

И Иван Павлович пустился по пыльной улице крупной рысью догонять свой лазарет, а Иван Тарасович пошел домой сказать маменьке радостную весть.

После очень скромного обеда Иван Тарасович рассказал Ивану Павловичу свою жизнь. Иван Павлович склонил голову на руку, почти весь спрятался в свои густые бакенбарды и задумался.

— Ничего! — сказал он, как бы опомнившись от сна.— В эту минуту через мою голову много прошло годов, я вспоминал свою судьбу. Ничего; в тот день, как я оставил ваш дом, я был в тысячу раз беднее и несчастнее вас; у вас есть матушка, есть человек, который сочувствует вам, это — я, а у меня была кругом пустыня: я был сирота, круглый сирота, был осмеян, влюблен... да; не смейтесь! Я любил вашу сестру — теперь не грех в этом признаться; я не мог долее оставаться в доме, где могла смеяться надо мною *она,* и мои планы, моя будущность должны были погибнуть... Деньги, собранные мной на прогоны ехать в Петербург учиться в академии, я должен был употребить на платье, а потом что?.. И я оделся в чужое платье и поехал искать счастья. А теперь, вы видите, бог благословил меня: я расплатился с долгом и могу жить, служа богу и государю, и ни в чем не нуждаться. Примите мой совет, Иван Тарасович.

— Какой?

— Бросьте вы эту службу: она вам не к лицу и ничего не даст вам; поезжайте в Петербург, вступите в академию и со временем будем вместе подвизаться на поприще спасения страждущего человечества.

— Да могу ли я?..

— Можете! Я много виноват перед вами; я учил вас по-французски, математике и другим наукам, которым сам отроду не учился, и знаю их не лучше вас — виноват, каюсь в этом: на это была воля вашего батюшки, а мне нужны были деньги; я обманывал и его и вас — и считаю себя в долгу перед вами; но русский язык, словесность, историю и другие вещи, которые я знал,— вы знаете; латинский язык вы знаете, могу сказать, превосходно, и смело держите экзамен: вы будете эминентом — я знаю вас. Поезжайте же поскорее, теперь время приема, я вам дам письмо к моим бывшим профессорам; они люди добрые и примут вас хорошо. О матушке вашей не заботьтесь: наш полк простоит здесь несколько лет; может быть, пока вы

выйдете из академии, я буду стараться, как могу, быть полезным вашей матушке. Я виноват перед вами, Иван Тарасович; позвольте ж мне хоть добрым советом исправить свой обман. Если вам нужны деньги, я вам могу занять сто рублей. Поезжайте как-нибудь, только скорее; время дорого, его ничем не купишь. Ну, что же, решаетесь? Давайте вашу руку!

— Извольте.

— Вот дело! — говорил Иван Павлович, обнимая Ивана Тарасовича.— Поздравляю будущего собрата.

Ваня бросился на шею матери и залился слезами.

Через несколько дней борзая тройка унесла Ивана Тарасовича далеко-далеко... И целую неделю говорили в городе, как сдурел молодой Севрюгин, оставил службу, место и поехал учиться, да еще куда — в Петербург!!!

— Он думает, что там нет таких, как он,— говорила на перекрестке Александра Тумановна,— много там и без него людей!.. Есть, говорят, и почище его, и поумнее, и побогаче, да сидят по трое суток не евши.

— Неужели? — спрашивал секретарь.

— А тоже что́. Вот я знаю одного молокососа, если б не я, опух бы от голода...

— Как так?..

— Да так, есть нечего; вот он и опишет меня, как я и хожу, и говорю, и та́нцую; разумеется, это интересно: там же не видели еще меня, вот ему и дадут рублей пятнадцать, двадцать — он и живет.

— Разумеется, вы у нас голова! — отвечал секретарь, низко кланяясь,— мое почтение.

— Прощайте!

Распрощаемся и мы с Иваном Тарасовичем надолго, лет на десять. Десять лет! — сказать легко, пожалуй, и пережить кому нетрудно, а иному это целая вечность!.. Десять лет! Сколько в этот период времени умрет добрых людей! Сколько отцветет красавиц! Сколько настроят люди козней, измен, предательств! Сколько утечет воды из рек в широкое море! Сколько зубов выпадет у иного человека! Сколько поседеет волосков в роскошной косе у иной женщины! Сколько умных поглупеет, а, может быть, хоть один дурак поумнеет!.. Много времени в десяти годах!.. Пускай себе едет в Петербург Иван Тарасович, пусть он робко спрашивает на станциях лошадей и пусть там, пользуясь этим, держат его по трое суток, чтоб продать втри-

дорога три дрянные обеда; пусть он поступает в академию, учится отлично, к удовольствию начальства и зависти товарищей, выходит с честью из академии, пользуется известностью, следовательно, и большою практикой, и еще раз, следовательно, большими доходами; пусть он себе живет в бельэтаже или на чердаке, пусть франтит или ходит оригиналом — словом, пусть делает что хочет в продолжение десяти лет, я говорить о нем не стану... Я его отпустил на целых десять лет в отпуск по домашним обстоятельствам. А какие его обстоятельства? Встретим ли мы его в богатой карете или пешком на тротуаре в изорванных сапогах? В райке Александринского театра или в ложе итальянской оперы? — это еще тайна, которую вы узнаете не раньше будущего месяца *, из второй части.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Хотя корень учения горек, но плоды оного сладки суть.

Новейшие российские прописи.

Le ton fait la musique **.

Пословица.

I

Vois jusqu' où m'a conduit la soif des voluptés,
Pleure moi, plains mes maux que j'ai trop merités,
Et tremble de marcher sur les pas d'un coupable.

Gilbert ***.

Был август. Петербургская природа смотрела сентябрем; листья падали с деревьев; дачники переселялись в город; красивые картонные домики на Черной речке пустели; по улицам Петербурга весь день тянулись возы, нагруженные пожитками кочующего народа: тут была и разная мебель, и разная посуда, и цветы, которые при каждом толчке повозки кланялись

---

* Первая часть «Доктора» была напечатана в мартовской, а вторая часть в апрельской книжке «Отечественных записок» за 1844 год.

** Тон делает музыку.

*** Смотри, куда меня завела жажда наслаждений,
Оплакивая меня, сочувствуй моим страданиям, вполне заслуженным мной,
И трепещи итти по стопам преступника.

Жильбер.

во все стороны, будто прощаясь с летом, и клетка с чирикавшим чижиком или с серым попугаем, говорившим всякому встречному: *дурак,* хоть будь этот человек примерной важности, или будочник, или просто фонарный столб; иногда за возом шла старуха-кухарка, бережно неся подмышкой отломанную ножку от старого березового стула, за которую, т. е. ножку, разве аптекарь взял бы с вас гривну меди, и то, собственно, за сигнатурку, веревочку, печать и цветную бумажку; а старуха несла ее до города верст пять в твердой уверенности, что делает полезное дело. Порой отчаянный франт, рискуя получить лихорадку, шел по улице в летнем пальто; порой шел простой человек в полушубке. Но эта живая картина мало-помалу темнела, путалась, сливалась в неопределенные образы — солнце зашло; тучи тянулись по горизонту; город принял серенький цвет; благословенный выборгский ветерок подувал будто из ледника; к счастью, запачканные люди в рогоженных плащах начали зажигать фонари; из лавочек блеснул свет, в окнах домов показались огни — и снова повеселел Петербург.

Далеко за Лиговкой, в каменном доме на Невском проспекте, ярко было освещено несколько окон второго этажа, занавешенных малиновыми занавесками с золотою бахромой и кистями; какой-то редкий цветок приподнял веткой один край занавески, и за нею видна была стена, обитая цветными обоями; по обоям тянулся узенькою полоской золотой карниз; над ним виднелась часть потолка, расписанного в помпейском вкусе. На тротуаре у ворот этого дома стоял дворник; немного подалее, на улице, мальчик лет двенадцати, в лаптях, в сером зипуне, без шапки, глазел на освещенные окна.

— Что там глядишь, Петруха? Чего не видал? — говорил дворник мальчику.

— Погоди, дядя! — отвечал мальчик.

— Стой, стой на улице: того и гляди, какой ни на есть экипаж в другой раз так тебя прихватит, что своих не узнаешь!

— Не бойсь, дядя; вон как там светло!.. Знать, генерал какой живет, а, дядя, а?

— Эк ты, деревенский петух! Все тебе генералы!

— А красно-то красно! А зелено-то, зелено! А блестит-то блестит, словно в печке горит! Правду баяла тетка Маланья, опомнясь ходивши в Питер с кавале-

ром: там, сказывала, в мелочной лавочке глаза разбегутся: что твоя душенька захочет — все есть!.. Там лавочка, дядя, а?..

— Больно глуп ты, Петруха! Какая лавочка! Известно, барин живет...

— Барин?! Вишь ты! Знать, у него посиделки барские, а, дядя? Посиделки?

— Какие посиделки! Дохтур живет.

— Дохтур?.. Что это, из немцев, што ли?

— Православный...

— Где, батюшка, доктор? — спросила дворника женщина в черном подозрительном салопе.

— По парадной лестнице, во второй этаж, правая дверь.

— Спасибо.

— Не за что-с!

— Дядя, а дядя! — спросил мальчик, когда женщина ушла на лестницу.— Что это за барыня!

— Какая барыня! Шваль какая ни на есть, попрошайка... Знают, что добрый человек дохтур: вот так к нему и лезут, а нет дворнику перекинуть за труды!

— Ой ли? Вишь, а я смекал, барыня; какая пышная — так и шумит хвостом!

Между тем, женщина торопливо поднялась по освещенной лестнице во второй этаж, остановилась у двери, на которой была прибита полированная медная дощечка с красивою надписью: *«..ой доктор Иван Тарасович Севрюгин»,* и робко дернула за ручку колокольчика.

В это время Иван Тарасович Севрюгин... Но позвольте!

Предсказание Ивана Павловича сбылось: молодой Севрюгин, поступив в академию, был робок, застенчив попрежнему; часто он хотел пересилить себя и вмешаться в игры, шутки и россказни своих товарищей, но его приемы смешили всех; его шутки и остроты никогда не выходили, и разве будучи сказаны по-немецки, могли бы утешить какого-нибудь доброго австрийца; он почти с отчаянием повторял: «Правду говорил покойный батюшка, что я ни к чему не годен, просто дрянь! Ни стать, ни сесть, ни слова сказать не умею», и обращался со всем жаром к своей науке. Следствием подобного прилежания было, что Севрюгин вышел из академии одним из первых докторов и получил сразу в Петербурге довольно важное место в штатской службе. Занимаясь практикой, он был очень

осторожен и аккуратен, входил во все подробности больного, расспрашивал его обстоятельно, и тогда уже прописывал рецепт, а, прописывая рецепт, никогда в то же время не рассказывал, как один молодой человек и одна девушка убежали и перевенчались или как один человек играл восемь в червях и остался без четырех и т. п. От этого вся Рождественская и Каретная части веровали в Севрюгина и беспрестанно звали его к больным, оттого у Севрюгина была прехорошенькая квартира, и кумушки Рождественской и Каретной частей, говоря о Севрюгине, восклицали:

— Вот, мать моя, жених!.. И умен, и смирен, и тысяч сотня в ломбарде лежит!..

Правда, Иван Тарасович не лечил аристократии. Он не болтал по-французски, неловко шаркал и с первого дебюта оборвался на этом скользком поприще. Дело было вот как: одна дама, богатая, тонная, изнеженная дама — не то графиня, не то княгиня — была на вечере, покушала чрез меру каких-то упоительных бомбошек и назавтра послала за доктором. Домовым доктором княгиня еще не обзавелась, и дворецкий, по совету своего приятеля, купца в милютиных лавках, привез к ее сиятельству Севрюгина.

— Ah, monsieur le docteur, l'ai reçu *...— сказала дама Севрюгину и рассказала ему свою болезнь по-французски.

— Это пустое,— отвечал Севрюгин по-русски, прописал прием магнезии и уехал.

Послали в аптеку, а к даме приехала ее кузина.

— Ах, ma chére! ** — сказала дама своей кузине.— Как жаль, что ты опоздала пятью минутами; что за урод был у меня!.. До сих пор не могу придти в себя от смеха...

— Кто такой?.. Уж не этот ли, поэт он русский, что ли?..

— Фи! Нет, вдесятеро хуже... доктор, ma chére!

— Доктор? Зачем?..

— Видишь, я больна, очень больна, не шутя больна... А он — представь себе, узенький бокал во фраке...

---

* Ах, господин доктор, у меня...
** Моя дорогая.

— Нельзя ли послать за ним? Я бы его помистифировала*.

— Нет, он больше не увидит моего дома! Представь, я ему говорю серьезно, а он отвечает мне: *пустое!* Так просто по-русски *пустое*! Точно кучер!..

— Ах он грубиян!..

Принесли лекарство, и княгиня с ужасом прочла на коробочке: цена 40 копеек серебром.

— Посмотри, ma chére,— закричала она кузине,— сорок копеек! Он мне прописал какого-то яда! Сорок копеек!

— Сорок копеек! — и кузина принялась хохотать.

— Да моей болонке, моему Caro, порядочный собачий доктор прописал пилюлю в двадцать пять рублей, а этот!..

— Да это магнезия! Чистая магнезия! — кричала в свою очередь кузина.— Ах он негодный! Он тебя хотел лечить магнезией!..

— Неужели?!.. И откуда мой дворецкий притащил подобного урода?

Дама позвонила.

— Он какой-то... Сев... рю... гин, Севрюгин! Какое имя! Севрюгин — это, кажется, рыба.— Кузина опять захохотала.

Обе приятельницы начали припоминать имена рыб по-русски: нашли осетра, стерлядь, добрались до севрюги — и опять захохотали.

Этому сильному смеху, кажется, обязан дворецкий, что его назвали только невежей и отправили сейчас с адресом за доктором кузины.

С ужасом выслушал новый доктор о поступке Севрюгина, посоветовал выбросить магнезию за окошко и прописал свое лекарство. Оно, изволите видеть, состояло из жемчужного порошка; за прием взяли рублей двести — пышная дама к вечеру выздоровела. Доктор кузины сделался ее домашним доктором, а о Севрюгине она рассказывала целые два вечера, как о величайшем невежде, который чуть-чуть было не отправил ее на тот свет.

Но обитатели залиговские, особенно богатые купцы, торгующие хлебом на пристанях под Смольным и Невским, как говорится, на руках носили Севрюгина; их простые, неиспорченные натуры оживали от его рецептов; притом, он был с ними обходителен и вежлив; всякому го-

* Мистифировать — дурачить.

ворил «вы» и... но вы знаете, что кумушки считали у Севрюгина до ста тысяч капитала.

Теперь обратимся к рассказу.

Когда женщина в салопе позвонила у двери Ивана Тарасовича, он спокойно, окутавшись в широкий шелковый стеганый халат, сидел в своем кабинете перед пылавшим камином, который в конце августа в добром городе Петербурге, право, можно считать разумною необходимостью. Иван Тарасович пил чай, курил сигарку и рассматривал какую-то анатомическую гравюру.

— Кто там? — спросил Иван Тарасович.

— Старуха какая-то, — отвечал слуга, — вас спрашивает.

— Проси.

Старуха вошла и рассказала, что у нее есть жилица, славная девушка, добрая-предобрая, и красавица такая; что эта жилица другой день как заболела и просит его пожаловать полечить.

— Что ж вы раньше не пришли?

— Да так, батюшка, сами то тем, то другим перемогались — нет легче! уж я и божьего масла, и нашатырного спирта доставала, всем ее терла, и пить давала — нет легче...

— Что ж с нею?

— А бог ее знает, болезнь должно быть; все пить просит, да колет, говорит, словно веретеном.

— В грудь или в голову?

— Про то не ведаю, батюшка.

— Коли так, поедем.

Доктор допил чай, оделся, взял первого извозчика и скоро очутился на Песках, в Матрешкиной улице, перед низеньким одноэтажным деревянным домом. У этого дома было два подъезда; над дверью одного была какая-то вывеска; несколько разбитых заклеенных окон в ряд от этой двери были освещены изнутри довольно ярко; там раздавался веселый громкий говор, порой песня, порой звон стекла. Над дверью другого подъезда не было вывески, и в соседних с ним окнах чуть мерцал свет.

— Тут, родимый,— сказала женщина в салопе, когда дрожки поравнялись с дверью без вывески, и, отворив дверь, прибавила: — Милости просим, мы люди хоть так себе, а все-таки чиновные.

В передней, она же была и кухня, взяла у доктора ши-

нель заспанная кухарка, и он вошел вслед за салопницей в следующую комнату по шаткому скрипевшему полу. Там, на столе, стояла нагоревшая сальная свечка, называемая пятериком; молодой человек, лежа на постели, протянул к свечке длинный чубук и раскуривал трубку. Какой-то старичок в полосатом халате писал бумаги; еще один человек, средних лет, завивался перед маленьким зеркалом, а четвертый вырезывал воротнички или нарукавники из листа белой казенной бумаги.

Иван Тарасович вежливо раскланялся с обществом; незнакомцы отвечали ему тем же.

— Это мои жильцы,— заметила салопница,— нанимают у меня углы; все народ хороший, благородный.

И точно, в комнате стояло четыре кровати, отгороженные, каждая особо, бумажными ширмами, так что любой жилец, спрятавшись за ширму, мог воображать, будто он дома сам в своей комнате. Подобного рода помещение очень нетрудно сыскать на Песках, на Петербургской, в Гавани и в других отдаленных частях города, и даже иногда в самых многолюдных центральных улицах вы увидите у ворот дощечку с надписью: *здесъ одаюца угли съ проситъ удъворъника.* Это значит, что какой-нибудь аферист или бедная, но благородная вдова наняла квартиру в две комнаты с кухней, сама живет на кухне, а в остальные комнаты, разгородив их двух с полтинными ширмами из обоев, пускает жильцов с платою рублей по десяти за месяц в передний угол, а подалее, к дверям, цена доходит до целкового. Иногда подобные углы занимает семейство белошвеек, иногда партия людей, которые из скудного жалованья должны быть каждый день сыты и прилично одеваться, чтоб не навлечь на себя подозрения в худом поведении и скрыть свою отчаянную бедность, потому что, признавшись в своей беспомощной бедности, они рискуют сделаться домашними езжалыми животными у людей постарше себя и умереть от чахотки, если не захотят испытать участи Уголино, описанной Дантом.

Пройдя мимо жильцов, салопница толкнула ногой дверь, ведшую в другую комнату; дверь жалобно взвизгнула и с басистым хрипом, очень похожим на трель контрфагота, отворилась. Доктор очутился в небольшой узенькой комнате об одном окошке. Из этой комнаты вела еще дверь в соседнюю комнату, но она не отворялась и была

заклеена по всем щелям газетной бумагой, что, впрочем, нимало не мешало слышать не только крики, но даже ровный разговор соседей.

— Ах, ты!..— крикнул кто-то за глухой дверью, когда доктор входил в комнату.

— Не беспокойтесь, батюшка,— сказала салопница, стараясь заглушить нескромное восклицание, — это не к вам речь. Знаете, у нас там питейное заведение, всякого народу бывает.

— Кабак, что ли?

— Оно, когда хотите, мужицкий народ и кабаком называет, да это ничего, хода нет, слава богу. Я и щелки заклеила: сама люблю покой, да и жильцам хочу, чтоб хорошо было. Я не какая-нибудь иная-прочая...

Во время этой речи Иван Тарасович окинул глазами маленькую комнату: ее стены были увешаны салопами, платьями и всякой полотняною ветошью, идущею в наряд женщин. Между этой драпировкой выглядывал презлой портрет какого-то героя; на лежанке горел ночник, стоял самовар, поднос с чашками, кофейник, безносый чайник, бутылка, заткнутая бумажкой, и сидел пестрый кот; у лежанки стояла кровать; далее, под стеной, стул на точеных толстых ножках, за ним стол, за столом еще жиденький стул с плетушкой; далее, у самого окна, другая кровать; на ней лежала больная; на окне стояла чашка без ушка́, накрытая бубновым валетом. Пол грязный; воздух тяжелый.

Салопница поднесла ночник к постели больной — и доктор остолбенел от удивления: на кровати лежала девушка лет восьмнадцати, красавица в полном смысле слова; тонкие, правильные черты ее лица, истомленные страданием, все еще были прекрасны; это лицо осеняли густые темнорусые кудри; маленькая ослепительной белизны ручка, обнаженная по локоть, небрежно свесилась с кровати; короткое одеяло открывало нескромно две ступни ножек, беленьких, крошечных, словно изваянных сладострастным резцом Кановы. Больная открыла глаза и умоляющим голосом прошептала: «Помогите, доктор!..». И что это были за глаза!.. Большие, томные, чистоголубые, как небо на картинах южной природы. Иван Тарасович молча глядел в эти прекрасные глаза: казалось, все силы души его оставили; он стоял под влиянием какой-то магнетической силы, не смея отвести глаз от больной девушки, не смея

пошевелиться, подумать о чем-либо, чтоб не нарушить неведомого ему доселе сладостного ощущения, которое наполнило все существо его.

— Спасите меня!..— прошептала больная.

— Хорошо, хорошо,— лепетал Иван Тарасович, еще не понимая хорошенько, что говорил он; но вдруг мысль об опасности беззащитной больной поразила его. Он ударил рукой по лбу, назвал себя чуть ли не дураком и принялся расспрашивать больную о ее болезни.

Хотя на этот раз Иван Тарасович, вопреки своей аккуратности, расспрашивал довольно странно, часто об одном и том же по три, по четыре раза и, очень понимая ответы больной, заставлял повторять их по несколько раз, чтоб слышать звуки голоса, так сладко потрясавшего его душу, однако понял, что девушка больна сильным воспалением, пустил ей кровь, прописал лекарство и безотчетно уселся у постели больной, наблюдая за его действием.

Время шло; за дверью утихал ропот речей, меньше брякали стаканы и бутылки; больная начала дремать. С улыбкой смотрел на нее Иван Тарасович. Вдруг за дверью чей-то голос не то пел, не то говорил, а лучше сказать громко произнес речитативом хриплого баса:

Как у дяди у Петра
Да поймали осетра!..

И несколько диких, дребезжавших голосов неистово гаркнули хором:

Ах дербень, дербень Калуга!
Дербень Ладога моя!..

Больная вздрогнула, открыла глаза; между тем опять прежний голос полуговорил, полупел то же самое...

И опять хор затянул прежний припев.

— Боже мой, это невыносимо! — сказал Иван Тарасович.— Вам не дают покоя! Вот я их уйму!

— Бог с ними,— отвечала больная, добродушно улыбаясь,— не трогайте их; мне лучше, я усну.

— Вам лучше? Неужели? Вам лучше?

— Да, я усну; и вам, я думаю, пора спать.

Доктор посмотрел на часы: была полночь.

— Ну, прощайте,— сказал он,— принимайте лекарство, а я вас навещу завтра.

Больная слабо пожала Ивану Тарасовичу руку, и он уехал, думая дорогой: «Что за ангел эта девушка! Как я засиделся!»

Любопытно бы знать, что он думал во всю ночь; по словам слуги его, он не спал и досвета ходил по кабинету. Но чужие мысли — темный лес!..

II

Мой брат двоюродный Буянов,
В пуху, в картузе с козырьком.

А. Пушкин.

Назавтра больной было лучше. Иван Тарасович застал у нее молодую даму, очень порядочно одетую, и толстого, высокого мужчину с огромными усами, одетого в шаровары, коротенький сюртук и пестрый жилет; на шее широкий галстук; в одной руке картуз, в другой красный фуляр.

— Ах, господин доктор! Как я счастлива, что могу лично изъявить вам мою благодарность,— сказала навстречу Ивану Тарасовичу незнакомая дама.

— И я также, и я также, милостивый государь мой! — говорил усатый мужчина.

— За что? — спросил Иван Тарасович, немного смешавшись.

— Вы спаситель, вы благодетель моей близкой родственницы,— продолжала дама.

— Да, да, уж не отговаривайтесь, благодетель! — продолжал усатый мужчина.

— Так это ваша...— начал было Иван Тарасович.

— Да, — перебила дама, — эта больная мне очень близкая родственница; она приехала ко мне в Петербург, занемогла еще дорогой, потеряла мой адрес и была в самом бедственном положении. Не знаю, что б вышло, если б хозяйка этой квартиры — добрейшая женщина — не взяла ее к себе, не приютила ее, беззащитную, и не отыскала доктора, известного редкими качествами своей души, то есть вас, Иван Тарасыч.

— А я вот ее муж, моей Марьи Ивановны,— прибавил усач, показывая рукой на даму.— Теперь понимаете?

— Понимаю, и очень благодарен за хорошее мнение. Но откуда вы знаете мое имя?

— Помилуйте! — возразила дама. — Вас весь город знает, если не лично, то по вашим добрым делам. Кто не знает благодетельного Ивана Тарасовича Севрюгина?

Иван Тарасович немного покраснел и взглянул украдкой на больную: она смотрела на него с такою любовью!.. Глаза их встретились, Севрюгин еще более покраснел, сделал больной два-три вопроса, торопливо прописал лекарство, раскланялся и уехал.

Весь день Иван Тарасович думал о своей странной больной. «Они, мне кажется, врут чепуху, притворяются, что-то скрывают,— думал он.— Бедная девушка больна, без присмотра, без помощи; лежит в нищенском углу, а ее родственники, повидимому, народ не бедный? Может быть, они не любят ее. Мало ли есть каких родственников! Так зачем они навещают ее? Зачем благодарят меня с такой заботливостью?.. Нет, опять какой-то бес сомнения овладевает мною; прочь его! Правду говорят, что самая неправдоподобная история есть истинная; не должно торопиться осуждать человека, хотя против него и много вероятностей. Иван Павлович тому пример. Добрый Иван Павлович! Я ему всем обязан; он даже закрыл глаза моей покойнице-матушке... Вот уже пять лет, как я лишился ее: добрая женщина не перенесла своего несчастья! И я остался один, один на белом свете!.. К чему мне мои деньги? К чему моя известность, когда не с кем разделить радости? А как бы полюбил я, как бы обожал существо, которое полюбило бы меня. Я угадывал бы ее мысли, чувства, малейшие прихоти; я был бы рабом ее — и гордился бы этим!.. Но кто меня полюбит? Меня, неуча, неловкого, безобразного?.. Правду говаривал покойный отец... Я никуда не годен... Посмотришь кругом — все молодые люди так развязны, так любезны; хоть иногда говорят и глупости, однако говорят мило, их слушают, они везде выигрывают, а я? Что я такое? Порой душа полна чувством, в голове бродят прекрасные мысли — начнешь говорить, выходит бог знает что! Захочешь поправиться, собьешься и — замолчишь... Скучно жить одному, право, скучно... Если б... что за глупости лезут мне в голову!..»

Так рассуждал целый день Иван Тарасович, а к вечеру опять навестил больную.

Прошло несколько недель; больная оправилась, доктор навещал ее часто, часто сталкивался с усатым родичем, и в последний приезд на вопрос его: «Ну что, каково

Аленушке?», должен был отвечать, скрепя сердце, что она совершенно здорова.

— Ну, так завтра переедет к нам. Спасибо вам, Иван Тарасыч; позвольте предложить вам... извините, чем богаты, тем и рады,— и усач сунул в руку доктора пятидесятирублевую ассигнацию.

Иван Тарасович не хотел брать денег.

— Помилуйте,— говорил усач,— какой дурак отказывается от денег?! Вы доктор; это ваше ремесло, ваш хлеб, с позволения сказать, а Аленушка девушка не совсем бедная, сможет заплатить.

— Но...— начал Иван Тарасович.

— Вы хотите меня обидеть,— перебила со слезами на глазах Аленушка.

Иван Тарасович крепко сжал в руке ассигнацию, покраснел и раскланялся.

— Не забывайте нас,— говорила ему вслед бывшая его пациентка.

— Навестите, навестите! — прибавил усач.— Мы вам очень рады, и я к вам когда-нибудь заеду; да заезжайте вы лучше; у меня есть собака с пребольшой бородавкой на носу, авось срежете, право!.. Я живу в Семиоконной улице, дом Заливаева.

— А я, дурак, еще думал...— ворчал себе Иван Тарасович. — Вот и конец комедии! Меня призвали, как ремесленника, заплатили — и счеты кончены; еще этот осел намекал о собаке с бородавкой... Тут именно неладно; мне очень подозрителен усач: он так вольно обращается с нею, будто с дочерью. Да какой он ей родственник?.. А чорт его знает, какой он ей родственник! Может быть, такой же, как и я!.. Только быть не может; она неспособна!.. А как она мило сказала: *не забывайте нас!* Нет, нет, не забуду, никогда не забуду и, умирая, вспомню твой гармонический голос, твои небесные глаза, твою томную улыбку!.. Никогда не забуду!.. А если это кокетство?.. Быть не может! А если это сказано из сострадания!.. Если она заметила мою глупую страсть и бросила мне слово утешения из милости, как медный грош попрошайке? Это вернее всего. Так забуду ж ее, не хочу знать ее, мне не нужно милостыни. Кончена комедия!»

«Начинается комедия. Сюда, сюда! Честные господа, посмотрите-ка туда; вот темное царство, многое множе-

ство людей, полтора человека с половиной!.. Эй, скорей, по грошу с глаза! Вот начинается комедия!..»

Иван Тарасович очнулся; он был у своей квартиры; здесь, у подъезда, стоял оборванный черноглазый мальчик с походной панорамой, вокруг него толпилась разная халатная сволочь; он хладнокровно, положа руку на ящик, отчетливой скороговоркой выхвалял свои картины и лукаво посматривал на народ. Иван Тарасович вздрогнул, когда встретился глазами с хитрым, насмешливым взглядом черноокого мальчика и быстро, почти бегом, бросился вверх по лестнице: за ним, словно насмешка, летели слова: «Комедия начинается!».

III

Oh! C'est un spectacle enchanteur que celui-ci!..

Ch. Nodier *.

Ох, што-то за гости едуць!..
Подкувками вогонь крешуць,
А хустками раздымаюць!
Выйди, доню, погляди,
А што они привезли?
— Привезли перину синюю,
А звенчали Марыску силою!..

Народная белорусская песня.

Иван Тарасович решился забыть свою прекрасную пациентку и каждый день думал с утра до вечера: «У нее чудные глазки, да что мне в них? А улыбается как! Да бог с нею, я не хочу ее знать...» Кажется, с подобными мыслями и легко бы забыть человека; но судьба как-то вмешалась непрошенная в это дело и действовала наперекор Ивану Тарасовичу: то он где-нибудь встречал темнорусые кудри, и услужливое воображение без его ведома сейчас же спешило сравнить их с кудрями Аленушки, чтоб, разумеется, дать предпочтение кудрям последней; то где-нибудь удавалось ему услышать голос, напоминавший речи Аленушки; то вдруг, прописывая больному противовоспалительную микстуру, он вспоминал, что такую точно микстуру он прописывал Аленушке, вспоминал ее страдания, ее взгляд и — задумывался над рецептом. Иногда,

* О! Это — очаровательное зрелище!.. *Ш. Нодье.*

возвратясь домой поздно вечером, усталый, измученный дневными заботами, с большим расположением к приятному отдыху, он был встречаем словами своего лакея: «Какой-то господин вас спрашивал».

— Какой?

— Незнакомый, с усами.

— Высокого роста?

— Высокого, такой здоровенный...

— Ну, знаю,— говорил Иван Тарасович и, ложась в постель, все еще долго думал: «Это он. Чего ему от меня хочется? Вот уж третий раз приезжает!.. А желательно бы знать, у него ли Аленушка?..» После такого вопроса не спалось бедному доктору; он ворочался с боку на бок; о сне и помину не было.

Пришла осень глубокая, грязная, ненастная. Вечером сидел Иван Тарасович у своего камина и читал книгу. Вдруг зазвенел звонок так сильно, будто кто хотел оборвать его, и в комнату ввалился усатый родственник.

— Насилу-то я вас поймал, батюшка! — кричал он, входя в комнату.

— Очень рад,— отвечал Иван Тарасович.

— Рад не рад, а я рад. Будь я анафема, если не четвертый раз заезжаю: полюбил человека да и только!.. Что прикажешь делать!

— Покорно вас благодарю.

— Не за что. А тут жена спрашивает: — Что делается с Иваном Тарасовичем; сестра тоже...

— Какая сестра?

— Сестра, братец, Алена Ивановна. Разве забыли больную-то Аленушку? А она помнит; все говорит: «Иван Тарасович просто,— говорит,— мой спаситель».

— Так она ваша сестрица?

— Как же, то есть, сестра моей жены — это все равно для меня родня — дело важное, чорт возьми!.. Кровь не вода, свой своему поневоле друг, говорится.

Усач захохотал. Иван Тарасович вздохнул свободнее, сам не зная отчего.

— Славный камин у тебя, Иван Тарасыч, право, славный; а чаю можно попросить стаканчик? Знаешь, этак с холода.

— С удовольствием. А на дворе холодно?

— Морозить стало.

— Слава богу!

— Именно слава богу: надоела эта грязь пуше пареной репы! И снизу грязь, и сверху грязь, и с боков грязь; думал: скоро лягушкой сделаюсь!.. То ли дело зима, да санная дорожка! Просто, братец, разлюли!.. Человек, дай трубку!

— Не угодно ли сигару? У меня трубки нет.

— Слуга покорный! Дались мне ваши сигары! Голова от них идет кругом, да и жена моя не жалует...

— У меня сигары хорошие.

— Все равно, все дрянь!.. Человек! Вот тебе гривенник, сбегай в лавочку, принеси полчетвертки Жукова; а трубка верно у тебя есть? Коли нет, попроси у соседей: я не съем, право не съем!

— Как это можно! Помилуйте, вы меня обижаете. Я сейчас пошлю за табаком.

— Для меня лучше, пожалуй, честь предложена, а от убытка бог избавил,— говорил усач,— только проворней сбегай, слышь? Так-то надо проучивать вашего брата,— и принялся хохотать.

Принесли табак и трубку. Усач пил чай, хохотал, выколачивал об пол трубку и, уезжая далеко за полночь, взял с Ивана Тарасовича слово навестить его.

«Экой медведь! — думал Севрюгин, выпроводив гостя. Впрочем, он, может быть, и добрый человек. Мне не нравится его фамильярность, его размашистые манеры, да, может быть, он и не виноват в этом; может быть, это принадлежность общества, в котором он провел свою молодость... Надо отдать ему визит; неловко не отдать визита... Что подумает его жена, сестра? Хотя мне и мало нужды до их мнения, однако они женщины, немного неловко, невежливо. Поеду, непременно поеду!».

Прошло два дня, холодные два дня с ветром, со снегом, с метелью. Иван Тарасович не отдал визита усачу: ему и хотелось сделать этот визит, и боялся он чего-то, боялся не усача, не жены его, не сестры, а всех вместе, боялся дома, квартиры, сам не знал, чего боялся.

«Нет,— думал он каждое утро,— сегодня гадкая погода, не поеду сегодня; в такую погоду совестно собаку выгнать из комнаты: какие теперь визиты? Но я поеду же к больным? Это другое дело: для обязанности нет погоды, а визиты потерпят».

И Севрюгин был очень рад своей отговорке, хоть бог

знает отчего проезжал по Семиоконной улице раза три-четыре без всякой надобности и возвращался домой, очень недовольный собою. На третий день утром метель утихла, небо прояснилось, мороз навел легкие узоры на стеклах; первые лучи восходящего солнца просвечивали их огнисторозовым цветом и весело сверкали мириадами искорок. Иван Тарасович оделся наскоро и пошел к одному больному. Зимнее утро было очень приятно; легкий мороз очистил воздух; ветра совершенно не было; дым голубыми столбами высоко подымался над крышами, снег хрустел под ногами. Ивану Тарасовичу так легко стало на душе: на него нашла такая решительность и отвага, что он решился непременно сегодня сделать визит усачу; начал придумывать, какую лучше фразу сказать Марье Ивановне и Алене Ивановне... Тут воображение его разыгралось, строило самые романические воздушные замки, утопало в каком-то упоении блаженства, тишины и спокойствия, которым позавидовали бы и Лафонтен и Дюкредюмениль. Доктор шел, погруженный в поэтические мечты, под наитием какого-то самозабвения, и нашептывал восклицание из романа «Природа и любовь»: *я добр, Фани! Я добр, Фани!*

«Ди, ди! Берегись!» — раздалось над самым ухом мечтателя.

Доктор очнулся. Он был на перекрестке; с боковой улицы мчались санки; в санках сидела молодая дама, пышно разряженная; от быстрой езды зеленый вуаль ее шляпы откинулся в сторону; ухарский извозчик-лихач — необходимое лицо для всех гуляк, мотов и купеческих сынков — натянув вожжи резвого бегуна, сидел на козлах вполоборота к даме и что-то говорил ей; дама весело щебетала с ним, с улыбкой поглядывая во все стороны.

Иван Тарасович остановился, когда санки пролетели у него перед носом, и хотел было идти далее, но его заняло одно странное обстоятельство: навстречу ему шла девушка в незавидном коричневом салопе и вдруг, увидя его, быстро накинула себе на голову красный платок и своротила в боковую улицу. Это было делом одной секунды; однако сердце Ивана Тарасовича сильно забилось: ему показались знакомыми черты лица незнакомой девушки; он более по инстинкту готов был держать пари на жизнь и смерть, что девушка в красном платке — Алена Ива-

новна, и страшный холод пал на сердце доктора; он остановился, глядя на уходившую девушку; но когда она тревожно оглянулась, Иван Тарасович не выдержал и безотчетно бросился преследовать красный платок — смею вас уверить, в первый раз в жизни.

Девушка, видя за собою погоню, удвоила шаги; доктор утроивал, учетверял их, даже сбивался на рысь. Зрелище было трогательное и поучительное... чисто в петербургских нравах.

В одно прекрасное утро добрые математики догадались, что Ахиллес, этот здоровый, храбрый воин и неутомимый ходок, наделавший столько чудес в древности, никогда не может догнать черепахи, которая, как известно всему свету, не отличается быстротой своих ног. Догадались, поздравили друг друга и напечатали это открытие.

Я не спорю против этого *открытия;* но Иван Тарасович далеко уступал Ахиллесу в мужестве, быстроте и проворстве. Девушка в красном платке далеко превосходила в ходьбе черепаху, а все-таки Иван Тарасович догнал девушку, которая, видя, что убежать нельзя, остановилась; Иван Тарасович тоже остановился. Оба молчали.

— Что вам угодно? — спросила наконец девушка.

Сердце доктора вздрогнуло: он узнал *ее* голос...

— Вы ли, Алена Ивановна? — спросил доктор смущенным голосом.

— Если бы и я, чего вы хотите от меня?

— Ничего; я только хотел узнать, увериться, удостовериться... такая нечаянность... извините...— и, говоря это, доктор пятился назад.

— Иван Тарасыч, не обижайте меня!

Алена Ивановна опустила с головы платок; на ее ресницах дрожали слезы; ее личико, разрумяненное утренним холодом, было так свежо, так добродушно-хорошо, так детски-невинно...

— Я...— говорил вполголоса доктор, не спуская глаз с девушки,— извините меня, я сам не знаю, что со мною... Я виноват, Алена Ивановна, не проклинайте меня!

Алена Ивановна слегка закусила нижнюю губу, будто удерживая смех, покачала головой и сказала:

— Я не могу вас проклинать: вы мой спаситель; ваше имя навсегда останется в моем сердце; но имею полное

право сердиться: зачем вам обижать бедную девушку? Зачем преследовать меня?

— Ваша странная одежда...

— Чем же эта одежда странна? Разве вы не знаете, что я бедна?

— Нет, я не то хотел сказать... Такой наряд, такая ранняя пора... такая скрытность...

— Перестаньте, это недостойно благородного человека... Ваши подозрения, ваши предположения... унижают вас... Прощайте!.. Идите своей дорогой, не гоняйтесь за девушками: это гадко; я лучше о вас думала.

Алена Ивановна ушла.

— Я, право, не так виноват... Послушайте!.. Не слушает!.. Экая досада!.. Бог с ней!..— Иван Тарасович поворотился и пошел к больному.

Весь день прошел нехорошо для Ивана Тарасовича; все его больные, казалось ему, чувствовали себя гораздо хуже в этот день, больше прежнего кашляли, сильнее сморкались, неправильно принимали лекарства; даже он был крепко уверен, что один старичок надул его: вылил в печку лекарство и просил нового, послаще и подушистее.

— Меньше было кутить! — сказал доктор с досадой.— Сладко было жуировать, попейте неприятного!.. Помните изречение: от горького изыдет сладкое...

— Изречение это я знаю, да оно тут не приходится,— заметил старичок обиженным голосом.

— Приходится, не приходится — все равно,— торопливо сказал Иван Тарасович, взял шляпу и почти убежал от старика, тщетно кричавшего ему вслед: «Да чем же мне волоса мазать, а? Этак я, пожалуй, совсем облысею!..»

Иван Тарасович навестил больных, не был у усача и, приехав домой, не мог ничего есть за обедом: душа его была взволнована, в голове шумело; он раскурил сигару — сигара не курилась; бросил сигару, достал свой дневник и начал писать:

«Я несчастен!.. Да, я несчастен, а почему? Отчего несчастен я — не могу объяснить себе. Все в моей жизни как-то не клеится; может быть, судьба и ласкает меня, может быть, и хочет что-нибудь сделать для меня, да я ее не понимаю, я... Правду говорил мой покойный батюшка, я просто дрянь! И что я такое? И что она?.. Бог ее знает!..

Загадка, тайна!.. Во всяком случае тайна нехорошая. Благодарю судьбу, что она открыла мне глаза... Да, девушка, которая ни свет, ни заря, бегает по улицам одна-одинёшенька, и еще прячется от своих знакомых, девушка, недурная собой, даже, можно сказать, очень хорошенькая, прелестная девушка!.. Мне не нравится! Что о ней подумать?.. Или очень гадко, или ничего; но нельзя же ничего не думать о такой девушке, нельзя забыть этот алмаз, втоптанный в грязь обстоятельствами. Может быть, ее душа белее утреннего снега, по которому бежала она сегодня; может быть, она чище луча, который так мило играл сегодня на ее прекрасном лице, когда она говорила со мной!.. Может быть, бедность, нужда, лишения заставляют ее рано выходить из дома и доставать себе работу? Мало ли есть подобных примеров! Ее родственники люди достаточные; да всякий ли родственник исполняет свои обязанности? Да, наконец, есть ли это еще обязанности, и мало ли бывает нужд у людей сострадательных, в которых они не станут признаваться никому, даже человеку близкому? Утешит ли, например, меня, если я займу пять рублей с тем, чтоб никогда не отдать, и подарю их бедному?»

«Я почти уверен, что напрасно оскорбил подозрением Алену Ивановну. Может ли это скромное, прекрасное, добродушное создание даже подумать о пороке?.. Нет, прочь подозрительность! Я обидел ее — и должен терпеть. Я виноват, очень виноват; я, кажется, не вынесу ее взгляда, если когда-нибудь встречусь с ней... Все кончено!.. Нога моя не будет у ее брата... Верно не судьба моя!.. Что она теперь обо мне думает? Или что я способен подозревать ее, или я способен бегать за всяким встречным салопом!.. Во всяком случае, я черен в глазах этого чистого, светлого существа!.. Боже мой, до чего меня довела судьба!.. Или случай, или я сам — не понимаю, что такое!.. Ничего я не желаю, как только встретиться еще раз с нею, не для того, чтобы засмотреться в ее спокойные лазурные очи, не для того, чтоб успокоить свой взор на тонких, правильных, благородных чертах лица ее, чтоб упиться гармоническою речью — нет; я хотел бы упасть к ногам ее, хотел бы исповедать ей свою душу, вымолить ее прощение... Одна мысль, что она не понимает меня, может быть, обвиняет меня, одна эта мысль отравляет все мои минуты!.. А может быть — что унизительнее всего — она теперь

смеется надо мною?.. Нет, она далека от холодной насмешки!.. Хотел бы... но это невозможно, наши отношения прерваны навеки:

Мне до нее, как до звезды
Небесной, далеко!

Эти строчки — не помню какого поэта — будут моим девизом отныне навсегда. Все кончено. Боже мой! Как я несчастен!..»

Эту страницу в своем дневнике Иван Тарасович написал не сразу. Он часто вставал, ходил по кабинету, приписывал несколько строчек, опять ходил и так далее... Может быть, он написал бы и больше, но сумерки становились темнее и темнее и, наконец, лишили его возможности писать. Настал вечер. Свечей зажигать не хотелось Ивану Тарасовичу: в темноте, видите, мечтается лучше, и он, чего не дописал, договаривал, лежа на мягкой кушетке. А что договаривал? Бог знает!

Иван Тарасович лежал на кушетке до тех пор, пока не явился в кабинет со свечой в руках его камердинер и подал ему записочку.

«Доктор И. Севрюгин, Невский Проспект, дом №№...», — прочитал Иван Тарасович на записке и спросил у слуги: — Откуда это?

— Дворник принес; говорит, приехал возок: просят вот этого доктора, что в бумажке написан: знать, говорит, твоего барина. А ему кучер отдал с возка.

Иван Тарасович сел в возок, кучер захлопнул дверцы, влез на козла, махнул кнутом, пара кляч рванула с места, возок сильно качнулся и тихо пополз, переваливаясь на рессорах. Теперь только заметил доктор, что в темном углу возка сидит кто-то.

— Куда и с кем я имею честь ехать? — спросил Иван Тарасович.

— К больной; я буду вашим проводником... — робко, вполголоса, отвечал из угла женский голос.

Иван Тарасович отодвинулся и притаился, сколько можно, в противоположный угол возка.

— Позвольте узнать... извините, — начал Иван Тарасович,— такое поразительное сходство голоса...

— Полно, Иван Тарасович, вы сегодня другой раз хотите меня допрашивать...— перебила дама.

— Так я не ошибаюсь? Боже мой! Неужели вы — Алена Ивановна?

— Что же тут удивительного?

— Ничего, ничего...— пробормотал Иван Тарасович и подумал: — «Я тут ничего не понимаю!..»

Возок ехал. Алена Ивановна притаилась в углу возка. Иван Тарасович, казалось, врос в другой угол. Оба молчали.

— Ох!

— О чем вы вздыхаете? — спросила Алена Ивановна.

— Ничего, так...

— Быть не может! У вас что-то есть на душе, правда? Что ж вы молчите?

— Если уж вам хочется знать, то есть... Вы сердиты на меня?

— Да; но вы можете легко помириться со мной; у меня есть подруга по воспитанию, девушка очень милая, умная, дочь богатого человека, но скупого и жестокого, который ее ненавидит. Вы представить не можете, как жалко ее положение...

— Извините, очень могу... я сам это... жалко, жалко!

— Теперь моя бедная подруга заболела, отчаянно заболела, а отец ее не только не хочет послать за доктором, даже отказывает ей в самых простых домашних пособиях, жалеет ей ложки малинового сиропа, не велит принимать ее знакомых, чтоб они не узнали всей тяжести несчастья бедной больной, так что я сегодня, из сострадания, навещала страдалицу рано утром, пока спал ее тиран-отец; для этого я должна была переодеться, вытерпеть кучу неприятностей...

— Не говорите... Не говорите!..— перебил доктор.— Простите меня! Я дурак, я всему причиной... и я смел думать, я смел оскорбить... вас...— И оставя угол, он немного придвинулся к Алене Ивановне.

Алена Ивановна наклонилась к доктору и подала ему свою ручку, говоря: «Перестаньте, мы с вами помиримся, я это вижу!..»

— Нет, не перестану,— продолжал доктор, сжимая в руках нежную, атласистую ручку девушки,— никогда не прощу себе, если я навел хоть тень печали на вас, на это чистое, светлое существо, за которое я готов пожертвовать всем...

— Полно, доктор; уж не признаетесь ли вы в любви?..

Доктор опустил руку девушки, прислонился в угол и замолчал. «Смеется надо мною! — думал он. — Да! Ей легко; а мне?.. И к чему такой вопрос? Нет, она меня не любит, иначе она не говорила бы этого; она любит другого — это верно, а я, бедный, что я для нее? — ничего, ровно ничего!.. Никогда она не узнает моей тайны».

— Что ж вы замолчали? Говорите!

— Говорить не́чего...

— Напрасно. Мы, женщины, сочувствуем всегда страданиям ближнего.

«Не надуешь,— подумал Иван Тарасович,— ты говоришь, чтоб выпытать у меня признание и после смеяться надо мной — стара штука!» — и отвечал дрожащим голосом: — Я спокоен совершенно, мне нечего говорить.

— Тем для вас лучше.

«Тем для вас лучше! — повторил про себя Иван Тарасович.— Спасибо хоть за сожаление...» и прибавил громко: — Что же ваша подруга?

— Ах, да́! Моя подруга несчастна; я ее застала почти без памяти... Как она страдает, бедняжка!.. Я ей обещала привезти доктора; узнав, что ее отец уехал на званый вечер и возвратится не ранее двух-трех часов за полночь, я решилась нанять возок и просить вашей помощи, добрый Иван Тарасыч! Помогите ей — и мы помиримся.

— Все мои знания, все мои силы употреблю, чтоб сделать вам приятное, будьте уверены! — сказал доктор и подумал: — «Боже мой! Что за чистое существо! Что за любовь к человечеству у Алены Ивановны!.. Девушка образованная, умная, прелестная девушка, подвергает себя всяким опасностям, даже рискует накликать черную клевету на свое имя — из-за чего? чтоб помочь своей подруге, угнетенной родительскою властью!.. Да она феномен!.. Верь после этого резонерам, пустым фразерам, которые кричат: «Нет добродетели! Нет добродетели!.. Хотел бы я знать, как бы они назвали Алену Ивановну?..»

Возок ехал, покачиваясь. Пассажиры молча сидели по углам.

— А далеко живет ваша приятельница? — спросил доктор.

— Вам уже наскучило ехать? Когда приедем к дому, я велю остановиться.

— Нет, помилуйте! Могло ли мне наскучить ваше общество!..

— Я думала, вы вздремнули.

— Возможно ли?.. Вы меня обижаете... А я, извините, я так неловок, не мастер говорить... видите, я редко бываю в дамском обществе.

— Это заметно.

— Чем же больна ваша приятельница?

— Она больна, как хотите, простудой и еще... ну, да с вами я стану говорить откровенно, она больна душой.

— Плохо! Душевные болезни гораздо упорнее физических, тем более, что мы не имеем никаких средств против них; а если и нашлось бы какое средство, то оно почти всегда бывает не в нашей воле...

— Совершенная правда! — сказала, вздохнув, Алена Ивановна.

— Какая же причина ее душевной болезни?

— Причина, которую вы, холодные мужчины, кажется, не понимаете, которая создана для мучения слабых, чувствительных от природы женщин; которая томит, сокрушает, сушит бедное сердце страдалицы, словом — любовь.

— Ваша подруга влюблена?

— Да, и безнадежно... Ах, если б вы поняли ее страдания, если б поняли отчаянное состояние души бедной девушки... Но вы не поймете, я думаю. Вы никогда не были влюблены?

Два противоположных чувства боролись в груди доктора: ему то хотелось тут же, в возке, броситься на колени перед Аленой Ивановной и по всем правилам старинных романов признаться в любви, то вдруг его обдавала холодом мысль: «Если она насмеется над моею любовью, если отринет ее? Если я сделаюсь смешон в глазах этого прекрасного существа? Да и чем я могу прельстить девушку?» После таких мыслей он, помолчав немного, отвечал дрожавшим голосом: — Нет, никогда!..

— Я так и думала. Вы все, мужчины, эгоисты; у вас вместо сердца должен быть в груди камень...

— А неужели женщины?..

— Все, все согреты прекрасным огнем любви; в этом и состоит превосходство нашей натуры: все женщины любят и любят пламенно...

— Неужели и вы?

— На подобный вопрос женщины не всегда отвечают; но вам, как моему спасителю, я скажу: *да*... Пожалейте обо мне, я влюблена и безнадежно...

«Так и есть! — думал доктор, прижимаясь покрепче в свой угол,— а я, дурак, мечтал! Верно у нее есть уже на примете какой-нибудь красавчик перетянутый, румяный, с усиками: она по нем вздыхает, о нем думает — а я мечтал... Заблуждался, хоть на секунду, да все заблуждался, забывал, кто я, и каков я!.. Слава богу, что я не сглупил, не высказал ей своей любви; хорош бы я был!..» Ему стало холодно, тяжело, неловко...

— Что вы молчите?

— Думаю, Алена Ивановна, как мы далеко едем.

— Ваша правда,— сказала девушка, опустила окно возка, выглянула и вскрикнула: — Ах, боже мой! Да мы давно миновали квартиру больной; перед нами, кажется, Нарвская застава.

Возок поехал обратно. И Алена Ивановна и Иван Тарасович молчали. Наконец, у какого-то каменного дома Алена Ивановна приказала остановиться, опустила окно, подозвала дворника, стоявшего у ворот, и спросила: «Дома ли Петр Петрович?»

— Дома-с.

— Как, возвратился?

— С час места, как приехавши.

— Извозчик, пошел дальше!—сказала Алена Ивановна, подымая окно, и потом прибавила: — Ах, боже мой! Ведь отец моей приятельницы уже дома. Что мы теперь будем делать, Иван Тарасыч?..

— Не знаю. Куда ж мы теперь поедем?

— И я не знаю; мне теперь нужно потороииться домой: я давно из дома; сестра и братец станут беспокоиться...

— Так позвольте, я выйду и поеду на извозчике.

— Нет, уж я вас довезу; мне так совестно! Кто же знал, что этот урод приедет так рано?..

— Напрасно беспокоитесь. Верно не судьба мне помочь этой девице, а домой я скорее доеду на извозчике; ваш возок едет довольно медленно.

— А мне кажется, что вы ей поможете, не сегодня, так когда-нибудь: у меня есть предчувствие...

— Так прощайте, Алена Ивановна! Позвольте, я здесь выйду из возка...

— Как вам угодно.

— Прощайте. Извините меня, я так неловок в дамском обществе..

— Я не спорю с этим. До свидания. Заезжайте к моему брату, он так вас любит!.. Да не говорите, что мы ездили к больной.

— За кого вы меня принимаете? А к вам я заеду непременно.

— Увидим!

Возок уехал. Иван Тарасович взял за двугривенный извозчика и тоже потащился домой.

IV

Cette demoiselle âgée de 18 ans environ, et parfaitement belle comme vous voyez, a été trouvée il y a quinze ou seize mois, dans les forêts de la Lithuanie. Elle vivait comme les animaux...

... Si vous voulez vous donner la peine d'entrer, messieurs et dames, vous verrez cette demoiselle...

Pommier *.

Ивану Тарасовичу вовсе не хотелось ехать к усачу, но он поехал на другой же день после странной прогулки по городу в возке; он считал необходимостью побывать у родных Алены Ивановны для того, чтоб они не подумали, будто он влюблен в нее и не хочет ее видеть! Мысль довольно дикая, но ее создал Иван Тарасович, уверив себя в непреложности этой мысли, и вечером довольно отважно дернул колокольчик у двери одного дома в Семиоконной улице, за которою дверью скрывался усач, его жена и ее сестрица.

— Спасибо, брат, спасибо! Вот, что называется, разодолжил! — кричал усач, крепко обнимая Ивана Тарасовича.— А мы только что уселись за чай. Пойдем! Жена! Вот тебе Иван Тарасович! — С этим словом он почти втолкнул доктора в другую комнату.

Там на диване сидела Марья Ивановна; перед ней стоял стол, на столе две свечки, самовар, чашки и все принадлежности чайного прибора.

---

* Эта девушка, которой приблизительно 18 лет и которая совершенно очаровательна, как вы видите, была найдена 15 или 16 месяцев тому назад в лесах Литвы. Она жила, как живут звери...

... Если вы потрудитесь войти, милостивые государи и государыни, вы увидите эту девушку...

Помье.

— Насилу-то вы нас навестили! — сказала очень приветливо Марья Ивановна и просила гостя садиться поближе к столу, без церемонии.

Иван Тарасович сел, окинул глазами комнату — в комнате никого не было. «Слава богу,— подумал он,— ее нет», а между тем, ему стало отчего-то скучно. Немного погодя, скрипнула дверь; он боязливо посмотрел на дверь: из-за нее выбежала красивая болонка, вспрыгнула на диван и стала ласкаться около хозяйки.

«Тише, тише, Жоли! — сказала Марья Ивановна.— Пошла лежать!» — А мы так по вас соскучились, Иван Тарасыч!.. И муж мой, и я, а больше всех бедная Жюли!..

Иван Тарасович посмотрел в оба глаза на болонку и спросил: — Кто такой?

— А вы и забыли? Прекрасно! Жюли — сестра моя, Юлия Ивановна, которую вы избавили от смерти.

— Я думал, они Алена Ивановна?

— Ха-ха-ха!.. Какая она Алёна Ивановна! Это тебя надували! Она всегда была Юлией.

— Полно тебе, Фоня, перестань! Ты вечно выражаешься топорно! Что у тебя за манера! — сказала мужу Марья Ивановна...

— Перестану, перестану, не горячись: кровь испортится.

— Не слушайте его, Иван Тарасыч. Я вам расскажу все дело. Вы знаете, как моя сестра, приехав, заболела и должна была по необходимости жить в бедном углу, пока мы не отыскали ее. Вот она, чтоб не марать своего имени и фамилии, живя в таком низком обществе, назвалась Аленой Ивановной, между тем ее имя Юлия, и фамилия наша не Ивановы, а Елечкины, фамилия, известная во всей губернии...

— Ну, довольно, жена, давай-ка чаю! Баснями соловья не кормят. Ты ее, Иван Тарасыч, и до завтра не переслушаешь...

— А где же наш Юлок? — спросил усач, прихлебывая горячий чай из необъятного стакана.

— Ах, боже мой, Фоня! Какие ты странные имена даешь!.. Юлия, ты знаешь, все как-то недомогает!.. — И Марья Ивановна вздохнула.

— Пустяки! Позвать ее! Я знаю, ей приятно будет наше общество.

Иван Тарасыч сидел как на иголках.

Вошла Юлия Ивановна, бледная, истомленная.

— Что с вами? Не больны ли вы? — спросил с участием Иван Тарасович.

— Нет, это пройдет, — отвечала она, печально улыбаясь.

Появление Юлии Ивановны сбило с такта все маленькое общество: усач перестал кричать, Марья Ивановна вздыхала, значительно поглядывая на сестру; Иван Тарасович добивался вкусу в чае: то прибавлял сахару, то воды, то опять сахару, и все выходило какое-то пренеприятное, препротивное питье. Наконец, Юлия Ивановна вышла. Доктор вздохнул свободнее и заметил вполголоса:

— Как ваша сестрица переменилась! Не больна ли она?..

— Ах, молчите! — отвечала, вздыхая, Марья Ивановна.— Очень больна, и я думаю, неизлечимо... Бедная!

— Что с нею?

— Я вам скажу правду. Вы человек благородный и уж раз спасли ей жизнь: вам можно открыть эту тайну. Бедная Юлия влюблена, да, отчаянно влюблена и, кажется, безнадежно! Жалко мне сестры! Что это за душа!.. Неземное создание!.. И как она беспредельно, пламенно любит! Я даже завидую этому человеку...

Иван Тарасович как-то глупо кашлянул и сказал:

— Неужели?

— Да, мой добрейший Иван Тарасыч!.. Может быть, я лишусь этого ангела: она сгорит тихо, как свечка, и погаснет...

Тут Марья Ивановна отерла слезу.

— Но разве этому нельзя помочь? Неужели найдется человек, который бы мог не оценить подобной любви такой совершенной девушки, как ваша сестрица?

— Может быть, и найдется! Человек, которого обожает моя сестра, почти знает, или должен бы знать об этом; но он или не хочет, или не может понять ее.

— Быть не может! Желал бы я увидеть, кто это отталкивает от себя счастье всей своей жизни. Кто он, скажите!

— Не много ли будет, Иван Тарасыч? Не рассердитесь ли вы?

— За что? Помилуйте!

— Ну, так знайте, что она любит — вас!..

— Меня?!. Это слишком, Марья Ивановна! Я не верю своему счастью. Не шутите так!..

— Да, да, брат, правда, тебя любит! Вот как любит!.. — говорил серьезно усач, печально покачивая головой.

— Вы еще не знаете, Иван Тарасыч, что с того дня, как вы вылечили Юлию и оставили ее, она потеряла душевный покой: она думала о вас, страдала по вас, каждый день утром она, одетая в простой салоп, чтоб не быть узнанной, ходила по вашей улице мимо вашего дома, с одной целью: хоть издали посмотреть на вас, когда вы будете выезжать к больным, и послать вам мысленно благословение...

— Неужели?.. Так это...

— Погодите, я вам открою всю душу моей бедной Юлии... Ни наши просьбы, ни угрозы не могли остановить ее от этих путешествий... Вчера она, бедная, весь день проплакала, говорила, что вы ее заметили, что на нее сердитесь; что она унижена в глазах ваших и должна непременно оправдаться. Вечером она уехала к одной своей знакомой, и когда возвратилась оттуда, вся в слезах, простонала целую ночь, и на все мои утешения, на все ласки только одно отвечала: «Дайте мне умереть! Он меня не любит». Где вы с нею виделись, или она от кого это стороной узнала — я решительно не знаю; знаю только, что в одну ночь Юлия постарела десятью годами; таких две-три недельки — и я буду рыдать над ее трупом! Я кончила. Что вы скажете, Иван Тарасыч?

— Марья Ивановна, я не верю ушам своим: неужели это не сон?

— Нет, не сон, кой чорт сон! Ущипни себя, увидишь, что не сон,— заметил усач Фоня.

— К несчастью, не сон,— сказала Марья Ивановна.

— К счастью, к счастью, Марья Ивановна! Я никогда не ожидал подобного счастья! Да, знаете, коли на то пошло, сколько я ночей не спал, думая о Юлии Ивановне!

— Неужели?

— Клянусь вам!..

— Так, видно, здесь рука божия,— сказала торжественно Марья Ивановна.— Юлия! Юлия! Поди сюда...

— Что вам угодно?

— Обними скорее твоего жениха — Ивана Тарасыча.

— Шампанского! — закричал Фоня.

Пробка хлопнула, все стали поздравлять друг друга. «С чем?», они говорили: «Со счастьем».

Иван Тарасович просил не откладывать свадьбы; его нареченный братец и сестрица находили это очень благоразумным и, с своей стороны, торопили доктора. Доктор объявил, что он хочет взять жену в лице Юлии Ивановны, а не тряпки, которые называются приданым. Усач и его жена назвали Севрюгина благороднейшим существом и взяли тысячу рублей серебром для покупок белья; брильянты он хотел сам купить. Через два дня Марья Ивановна объявила, что денег не хватило, и взяла еще тысячу.

Иван Тарасович ходил, не чуя под собой земли; лицо его было торжественно, озарялось каким-то особенным блеском счастья...

— Что с вами? — часто спрашивали его знакомые.

— Ничего,— отвечал он,— а что такое?

— Ничего, — говорили приятели, — вы так смотрите весело, уж не именинник ли вы?

— Нет, право, нет; я летом именинник, 24 июня.

— Ну, так не женитесь ли вы?

— Вот еще выдумали! Есть мне время жениться!

— Полноте, признайтесь, женитесь? Уж недаром с вами такая перемена.

— Не в чем признаваться, господа. Если б женился, так это дело законное, незапрещенное, сказал бы прямо: *женюсь,* без всякого признания, а то нет...— говорил Иван Тарасович, и очень был рад, когда приятели оставляли его в покое. Он считал свою женитьбу на Юлии Ивановне таким счастьем, какое трудно и во сне увидеть, и боялся, чтоб кто-нибудь не расстроил его свадьбы. «Люди есть гадкие на свете, — думал Иван Тарасович, — им чужое счастье в глаза лезет; они порой, как собаки на сене: и сами не едят и другому не дают. А как обвенчаюсь, тут уж не отобьют!».

Вследствие таких рассуждений, никто не знал о скорой свадьбе доктора Севрюгина, пока, накануне одного прекрасного дня, довольно поздно вечером не получили многие из знакомых доктора и его невесты печатной записки на атласистом листке с золотыми тиснеными амурами и рогами изобилия, записки следующего содержания: «Отставной штабс-капитан Афанасий Афанасьевич Афанасьев и супруга его Марья Ивановна, в радости сердца извещая о бракосочетании своей сестрицы Юлии Иванов-

ны Елечкиной с ...м доктором Иваном Тарасовичем Севрюгиным, покорнейше просят пожаловать к венцу к шести часам в ...ю церковь, а оттуда на их квартиру, в Семиоконной улице в доме, на правой руке, сапожника Бурмейстера».

Венчали Ивана Тарасовича довольно торжественно: церковь была освещена великолепно, певчие пели прекрасно, народу полна церковь. Много было, разумеется, баб и всякой праздной сволочи, но было много и штатских и офицеров, даже присутствовало несколько лиц, украшенных сединами и весьма почетными отличиями... Чего бы, кажется, больше? Перед глазами такой почет, рядом бок о бок прелестная жена, только бы улыбаться Ивану Тарасовичу, а он тут же, под венцом, уже начал хмуриться: вдруг на него налетела со всех сторон куча маленьких неприятностей, которые, собираясь мало-помалу на горизонте жизни, иногда составляют страшную, разрушительную громовую тучу: то ему казалось, будто шафер Юлии Ивановны, молоденький офицер, в серебряных эполетах, что-то шепчет ей и лукаво улыбается; то какая-то голова в очках довольно фамильярно кивает им. Кажется, голова незнакомая, значит она жене кивает,— думал Иван Тарасович и косился на голову в очках; то слева шушукали бабы: «Быть ей старшей в дому; слава богу, она, голубушка, первая стала на ковер». То справа какие-то молодые ветрогоны толковали вполголоса:

— А как, mon cher, об этом думаешь? — говорил один голос.

— Я думаю вот так...— говорил другой.

— А я вот этак...— прибавил третий.

«Что за охота мешаться людям в чужие дела?!» — думал Иван Тарасович, но сердце его сжималось от досады: — «Какое дело этим ветрогонам до моей жены?»

— А хороша! Красавица! — сказал кто-то сзади.

— Она ему поправит прическу,— отвечал кто-то таким решительным, хладнокровным голосом, что Иван Тарасович оглянулся.

За ним стояла целая стена лиц, бакенбард, воротников, усов, лорнеток, эполет,— и это все жило, шевелилось, мигало глазами; ему показалась эта толпа стоглавым чудовищем, баснословной гидрой, готовой схватить его вместе с женой, обезобразить и растерзать, изувечить и с хохотом выбросить для позора на улицу... Страшно стало Ивану

Тарасовичу; лихорадочная дрожь пробегала по его телу. И он печально, с отвращением, почти с ужасом принимал поздравления от улыбавшихся разряженных гостей своих.

Даже дома, на свадебном вечере, не мог развеселиться Иван Тарасович.

— Полно вам скучать! — несколько раз говорил ему толстый помещик Репкин, сосед по деревне матушки Юлии Ивановны. — Вот я нарочно остался на сегодня, чтоб передать старухе радость; а то мне некогда: завтра чуть свет ускачу.

— Я не скучаю.

— И прекрасно: после смерти нет покаяния! Вспомните, что сделали доброе, христианское дело — и вам станет весело.

«Он, верно, с ума сошел, или выпил лишнее»,— думал Иван Тарасович, пожимая плечами.

Гости пили, ели, танцевали и понемногу начали разъезжаться. Чем менее оставалось в зале гостей, тем веселее становился Иван Тарасович, а Юлия Ивановна делалась скучнее, задумчивее; порой она опускала глаза и краснела до ушей, порой вздрагивала и бледнела. «Бедное существо! — думал Иван Тарасович.— Как она счастлива!» и горячо целовал белую, нежную ручку своей жены...

Наконец, гости разъехались. Иван Тарасович увез молодую жену к себе; его провожали несколько человек родственников. Перед его квартирою стояли два-три экипажа; в квартире горели огни, хлопали пробки, шумел и пел усатый братец: но братец скоро затих, экипажи исчезли огни погасли в окнах, и темная ночь все скрыла своим таинственным, непроницаемым покровом: и пышные здания, и бедные домики, и богачей, и нищих, и счастливых, и бедовиков, и квартиру Ивана Тарасовича, и его самого с молодой, хорошенькой супругой. Кто засыпал упоенный восторгом, кто — убитый горем, а время шло над миром своими мерными, быстрыми шагами, принося и унося с собой и горе и радости; черные тучи, как полы его исполинской мантии, развивались, клубились, неслись в темной вышине над Петербургом и исчезали во мраке...

Вероятно, очень сильно расстроили Ивана Тарасовича вчерашние бестолковые толки; иначе я не знаю, чему приписать печальный, мрачный мир доктора, с которым он

вошел в кабинет на другой день свадьбы. На Иване Тарасовиче был надет новый, красный шелковый халат с пышными кистями; но его лицо вовсе не гармонировало с веселым, нарядным халатом. Иван Тарасович мрачно вошел в кабинет, запер дверь и начал ходить по комнате быстро, неровными шагами, будто убегая от какого-то невидимого врага, потом сел в кресло, взглянул на свой халат, горько улыбнулся, покачивая головой, и прошептал: «Комедия! Маскарад!..» закрыл глаза руками и — заплакал.

«Стыдно мне плакать,— вдруг сказал он,— я не баба, я мужчина, я покажу себя!..» — встал с кресла и опять начал ходить. На его глазах еще блестела слеза, но в них видно было выражение твердости и силы.

«Да, я мужчина,— повторял Иван Тарасович,— и покажу, кто я. Я не марионетка, пляшущая по желанию комедианта, я не шарманка, которая все играет, когда ее вертят другие: я человек!.. Я!.. А если?.. Зачем торопиться? Сколько раз я терпел от того, что торопились меня наказывать. И, боже мой, как ужасно, как невыносимо, как оскорбительно незаслуженное наказание, как тяжело падает на душу всякий невинный упрек: он жжет, словно раскаленное железо!.. Да если... О, судьба! Ты вечно преследуешь меня, смеешься надо мной, подносишь мне букет благоуханных цветов, в котором таится змея, вечно ставишь меня в положение сказочного героя, перед которым две дороги: одна к живой воде, другая к мертвой, и некому сказать, куда идти ему?.. Ты вечно застилаешь дни мои самым страшным, невыносимым чувством — сомнением, и смеешься, когда я изнемогаю в борьбе с ним! Так управляй же мною, судьба моя! Веди меня, куда хочешь — я раб твой! Я раскрою пятую книгу, которая попадется мне с правой стороны на пятой полке, раскрою ее, и на чем бы ни развернулась она, буду считать это голосом судьбы...»

Иван Тарасович подошел к шкапу с книгами, взял пятую книгу на пятой полке; это была; «Les Chants du Crépuscule» * Виктора Гюго.

«Очень кстати! — говорил Иван Тарасович. — Очень кстати; ничто не может быть теперь ближе к моему состоянию, как название этой книги: да, глубокие сумерки в ду-

* «Песни сумерек».

ше моей!.. Что будет далее? Он раскрыл книгу и начал читать:

Oh, n'insultez jamias une femme qui tombe!
Qui sait sous quel fardeau la pauvre âme succombe
Qui sait combien de jours sa faim a combattu!
Quand le vent du malheur ébranlait leur vertu,
Qui de nous n'a pas vu de ces temmes brisées
S'y cramponner longtemps de leurs mains épuisées!
Comme au bout d'une branche on voit étinceler
Une goutte de pluie où le ciel veint briller,
Qu on sccoue avec l'arbe et qui tremble et qui lutte,
Perle avant du tomber et fange après la chute!
La faute en est à nous: à toi, riche, à ton or!
Cette fange d'ailleurs contient l'eau pure encor,
Pour que la goutte d'eau sort de la poussière,
Et redeienne perle en sa splendeur première,
Il suffit, c'est ainsi que tout remonte au jour.
D'un rayon du soleil ou d'un rayon d'amour! *.

«Правда, правда! — ворчал Иван Тарасович, перечитывая в десятый раз стихотворение.— Не надо торопиться обвинять... Кто знает, да и зачем знать все несчастья жизни? Лучше оставить... Кто старое вспомянет, тому глаз вон, — говорит наша пословица. Конечно! Все забвению, решительно все. Я так люблю мою Юлию! Она так чистосердечна, так простодушно хороша!.. Поэт требует только одного луча любви, un rayon d'amour! Я сожгу ее моею любовью!.. Да, я буду счастлив, очень счастлив!.. Спасибо поэту!.. Как не видеть в этом руки судьбы?»

Иван Тарасович словно переродился, положил книгу, махнул рукой, закурил самую лучшую сигару и весело во-

---

* Никогда не оскорбляйте падшей женщины!
Кто ведает, под какой тяжестью изнемогает бедная душа,
Кто ведает, сколько дней она боролась с голодом!
Кто из нас не видел этих надломленных женщин
В тот миг, когда ветер несчастья заставляет колебаться
добродетель их —
Старающихся удержаться, ухватившись за нее
изнемогающими руками.
Так висящая на конце ветки капля дождя, в которой
отражается небо,
Колеблемая вместе с деревом, дрожит и борется —
Жемчуг до падения и — грязь после него.
И это — наша вина; твоя, богач, и твоя, золото!
Впрочем, эта грязь заключает в себе чистую воду,
Чтобы капля воды возродилась из пыли
И стала жемчужиной, прекрасной, как прежде,
Достаточно — ведь именно так все возрождается к жизни —
Солнечного луча, или луча любви.

шел к жене в спальню. Юлия Ивановна еще спала или прикидывалась спящею — это, говорят, бывает. Утренний свет, пробиваясь сквозь малиновые занавески, обливал ее волшебным розовым полусветом; ее полная грудь так роскошно колебалась, ее коралловые полураскрытые губки казались Ивану Тарасовичу расцветающим розаном... Он не выдержал — и поцеловал жену. Юлия Ивановна открыла глаза, посмотрела на мужа: в них было выражение самое странное, неопределенное; казалось, она хотела и боялась прочитать что-то в душе своего мужа, но, увидя его ласковую улыбку, сама улыбнулась невинно, восхитительно; лицо ее вспыхнуло, глаза подернулись томной, сверкающей влагой; она обвила полной ручкой шею мужа, тихо привлекла его на грудь свою и едва слышно прошептала: «О, мой милый Ваня! Как я люблю тебя!..»

Иван Тарасович не взвидел света.

В это время у подъезда квартиры Ивана Тарасовича остановился возок. Марья Ивановна не вышла, а выпрыгнула из него, взбежала по лестнице и довольно робко вошла в комнаты.

— Сестрица! Марья Ивановна! Что с вами? Что вы, ни свет, ни заря, приехали? Здоровы ли все у вас? — спросил Иван Тарасович.

— Слава богу,— робко отвечала Марья Ивановна,— я приехала с визитом; мне снился такой страшный сон, я перепугалась и поскорее к вам. Как у вас?

— Напрасно беспокоились,— заметила Юлия Ивановна, значительно глядя на сестру,— мы и веселы и счастливы совершенно!

— Как я рада! Как я рада!

И Марья Ивановна бросилась целовать зятя и сестру с непритворной радостью, смеялась, рассказывала анекдоты из своей свадьбы, хохотала, как помешанная, и уехала, не согласясь даже остаться пить чай.

— Меня мой Фоня ждет,— сказала она,— я ему рассказала сон, и он, бедненький, сам не свой! Знаю, что все теперь глядит в окно да меня поджидает.

Но оставим наших счастливцев. Гораздо легче описывать горе, нежели радость человека. Для выражения счастья как-то мало слов, мало красок, мало звуков, полагаю я, оттого, что мало счастья на земле, что мы к нему не привыкли, не освоились с ним, что оно, как редкий мимолетный гость, на мгновение показывается на земле...

Иван Тарасович делает с женой визиты, дарит ее обновками, меняет ломбардные билеты на звонкую монету, целует жену, не насмотрится на нее... Он счастлив, счастлив неделю, другую, третью!.. Я даже не верю такому продолжительному счастью... Иван Тарасович, живите, живите всей душой, всеми силами, всеми помыслами; упивайтесь обворожительным чадом, угаром жизни, пока он не прошел, вспомните стихи Пушкина:

Час наслажденья
Лови, лови!
Младые лета
Отдай любви!..

и торопитесь вполне прожить светлые дни: они так редко даются нам провидением; после одно только воспоминание о них станет украшать длинные, невыносимые часы черной невзгоды, так часто пятнающие туманный колорит нашей жизни.

V

И пошел младенец-пламя
Вольным юношей гулять!

В. Бенедиктов.

Был пост. Прошло шесть недель со дня свадьбы Ивана Тарасовича. Его семейство увеличилось новым лицом: у него жила меньшая сестра Юлии Ивановны, m-lle Эмилия, только что выпущенная на первой неделе поста из какого-то пансиона. Ударило девять часов утра; дамы сидели за чайным столиком.— Ах, ma chére *, — говорила, зевая, Эмилия,— какая скука! Как можно так рано вставать — это ужасть! Мой друг, m-lle Потапов, говорила, что она встает в первом часу: и все у них так встают, вот люди comme il faut **. А мы! Сказать совестно...

— Не моя вина,— отвечала со вздохом Юлия Ивановна.

— Фи! Какой гадкий твой Жан: он тебя не любит... Я бы ему!.. На что у нас классная дама была строгая, а я и ее проучивала. Ты увидишь, как я заживу, дай мне только выйти замуж!

---

* Моя дорогая.
** Приличные люди.

— Пустое, Эмилия, мужчины все звери, все тираны. не ценят нас. Сначала мы для них божество, а потом...

— А потом?

— А потом... они и глядеть на нас не хотят.

— Быть не может! Я не верю; это тебе попался такой гадкий, а ты и на всех.

В это время вошел в комнату Иван Тарасович; он был уже одет совершенно; только от утреннего наряда на голове у него осталась красная шапочка.

— А я вот уже готов, тороплюсь на визиты. Дай-ка мне поскорее, Юлия Ивановна, чаю.— И он поцеловал жену, которая довольно неохотно подставила ему щеку. — Здравствуйте, сестрица,— продолжал он.

— Ах!..— вскрикнула Эмилия, закрывая лицо руками.

— Что с вами, сестрица?

— Что с тобой, Эмилия?

— Ах, я несчастная...— говорила, рыдая, Эмилия.

— Что с нею, Юлия?

— Не знаю; уж верно ты что-нибудь...

— Вечно я! — сказал Иван Тарасович, пожимая плечами, налил себе стакан чаю и начал пить.

— Разумеется, ты не умеешь деликатно обращаться с женщинами. Она девушка молодая, прекрасно воспитанная: долго ли оскорбить ее чувствительность? Эмилия! Друг мой! Что тебя огорчило?

— Ах, я несчастная! — говорила Эмилия, глотая слезы.— Посмотри, фи, мужчина и в колпаке: он не уважает меня!.. Я знаю, это насмешка... хоть бы извинился...

— Извините, извините, сестрица; я и забыл про эту феску, — сказал Иван Тарасович, громко рассмеявшись. Эмилия пуще расплакалась и убежала.

— Ваша сестрица имеет пропасть причуд или капризов, бог ее знает! — заметил Иван Тарасович.

Юлия Ивановна надула губки и молчала.

— Ты опять, кажется, не в духе?

— Ничего, пройдет. Я не выспалась...

— Кто же тебя неволит вставать? Спи, сколько угодно.

— Зачем же я буду спать, когда ты встаешь? Я уже не могу спать; все равно я не усну, когда ты встанешь.

— Нельзя же мне, друг мой, спать до полудня. Я и то уже отказался от многих больных, которых навещал рано утром, именно для тебя отказал, а ведь расчет для меня...

Бывало, я встаю в семь часов и отправляюсь на визиты; у меня больше пациенты — народ трудолюбивый; привыкли вставать рано...

— Вот еще прекрасно! Так вы раскаиваетесь, что женились на мне? Вам уже наскучило? Вы уже скучаете о прежней холостой жизни... Вы готовы променять жену на больного мужика — прекрасно!..

— Не понимаю, что с тобой сделалось! Вот уже другая неделя я тебе ничем не угожу.

— Надобно быть вежливее, снисходительнее. Поучитесь у Афанасия Афанасьича: вот примерный муж. Как моя сестра счастлива! Вот человек!

— Дался тебе этот *Фоня!* Ты как побываешь у сестры, так целые сутки тебя узнать нельзя...

— Прошу не смеяться над братцем: он редкий человек. В чем вы его подозреваете? Уж и подозрения! Вот я ему пожалуюсь, пусть он вас спросит *по-своему,* что вы о нем думаете? Чему он меня учит?..

— Бог с тобой, Юлия Ивановна! — сказал немного испуганным голосом Иван Тарасович.— К чему заводить неприятности? К чему выносить сор из избы? Ты скажи, что тебе надобно — я и сделаю; но этот братец — ты его знаешь, какой у него голос: раскричится, заорет и выйдет история, как четвертого дня.

— Прошу меня не учить!

— Я знаю, вы давно учены,— сказал сердито Иван Тарасович,— я слишком добр для вас. Больно мне не по душе ваш братец, чтоб его...

— Что-о-о? — сказала дрожавшим голосом Юлия Ивановна.— И вы смеете?! Ничтожный человек!..

Юлия Ивановна как-то неосторожно махнула рукой, чайная чашка выскочила из ее нежных пальчиков, ударилась об Ивана Тарасовича и, соскочив на пол, разбилась вдребезги.

Иван Тарасович убежал в кабинет, по примеру своего родителя, но только не писал шарад, теперь уж ими не занимаются, это не в духе времени, а примочил себе лоб одеколоном и уехал, бледный, встревоженный.

Часу в пятом приехал домой Иван Тарасович и прошел прямо к себе в кабинет, думая: «Постой, жена! Я проучу тебя, не выйду из комнаты, право, не выйду, пока сама не придешь ко мне с повинною головою; я глава семейства, я муж, я старший в доме!..» Прошло полчаса — никто не

являлся, а между тем желудок сильно докладывал о времени обеда.

— Человек! — закричал Иван Тарасович.

— Что прикажете?

— Скоро ли подадут кушать?

Лакей смотрел на него каким-то вопросительным знаком.

— Скоро ли кушать? Я тебя спрашиваю.

— Да для вас ничего не готовили.

— Как не готовили?

— Так, не готовили, ничего не готовили.

— А барыня что?

— Барыня уехала с утра, не велела себя дожидать сегодня и ничего не приказывала.

— Куда уехала?

— К братцу, к Афанасью Афанасьичу.

— Туда и дорога!.. А Эмилия Ивановна?

— Тоже с ними уехавши.

— На, возьми деньги, сбегай в трактир, принеси обед, да живее!

— Слушаю-с. В Веселые острова сходить прикажете?

— Хоть к чорту, только скорее.

— Слушаю-с!

«Нет, матушка, — думал Иван Тарасович, уничтожая втихомолку трактирные котлеты под зеленым горохом,— нет, матушка, коли закапризилась, так и терпи; живи хоть год у сестры — ни разу не приеду, за порог к ней не переступлю: небойсь, соскучишься! Я тебе нужный человек, я муж. Пусть братец хоть на руках тебя носит, а все он не муж; муж совсем другое дело... приедешь!..»

Иван Тарасович выдержал характер, Юлия Ивановна и подавно; так прошло недели с две. Приблизилась святая. Раза три приезжал и приходил к Ивану Тарасовичу усатый Фоня — его не приняли, сказали: дома нет барина.

— Где его чорт носит? — спрашивал усач.

— По городу,— отвечал слуга,— а где именно — не могу знать.

После такого ответа усач плевал довольно громко и уходил; лакей глядел ему вслед с торжественной улыбкой. Юлия Ивановна все еще не приезжала.

Иван Тарасович начал беспокоиться.

— Что вашей супруги у вас не видно? — спрашивали часто у Ивана Тарасовича приятели.

— Не так-то здорова, так у сестры лечится: там, знаете, просторнее, да и сестра дома опытная: лучше присмотрит..

— Вот что! — говорил один.— А я ее вчера видел: она гуляла на Невском под ручку с своим родственником...

— Да, я ей прописал прогулки: знаете, это бывает иногда необходимо для больного... Я же занят, так и просил ее брата иногда, этак, заменять меня.

— Во время прогулок? — спросил второй.

— Да, да, разумеется.

— А у вашей Юлии Ивановны, должно быть от болезни,— заметил третий,— прекрасный аппетит.

— Вы почему знаете?

— Сегодня я видел: она очень исправно кушала расстегайчики с братцем в кондитерской у Излера.

— Быть может, вам показалось. Моя Юлия скорее умрет, чем пойдет в кондитерскую.

— Может, я ошибся.

— Именно; это верно Афанасий Афанасьич был с своей женой; она родная сестра моей Юлии; у них одно лицо: весьма легко ошибиться.

— Скажите! Какая странная игра природы! — говорили приятели.

— Да, престранная! Хоть этому много примеров,— отвечал доктор и в душе проклинал болтливых приятелей, которые, приходя к нему, чтоб провести приятно время, дразнили его, мучили, возмущали спокойствие души и будили черные подозрения.

Странный человек Иван Тарасович! Разве приятели действуют иначе?

Думал, думал Иван Тарасович и кончил тем, что решился помириться с женой. Ему было скучно одному: в квартире всякая безделушка напоминала Юлию Ивановну; притом же шли праздники, и все порядочные люди проводят их так весело вместе с женами, с семейством. «Что ж я за урод?..— ворчал про себя Иван Тарасович.— Коли она ездит, катается, прогуливается, ест расстегайчики в публичных местах и вовсе обо мне не думает, так и я о ней не хочу думать, а все-таки помирюсь с ней, хоть на зло ей, коли она меня не любит... Кажется, я убил на нее столько тысяч, что имею право провести с нею праздники, как следует порядочному человеку.. и пообедать в халате,

и отдохнуть, и поболтать у себя перед камином с приятелями. Я не мальчишка, не стану бегать в публичные места за расстегайчиками!..»

Рано утром в первый день святой Иван Тарасович, поздравив своих начальников, поехал к усатому родичу. На обычное «Христос воскресе!» ему все отвечали «воистину», перецеловавшись с ним как добрые родственники, кроме одной Эмилии, кричавшей, что это мужицкая привычка. Усач оставил Ивана Тарасовича обедать.

— Не пора ли нам, Юлия, домой? — сказал после обеда Иван Тарасович...

— Пожалуй, как хочешь,— отвечала она простодушно.

Иван Тарасович расцеловал ее, назвал тысячью именами самыми приятными и уехал вполне счастливый. О размолвке и помину не было, будто Юлия Ивановна отлучалась из дома на полчаса!

Назавтра явилась Эмилия — и зажили попрежнему.

О всяком, даже довольно пустом предмете, можно толковать с разных сторон, тем более о жизни супружеской, как о весьма важном вопросе для человечества. Люди настроили множество теорий; оно так и быть должно; но между всеми этими теориями самые важные две: одна утверждает, что самая счастливая супружеская жизнь заключается в тихости характеров супругов, в их взаимном угождении, в беспрекословном повиновении. Так, например, если муж скажет: «Не пообедать ли нам?» — жена отвечает: «Пообедаем»; «Не закрыть ли ставни?» — «Закроем». Или жена скажет: «Купи себе голубую шапку», муж отвечает: «Ладно!» — «Не пора ли спать?» — «Пожалуй» и так далее. Другая теория называет подобную жизнь прозябанием, говорит, что люди, живя так, оглупеют; что им надобно столкновение идей; что даже иногда не худо выдержать супружеский шквал, чтоб после сильнее почувствовать всю прелесть тихой пристани; что и в природе после бури и грома все освежается, делается красивее. Чтоб похвалить какую бы ни было теорию, прежде нужно испытать ее в применении к практике, и потому я умолкаю: я в этом деле темный человек, но Юлия Ивановна, кажется, предпочитала последнюю теорию и, при удобном случае, выполняла ее практически со всею любовью к предмету. Была ли права Юлия Ивановна — об этом предоставляю судить людям опытным.

Святая неделя прошла довольно хорошо. В Фомин по-

недельник Юлия Ивановна была очень ласкова к своему мужу, обняла его, наклонилась к самому уху и, покраснев, что-то шепнула.

— Неужели? — вскрикнул Иван Тарасович.

— Право; я уж знаю.

— Отчего же ты знаешь? Может быть, это пустяки; ты женщина неопытная...

— Мне сестра сказала,— отвечала Юлия Ивановна, покраснев до ушей.

— Ну, полно, полно! Отчего тут краснеть? Ты должна гордиться...— И доктор начал целовать жену, приговаривая: — Мое золото, Юлия! Мой брильянт. А как мы назовем его, а?

— Полно, перестань...

— Если будет у нас дочь, то непременно назову ее Юлией, а если сын — Тарасом.

— Тарасом! — вскрикнула Юлия с ужасом.

— В честь моего отца,— робко отвечал Иван Тарасович, ожидая новой семейной бури.

Но, к удивлению, бури не было. Юлия Ивановна вдруг будто что-то вспомнила, остановилась и тихим, хоть печальным голосом сказала:

— Как хочешь — воля твоя; имя немного грубовато, да не имя красит человека, а человек имя, тем более, если это в память твоего батюшки...

Иван Тарасович не верил ушам своим; ему казалось, что он только вчера женился — так тихо и ласково говорила жена его. Он обнял ее и даже немного прослезился. После целый день только и толковали о будущем ребенке, а к вечеру Юлия Ивановна вдруг попросила у мужа двадцать тысяч для того, дескать, что ежели я умру, то запишу эти деньги своему ребенку. Напрасно муж уверял ее, что это прихоть, каприз; что ребенок, по его мнению, принадлежит столько же и ему, как ей: она уверяла, что по смерти ее Иван Тарасович женится на другой и забудет ее ребенка. Слово за слово, поднялась порядочная буря. Ивана Тарасовича назвали тираном, гадким скупцом, который деньги предпочитает родным детям, который лучше желает увидеть жену мертвою, нежели расстаться с голубенькой депозиткой...

Действуя тихо, скромно, может быть, и успела бы Юлия Ивановна; но теперь муж ее заупрямился, поскорее ушел в кабинет, запер дверь и улегся спать.

А Юлия Ивановна, пришед в свою спальню, тоже заперла дверь и написала записку:

«Милый Фоня!

По твоему желанию я сегодня напала на своего цирюльника и, наступая на горло, требовала денег; но, представь себе, он смеет упрямиться! А тебе нужны деньги, бедненький! Впрочем, надежда еще не ушла: я завтра подыму такой содом, что он или оглохнет, или даст двадцать тысяч. Я и Эмилию заставлю кричать. Да нельзя ли меньше? Неужели ты проиграл так много? Может быть, меньшую сумму он скорее бы дал, а то я еще наверное не знаю, есть ли у него столько: мы, кажется, ошиблись, думая, что он очень богат. А если не даст, право, брошу его, опять приеду к тебе. Ты не поверишь, как мне здесь противно! Тебя не видать, мой милашка!.. Зачем ты уговорил меня выйти за него? Грех тебе! До свидания! Целую без счету!

Вся твоя Юлия».

Поутру, за чаем, возобновилась вчерашняя буря. Эмилия рыдала очень громко и просила не убивать сестры. Юлия Ивановна и кляла, и ругала, и плакала, и топала своими хорошенькими ножками, и грозила уехать.

— Уезжай! — сказал Иван Тарасович, заметив, что супруга довольно неприязненно сжимала в руках медную крышку от самовара, и поспешил выйти.

Наскоро собрала Юлия Ивановна свои платья, брильянты и все драгоценности, которыми муж дарил ее, и, взяв сестру, уехала к Афанасию Афанасьевичу.

Дня через два Иван Тарасович встретил свою жену: она ехала в коляске с усатым братцем. Иван Тарасович нарочно прямо смотрел ей в глаза. Что ж бы вы думали? хоть бы отвернулась — нет, глядит на него, словно в первый раз его видит: ни поклона, ни привета!..

— А что ваша Юлия Ивановна? — спросил приятель.

— Не говорите мне о ней,— отвечал Иван Тарасович всем и каждому,— это не женщина, а демон, клянусь вам... Наказал меня бог ею!

— Как жаль! А кажется, она такая belle femme? *

— Это со стороны так кажется, верьте мне. Гроб повапленный, мишура: блестит, а толку мало.

---

* Красивая женщина.

— Да не строги ли вы? Не много ли вы требуете?

— Желал бы я, чтоб вы на себе испытали подобное утешение,— всердцах говорил Иван Тарасович и оставлял приятелей.

— Воля ваша,— говорили между собою приятели,— а доктор тут, должно быть, много виноват. Помилуйте, это прекрасная женщина! Как хороша, как умна, как приветлива, как добра!..

VI

> Болтал, болтал, болтал, весь дом
> привел в тревогу,
> Но, вспомня, что он гость — убрался,
> слава богу!
>
> *И. Хмельницкий.*

> Хотя услуга нам при нужде дорога,
> Однако за нее не всяк сумеет взяться.
> Не дай бог с дураком связаться:
> Услужливый дурак опаснее врага!..
>
> *И. Крылов.*

Настала весна. 1-го мая петербургская публика нагулялась вдоволь по грязным, сырым дорожкам, между голыми, безлистыми деревьями Екатерингофа, увидела коегде тощую травку, поздравила себя с прекрасной погодой и, оставляя теплые зимние квартиры, стала разъезжаться на дачи, простужаться, чихать и кашлять в красивых фонариках, которые, из вежливости, называют домами в южном вкусе. Докторам открылась обширная практика. Иван Тарасович с утра до ночи ездил из одного конца города на другой, с острова на остров, исправляя, по мере сил и возможности, дряхлое, немощное человечество; ему почти некогда было и подумать о своей капризной, но прекрасной жене; впрочем, он знал, что Юлия Ивановна живет с семейством усача на даче, у крестовского перевоза, что не скучает, часто катается по реке, часто смотрит безденежные фейерверки, воздушные шары и всякие комедии, а главное, что она беременна. Последнее обстоятельство часто лишало сна Ивана Тарасовича: не раз он, с сигаркой во рту, просиживал у окна светлые петербургские ночи и, глядя машинально на кошек, бегавших в тишине по кровле соседнего дома, думал о своем будущем ребенке... воображение заносило его далеко, далеко!.. Не в при-

мер быстрее сказочного богатыря, выростал перед ним сын его, умный, как все древние мудрецы вместе, красивый, как Алкивиад; или дочь стройная, грациозная, величественная, добродетельнейшая и кротчайшая из женщин... И улыбался Иван Тарасович, и был счастлив — пока докучные утренние лучи солнца да говор и тяжелые шаги зеленщиков, шедших в город с корзинами зелени, не напоминали ему о грядущем дневном труде и заботах, разгоняли радужные мечты и прогоняли его от окна к постели.

Все подробности о жене Иван Тарасович знал от одного своего знакомого офицера, который был вхож в дом усатого братца, часто видал Юлию Ивановну и передавал ему все подробности ее житья-бытья.

Прошел год с того дня, как мы впервые увидели Ивана Тарасовича в Петербурге — помните, когда он спокойно сидел у камина и курил сигару, когда перед его окном болтал с дядюшкою-дворником племянник, деревенский мальчишка, а салопница звонила у двери доктора... «Воображал ли я,— думал доктор, сидя, как и тогда, в своем кабинете, но только мрачный, задумчивый,— воображал ли я, что этот звонок пробил последние минуты моему душевному спокойствию?.. Мог ли я подумать, что старая ведьма в салопе, переступя мой порог, внесла ко мне горе и печали, что она была вестницей грядущего зла?.. Сегодня ровно год, как я увидел *ее* на краю гроба, бледную, изнеможенную, но прекрасную, поразительно прекрасную... Все героини романов, читанных мною в детстве, все Хлои и Дафны идиллий Гесснера, которых так пленительно рисовало мне во время оно мое юношеское воображение, показались слабыми очерками пред красотой, гаснувшей, умиравшей красотой *ее* и — прощай, спокойствие навеки!.. Чего бы я не дал, чтоб моя Юлия была хоть в сотую долю так прекрасна душой, как телом!.. Я бы отдал половину своей жизни! Нет, и этого, кажется, мало... Впрочем, я не разлюбил ее; мне часто хочется взглянуть на нее, я нарочно, проезжая мимо их дачи, приказываю ехать шагом, жадно смотрю на окна: не покажется ли ее очаровательное личико... Господи! Что за странность: поживешь с ней неделю — готов броситься в воду: так истерзает она тебя, так измучит твою душу; долго не видишь ее, опять хоть в воду со скуки... Что бы это?.. Но еще надежда впереди; я знаю, она соскучилась по мне: пусть скучает, скука по-

служит уроком; между тем, у нас будет ребенок; она займется им, займется его воспитанием, немного приутихнет — и мы заживем... право, заживем!..»

Доктор взял карандаш и бумагу, и начал что-то писать, приговаривая: январь — один, февраль — другой... август — восьмой, да через месяц, даст бог, я помирюсь с нею...

Шибко зазвенел колокольчик. Иван Тарасович бросил карандаш, встревожился и со страхом ждал, что явится в комнату салопница, как год назад...

— Bon jour, mon cher *, Севрюгин! — сказал молодой офицер, вбегая в комнату.

— А, здравствуйте, Александр Иваныч! Откуда? Давно ли были у Афанасия Афанасьича?

— Сейчас только от них, прямо к вам,— говорил офицер, весело потирая руки.— Что за прелестная погода!.. Днем даже тепло от солнца, только ночью примораживает и без шинели неприятно; у моей тетушки на даче все тыквы перемерзли. Господи, сколько шума было! Сколько проклятий на мороз! Сколько вздохов по Италии!.. Давно я не слышал такой иеремиады, со времен смерти ее старого шпица — а это была важная эпоха!.. Нет ли у вас пахигосов или папиросов?.. А! вот они; ваши папиросы беленькие, они в американских колониях прямо прыгнули бы в аристократы по цвету своей кожи. Славная сторона! Будь только бел — и дуйся сколько душе угодно и презирай всех!.. А нет ли у вас темных...

— Нет, я и эти держу для приходящих.

— Жаль; а темные куда лучше этих! Вспомнить жаль, каких отличных пачку темных папиросов я оставил у тетушки, убегая с дачи. Ну, да она за это поплатится!..

Александр Иванович ловко повернулся на одной ноге.

— Вы опять натворили штук, Александр Иваныч, правда?

— Нет, mon crer, клянусь вам, все дело из-за мерзлых тыкв.

— Неужели?

— Видите, тетушка была безутешна,— говорил Александр Иванович, спокойно разваливаясь в кресле, — я, чтоб утешить ее, поцеловал ручку и говорю: «Не беспокойтесь, тетушка, мы это дело поправим».

---

* Добрый день, мой дорогой!

«Полно, Саша, какой ты шалун! Я в отчаянии, а ты смеешься»,— сказала тетушка и закашлялась, бедненькая.

«Не грешите, тетушка,— отвечал я ей,— успокойтесь, mon ange, я вот сейчас привезу средство...». Бедненькая, ее, может быть, уже лет пятьдесят никто не называл mon ange — это ее, видимо, утешило: она улыбнулась, погрозила мне пальцем, и я уехал. Тут меня взяло раздумье: какой секрет я объявлю тетушке?.. Я ведь ей сказал так, шутя, наобум, покамест...

— Понимаю, понимаю.

— Я прямо в книжную лавку. Пожалуйста, дайте мне какую-нибудь книжку о морозе, о мерзлых, о замороженных. Мне подал мальчишка какие-то стихи Мерзлякова.

— Помилуй,— сказал я,— это не идет, вовсе не идет. Мне нужно именно что-нибудь о морозе.

— Вот, извольте-с,— отвечал мальчик, ловко ударив книгой о прилавок и развернув ее перед моими глазами: — «Новейший полный повар и кондитор»; вот здесь есть мороженое лимонное, сливочное, мороженое из кофе, из малины, из холодного чая...

— Нет, и это не идет, хоть и ближе к предмету.

— Вот не угодно ли, прекраснейшая книга; здесь есть зимнее утро, очень хорошее, Пушкина-с.— И мальчик, раскрыв книгу, показал мне пальцем стих:

Мороз и солнце, день чудесный!

— Это вам не угодно?..

— Нет, не угодно.

— Больше, кажется, ничего такого не имеется,— отвечал мальчик в раздумьи.

— Поищи, я не выйду из лавки без книги, какой мне надобно.

Мое нелепое требование, кажется, немного сбило с толку ловкого продавца, однако он нашелся, полез на самую верхнюю полку, достал оттуда запыленную брошюрку и подал мне, говоря: «Вот-с еще одна самая редкая книга: мы ее прячем для охотников, для любителей-с; ее не всякому и покажем-с».

Я взял брошюру, она называлась: «Вернейшее руководство к практическому спасению погибших от стужи и мороза». Мальчик взял за эту редкую книгу, которую он

берег для охотников и любителя, полтину серебром, и я с торжеством привез ее тетушке. Тетушка обрадовалась, позвала свою компаньонку, ключницу и садовника, и приказала мне читать во всеуслышание. Я ожидал чего-то недоброго, однако не струсил, принялся читать не спеша, громко и внятно. Пока брошюра толковала о предосторожностях и строго запрещала не вносить замороженных субъектов в теплое место и т. п., то еще ничего, только тетушка заметила, что это хлопотно, и может быть, хорошо в Германии, а не у нас; но когда я дошел до натиранья субъектов сухой фланелью и теплым вином, когда в брошюре замороженные субъекты, которых тетушка, вероятно, считала тыквами, начали оживать, и брошюра стала поить их горячей ромашкой с вином или ромом, то гнев тетушки разразился вполне; она вырвала из моих рук книгу, бросила ее под стол и начала честить меня ветреником, шалуном, мальчишкой...

— Помилуйте, тетушка, я и сам не знал о чем здесь идет дело,— говорил я ей самым простодушным голосом,— я, право, думал, что эти проклятые субъекты какие-нибудь коренья или тыквы.

— Лжешь, лжешь! — сердито кричала тетушка.— Ты дурачишь меня, старуху!

— Право нет, тетушка!

— Я знать тебя не хочу, мальчишка!

— Тетушка! Мне двадцать первый год!

— Тем хуже! Я тебя знать не хочу.

— Тетушка, простите!

— Я тебе не тетушка, я тебя знать не хочу, долой с глаз моих!

И старуха выпрямилась как театральная героиня в трагедии, с гордостью поглядывая на компаньонку, ключницу и садовника.

— Ну, бог с вами! — сказал я тоже трагическим тоном, схватил фуражку и выбежал из дома. Это тетушке смерть как понравится — я знаю ее, она завтра же пришлет за мной и сама помирится. А папироски остались. Жалко, славные папироски!..

— Куда же вы пошли от тетушки? — спросил Иван Тарасович.

— Куда? Разумеется, прямо к реке и бросился — в лодку, переплыл на Петербургскую сторону, пообедал у ваших родных, сыграли пульку-другую в преферанс...

a propos *, там я застал радость: хотели посылать к вам с нарочным письмо, да я взялся сам доставить.

— Письмо? От кого? О чем? Что там случилось?

— Случилось очень приятное: вам бог дал сына.

— Шутите, Александр Иванович! Это вам другая тетушка, правда?

— Нет, не шучу.

— Быть не может. Отчего же вы мне давно не сказали этого?

— Да вы мне не дали говорить, все расспрашивали о тетушке.

— Я же и виноват, ах вы ветреник! Полно шутить.

— Право, не шучу; вот вам и письмо от Афанасия Афанасьича.

— Да, так!.. Пишет, точно бог дал мне сына!..— отрывисто говорил Иван Тарасович, прочитав письмо.— Странное стечение обстоятельств! Я сегодня только что думал об этом, а тут и весть...

— Сон в руку — не так ли?

— Конечно; но странно... я сегодня рассчитывал...

Тут Иван Тарасович долго смотрел на бумагу, исписанную им карандашом перед приходом Александра Ивановича, пожал плечами и сказал:

— Странно!.. Я сегодня рассчитывал...

— И ошиблись в расчете?.. Ай да доктор!

— Нет, нет,— отвечал, будто спохватясь, Иван Тарасович...

— Отчего же вы стали вдруг так скучны?

— Видите: ребенок, который родится день-другой ранее, почти всегда недолговечен.

— Беда быть доктором! Вот вы уже и станете беспокоиться. А я вам скажу, что, по словам Афанасия Афанасьича, ребенок здоров, как теленок — извините за сравнение, это его собственные речи. Знаете, ваш родственник иногда выражается довольно жестко — не правда ли?

— Да.

— А иногда так фигурно, так завьет фразу, так скрутит ее, бедненькую, что не выдумать иному нехитрому уму. Ведь бывает такой грех?..

— Бывает.

---

* Кстати.

— Что с вами? Странный вы отец! У вас родился сын, первенец; в древности по этому случаю зарезали бы лучшего тельца и угостили меня. В новейшую эпоху вам, как сыну этого времени, следовало бы распить со мной, вестником радости, бутылку доброго шампанского, а вы будто потеряли что-нибудь, будто пуговицу проглотили, будто сердиты на меня... Признайтесь, вы сердиты на меня?

— За что? Помилуйте...

— Я знаю за что. Хотите, скажу?

— Скажите.

— За то, что я дерзнул подшутить над моей почтеннейшей тетушкой.

— Мне что за дело!

— Вам что за дело? О-го, какая скромность! Вы думаете, я и не знаю, как вы волочитесь за моей тетушкой?.. Знаю, все знаю!..

— Ах вы шалун, Александр Иваныч! Придет же подобная дичь в голову! — сказал, невольно улыбаясь, Иван Тарасович...

— Коли и это не берет, так прощайте.

— Куда вы?

— Домой, спешу домой.

— Да погодите, поговорим еще немного...

— Нет, прощайте, тороплюсь.

— Куда вы торопитесь?

— Сказать вам правду?

— Скажите.

— Я хоть ветреник, хоть болтун, однако не люблю врать, и скажу вам правду: тороплюсь вас оставить...

— Меня? К чему это?..

— Да так вот, видите, я не могу сидеть в гостях, как иные, когда замечаю, что я в тягость хозяину; а я вам теперь в тягость. Молчите, я ничуть не сержусь. Иногда и отец родной может быть в тягость; недаром сложена пословица: *не во время гость хуже татарина*.. Я вижу, что вам лучше остаться одним. Не знаю, что у вас на душе, а догадываюсь, что не очень приятное, что вам не до меня теперь. Прощайте.

— Хоть бы чаю напились, Александр Иваныч! У меня немного болит голова; это пройдет. Посидите.

— Спасибо. А чтоб уверить вас в совершенном моем почтении и таковой же преданности, с коими имею честь

кланяться, я в следующий раз выпью у вас двойную порцию чаю. Ладно?

— Пожалуй! Нечего с вами делать.

— Ну, так прощайте, думайте себе, думайте, да не выдумайте какого-нибудь зеленого пороху, а то придется нашему брату учиться опять с азбуки: и фортификация, и артиллерия, и все военные науки пойдут вверх дном.

«Добрый малый, хоть и болтун, Александр Иванович,— подумал Иван Тарасович, когда ушел офицер.— А сын мой для меня задача!.. Как-то судьба престранно путает все дела мои!.. Чего не ждешь раньше месяца — тебе она дает сегодня; чего ждешь сегодня — и через пять лет не получишь... Как-то я чудно́ живу на свете!..»

Потом он долго считал что-то по пальцам, долго писал карандашом на бумаге какие-то цифры, еще долее ходил по комнате и далеко за полночь едва забылся сном; и то ему беспрестанно лез в глаза огромный верзила с аршинными усами; он отчаянно ругался и хотел обнять Ивана Тарасовича.

— Позвольте,— говорил ему Иван Тарасович,— прежде объясните: кого вы изволите ругать?

— Никого; это так, для препровождения времени.

— Основательно, если вам нечего больше делать. Отчего ж вы хотите непременно обнять меня? Разве это необходимо?

— Необходимо! По закону судьбы! — и верзила ругнул судьбу.

— Не ругайте судьбы,— заметил Иван Тарасович,— она мне и то много зла наделала: а рассердится, так и своих не узнаешь. Кто же вы такой?

— Я сын ваш.

— Быть не может! Вы или отец или брат Афанасия Афанасьича; вы такой крупный, а мой сын маленький и говорит по-латыни и по-гречески.

— А разве я не говорю по-латыни? — И с страшною бранью великан кинулся душить в объятиях Ивана Тарасовича. Иван Тарасович проснулся, перекрестился, лег снова, но снова тот же самый нелепый сон не давал ему покоя.

Рождение сына как-то очень охладило пламенное желание Ивана Тарасовича помириться с женой; его золотые мечты рассеялись на несколько недель; но прошел месяц

другой, мысль о маленьком сыне и прекрасной его матери чаще начала навещать голову Ивана Тарасовича; он по вечерам стал напевать, от скуки, арию из «Сандрильоны»:

Пол коварный, но любезный,
Страдать я должен век тобой!..
. . . .
. . . .
Мой глас тебя, ах! призывает.
Мой глас тебя, ах! призывает.
И сердце, и сердце
Жаждет быть с тобой!..

Эта ария вынесена памятью Ивана Тарасовича из деревенской библиотеки покойного батюшки.

В таком состоянии был Иван Тарасович, когда настал день рождения Юлии Ивановны. Долго боролся с собою Иван Тарасович: то протягивал руку к шкатулке, то отнимал руку и отходил от шкатулки подалее; наконец вынул из шкатулки прекрасную брильянтовую брошку в красном сафьяновом футляре, завернул ее в розовую бумажку, запечатал и отправил с своим человеком к Юлии Ивановне, наказав ему, что и как говорить.

Часа через два вернулся человек.

— Ну что? — спросил Иван Тарасович.

— Ничего-с, приказали кланяться и благодарить,— отвечал слуга.

— Сына моего видел?

— Как же, видел-с. Приказал кланяться.

— Разве он уже говорит?!! Вот еще новость!..

— Никак нет, нянька сказала, а он ничего, молчит, только глазами похлопывает.

— Расскажи сначала, как это все было?..

— Я пришел, позвонил — мне отворил двери Степка и говорит: «Здорово. Зачем тебя нелегкая принесла?» Я и спрашиваю: «Дома Юлия Ивановна?» Он говорит: «Дома»; я и говорю: «Поди скажи, что, мол, пришел я от Ивана Тарасовича». Вот они и вышли и спрашивают: «Зачем?» Я поклон, и говорю: «Мой барин, Иван Тарасович, приказал, мол, поздравить вас с праздником, с рождением, и прислал вам гостинец». Они вырвали у меня из рук гостинец и побежали в другую комнату, а я и слушаю, а они говорят: «Ах, да ох!» да всё хвалят гостинец.

— Лучше бы денег прислал для сына,— сказала Марья Ивановна.

— Все равно: это те же деньги,— сказал Афанасий Афанасьевич.

— Вот все и говорят между собой, а я все слушаю,— продолжал слуга.

— Да я им посылаю всякий месяц деньги для сына. Разве им мало?..

— Не мое дело,— отвечал слуга,— я здесь человек темный, а говорили, ей-богу, говорили, я в том не виноват.

— Хорошо, продолжай!

— Вот они поговорили, а после и вышли Юлия Ивановна, да и говорят: «Кланяйся и благодари». Тут я вспомнил, что вы мне приказывали, да и подумал: дай-ка стороной подъеду, этак обиняком — поклонился и сказал: «Окажите, мол, сударыня-барыня, божескую милость!»

— Какую? — спросили они.

— Да вот какую: покажите мне молодого барина! Страх как хочется видеть; люблю, мол, Ивана Тарасовича, так хочется его сынка потешить, посмотреть на ненаглядного. Я, известно, сказал не то, чтоб правду, а так, из учтивости, да и поклон Юлии Ивановне.

— Хорошо,— сказали они, да и повели к мальчишке.

— Повела? — спросил Иван Тарасович.

— Повела, ей-богу, повела, да и говорит: — Вот он, смотри.

— И ты видел?

— Как же, видел, глядел на него, как на вас теперь гляжу.

— Что же? Лихой парнишка? а?

— Самый пропорциональный ребенок, такой здоровый, так барахтается.

— Барахтается?..

— Барахтается; видать, что барское дитя! При мне как задел ручонкой няньку по уху, та даже вскрикнула. «Ай, да барин!—сказал я.—Молодец! Силы не занимать стать, да и пригожеством постоит за себя...» Тут нянька на меня рассердилась: «Сглазишь,— говорит,— ребенка; плюнь,— говорит,— через руку». Я плюнул, да и пошел домой.

— Ну, а он что?

— Ничего, схватил няньку за нос, да и глядит на меня так бойко...

— А похож на меня?

— Как же-с, чтоб родился сын, да не похож на отца! Весь в вас, мой красавчик...

— А глаза какие?

— Глаза обыкновенно какие, быстрые...

— Похожи на мои?

— Похожи, совсем, как у вас...

— Слышишь, кто-то звонит? Отвори скорее!

Через несколько минут вошел или почти вкатился в комнату маленький почти круглый толстяк, помещик Репкин, и начал перекладывать голову Ивана Тарасовича в своих мягких объятиях справа налево и слева направо, приговаривая: «Мое почтение! Всилу-то я вас увидел опять, Иван Тарасыч! Добродетельнейший Иван Тарасыч!.. Вам куча поклонов от вашей тещи, Марцианы Петровны, от всех ваших родных. Добрые соседи!.. Уж как наказывали повидаться с вами!

— Покорно вас благодарю; садитесь.

— Ух, какие у вас мягкие кресла! Я думал, что провалился,— говорил Репкин, болтая коротенькими ножками, не достававшими до пола.— Да, все кланяются... Я вчера только приехал, да сегодня и к вам, не успел и отдохнуть; нельзя, знаете: соседи просили... дело соседское.

— Очень благодарен. Матушка здорова?

— Все, слава богу, живы и здоровы, живут помаленьку. А ваши-то как?

— Слава богу.

— А Юлия Ивановна? Позвольте поцеловать ее ручку.

— Она теперь уехала к сестрице...

— И прекрасно; значит вы не перечите ей ездить к сестрице и братцу?

— Для чего же это?..

— Разумеется, вы человек благоразумный! И супруга ваша теперь остепенилась; да и родные-то ваши прекрасные люди, препочтенные люди... Они здоровы?

— Сейчас только перед вашим приходом возвратился от них мой человек и рассказывал, что все здоровы и мальчишка тоже: такой, говорит, бойкой.

— А! Сын!.. Так вы уже знаете?

— Да как же? Странно было бы не знать.

— Вы предобродетельнейший человек!.. А ведь мальчик-то должен быть порядочный; ему никак более года.

— Что вы? Три месяца!..

— Как? С начала августа.

— Нет, с конца августа.

— Помилуйте, с начала!..

— Если и с начала, так ему будет около четырех месяцев; только, смею вас уверить, что он родился в конце августа.

— Странный вы человек, Иван Тарасыч! Ведь лечили-то Юлию Ивановну уже после, в конце августа...

Тут с обеих сторон было сказано еще две-три фразы, еще несколько объяснений, несколько восклицаний, и Иван Тарасович вдруг остановился, уперся затылком в стену, глаза бессмысленно выпялил на Репкина, раскрыл рот, побледнел, словно на него столбняк нашел.

— Извините меня, любезнейший Иван Тарасыч,— продолжал Репкин,—я не знал, что вы так горячо примете... Я думал, вам все известно... вы доктор; я полагал, что вы все узнали во время ее болезни и женились из сострадания и, признаюсь, удивлялся вашей добродетели, даже не выдержал и в самый день свадьбы намекал на это — извините! Впрочем, рано ли, поздно ли, вы бы все узнали. Да опять, как рассудить хорошенько, так чьи санки не подламывались? Кто богу не грешен, кто бабушке не внук? Право так; успокойтесь.. Знаете, случай, обстоятельства, судьба!.. Может статься, Юлия Ивановна и не так виновата...

Вдруг на бледном лице Ивана Тарасовича разлился яркий румянец, грудь поднялась, глаза засверкали, рот страшно искривился, и он в один прыжок был перед Репкиным, схватил его за обе руки, крепко сжимая их, сказал ему прямо в лицо:

— Вы подлец или... или .. судьба смеется надо мной!.. И я... лишний на свете!..

— Бог с вами! Иван Тарасыч, пустите меня! Что вы так душите? Ваши руки словно железные щипцы... Вы мне не смеете делать насилия! Я дворянин; видите, вот у меня бронзовая медаль: ее не всякий может носить. Вы будете отвечать.

— Отвечать?..— сказал Иван Тарасович, тихо опуская руки Репкина.— Отвечать?.. Нет, позвольте, вы мне должны отвечать, да, вы отвечайте мне! Бога ради, отвечайте... Вы, кажется, сказали: она не виновата — да?.. Судьба, вы говорите, виновата? Говорите же! Ах, боже мой!..— И Иван Тарасович, уничтоженный душевным волнением, почти упал в кресло, закрыв лицо рукою.

— Да это дело известно всем соседям...— начал Репкин, немного оправясь от испуга...

— Известно?!! Всем известно!.. О, господи! Еще этого недоставало!..

— То есть, не в подробности, как мне, но начало всем известно. Впрочем, для вас тут ничего; такие случаи нередко бывают, очень нередко...

— Да говорите!.. Добивайте сразу! Не мучьте меня!

— Вот видите. Афанасий Афанасьич тоже мне сосед Вот он приехал в отпуск, был у меня раза два, а после все начал бывать у Елечкиных. Марциана Петровна не промах, начала приголубливать доброго молодца — муж-то у нее просто баран, на поводку ходит — вот мы, все соседи, и стали поговаривать: «Женит, дескать, Марциана Петровна соседа на своей дочери» и положили, что женит. Осталось только узнать: на которой. Тут, я вам скажу, нам трудненько приходилось; бывало, съедемся, толкуем, толкуем и разъедемся, ничего не порешивши. Никогда я не забуду этого времячка!..

— Из-за чего же вы хлопотали?

— Помилуйте! Любопытно... У Марцианы Петровны был сынишка Гаврюшка — извините, болван лет шестнадцати — всех моих гусей перетравил своими собаками, и четыре дочери: Клеопатра, Марья, Юлия и Эмилия Ивановны. Ну, Гаврюшка тут не шел к делу, мы его и с костей долой; Эмилия еще здесь воспитывалась, и эту долой; Клеопатре бралось за тридцать, и собой-то она немного рябовата, немножко сухопара и немножко косит левым глазом — и эту скинули. Как рассудили, так нам и стало легче; остались две: Марья и Юлия; Марья тоже не то, чтоб очень молода, а Юлия — словно розанчик. Иные говорили, что Марья Ивановна волочится за Афанасьевичем, а Афанасьевич за ней; другие: что Юлия Ивановна волочится за Афанасием Афанасьичем и он за ней; третьи: что Марья Ивановна волочится за Афанасьевичем, а Афанасьевич за Юлией, и что матушка норовит выдать Марью: «А Юлия, — говорит, — может себе и не такого выждать еще молодца». Не знаешь, бывало, кого слушать и кому верить. А Афанасьевич, бывало, то с одной прохаживается, то с другой катается... Я вам говорю: трудное было времячко.

Тут Репкин вздохнул и перевел дух. Иван Тарасович молча сидел, подперши рукой голову.

— Да-с,— продолжал Репкин,— вдруг, в один день, с вечера получаем приглашение от Елечкиных пожаловать

завтра на венчанье и свадьбу. Не было письма, а приезжал к кому форейтор, к кому садовник, к кому псарь или поваренок. «За кого отдают барышню?» — спрашивали мы у посланцев. «За Афанасия Афанасьича».— «А которую?» — «Не знаем занаверное». Вот приехал я прямо в церковь; гляжу — венчают Афанасия Афанасьича с Марьею Ивановной, а Юлии Ивановны нет.— Где ж Юлия Ивановна? — спросил я кого-то. «Юлия Ивановна нездорова,— отвечали мне,— вот уже третьи сутки все спит; проснется, выпьет чашку чаю, да и опять заснет. Да как исхудала, сердечная!» Гляжу на жениха — он прямо стоит, как свечка, и глазами не мигнет. Я подошел поздравить его после венца, он и языка не повернет: мертвецки пьян!.. Назавтра, господи твоя воля, что за баталия сочинилась! Афанасий Афанасьич проспался, огляделся — и давай орать: «Мне,— кричал,— навязали жену. Я сватал Юлию Ивановну, а не эту!» Да схватил, сударь мой, нож, и ну бегать: «Подавай, — кричит, — тещу! Недаром она меня поила наливкой! Это ее штуки; вот я ее! Она своих детей загубила!..» А тут и с Юлии Ивановны будто рукой сон сняло, и та себе давай плакать и рыдать. А после Афанасий Афанасьевич притих, взял Юлию Ивановну, взял и жену свою и пошел к теще в спальню. Долго там сидели они, запершись; а когда вышли, то на Марциане Петровне лица человеческого не было; она рвала на себе волосы и плакала, и Марья Ивановна сильно плакала, и Юлия Ивановна плакала еще сильнее; один Афанасий Афанасьич не плакал и говорил: «Сами заварили кашу, сами и расхлебайте; я в этом не виноват, не на моей душе грех!..» Через недельку мы узнали, что Афанасий Афанасьич уехал с женою в Петербург, а Марья Ивановна взяла, для компании, сестру Юлию. «И медведь ревет, и корова ревет — сам чорт не разберет, кто кого дерет?» — сказал по этому случаю наш капитан-исправник. Все посмеялись, потолковали, да и забыли; кстати, тогда подошла ярмарка.

— Все тут? — спросил Иван Тарасович.

— Погодите. Это еще цветочки, будут ягодки. Несколько месяцев спустя по отъезде в Петербург моих соседей и мне довелось побывать в столице. Вы не имеете здесь оброчных людей?

— Нет.

— Ну, благодарите бога: здесь с оброчного человека взятки гладки: живет-живет, служит-служит лет шесть, а

оброку ни гроша не присылает. Не знаешь, где его и найти и к кому адресоваться! У меня их человек двадцать здесь ходит по оброку, и мужиков и баб; ждал я, ждал оброку, да и решился сам приехать, чтоб распорядиться; отыскал кой-кого из мужиков, дал им гонку, немного получил денег, да кстати побывал и у Афанасия Афанасьича. Меня приняли, как следует, очень хорошо; я отдал им письмо от матушки, передал поклоны и спросил: — Где Юлия Ивановна?

— Она гостит у своей приятельницы на даче,— отвечала мне Марья Ивановна.

— Да, гостит на даче у приятельницы,— прибавил ее муж.

— Здорова ли она? — спросил я.

— Здорова, слава богу,— отвечали они в один голос и переглянулись между собой.

«Ну, здорова, так и хорошо»,— подумал я, посидел еще немного, и ушел отыскивать старую горничную моей покойной жены, Маланью: она тоже по смерти жены уже десять лет ходила здесь по оброку, но не платила ни гроша и совсем от рук отбилась, пропала без вести. Насилу напал на ее след. Спасибо, мой портной Фомка, который ездит кучером у надзирателя, сказал мне, что видел Маланью, и что она служит кухаркой у какого-то Емельянова. Я к надзирателю — поискали и нашли адрес губернского секретаря Емельянова. Прихожу к Емельянову: «Вы господин губернский секретарь Емельянов?»

— Я. Что вам угодно? — отвечал мне седой мужчина.

— У вас находится в кухарках Маланья Иванова?

— Может быть. Какое вам дело?

— Я, милостивый государь, ее помещик.

— А! Вам угодно ее видеть?

— Да.

— Я вам сейчас дам адрес.

— Разве она не здесь?

— Нет,— отвечал Емельянов, быстро переворачивая листы большой рукописной книги,— Маланья, Маланья, Маланья Иванова. Вот: на Гороховой, дом NN, нумер 101.

— Покорно благодарю,— отвечал я, и пошел на Гороховую, думая: «Какой странный человек этот губернский секретарь! Живет сам где, а кухарку держит на Гороховой!..» Пришел я по сказанному, как по писанному, постучался в дверь, вышла старуха, я и спрашиваю: — Не

здесь ли живет Маланья Иванова? Старуха покачала головой.

— Маланья, кухарка господина Емельянова?

— Емельянова? — спросила, немного подумав, старуха.— Вы от него?

— Да.

— Погодите; я справлюсь.

Минут через пять вышла ко мне прехорошенькая разряженная барыня и спросила, что мне угодно. Я ей рассказал все — она улыбнулась и говорит: «Я Эмилия Иванова; вы ошиблись: впрочем, кажется, я слышала; Маланья Иванова живет в Семеновском полку в Госпитальной улице...» дом теперь я забыл чей, а тогда помнил; я записал и отправился. В Семеновском полку я точно нашел какую-то Маланью, только не Иванову, а Осипову. И она, спасибо ей, дала мне адрес на Пески в Матрешкину улицу, и тут я нашел свою Маланью в одном доме с кабаком...

— С двумя подъездами? — спросил Иван Тарасович.

— Да; вы его хорошо знаете. Здесь жила моя Маланья, словно барыня, носила салопы и держала жильцов. Я пожурил ее порядком, да простил; она мне уплатила разом за год деньги и рассказала чудные вещи: что она платит ежемесячно Емельянову десять рублей, а он ее за то держит у себя в кухарках и что у Емельянова, может статься, таких кухарок десятков пять-шесть наберется, и что он деньги берет не со всех равно, а по рассмотрению, с кого и двадцать пять в месяц. И когда я стал требовать, чтоб она внесла мне оброк хоть за пять лет, она просила повременить и сказала мне за тайну, что у нее живет девушка, вот уже с месяц, которую скрывают богатые родственники, по известным причинам, и когда дело кончится благополучно, обещали хорошо заплатить: тогда и мне она обещала отдать оброк. Я удивился, почти не верил Маланье, и просил показать девушку. «Нельзя, кормилец; я всякую репутацию потеряю»,— отвечала Маланья, потом смягчилась, и из кухни, где я с ней разговаривал, показала мне в щелочку несчастную... Я остолбенел, да, ей-богу, мурашки у меня полезли по носу!.. Она была — вы знаете, кто такая...

— Быть не может!

— Да, именно это была Юлия Ивановна.

— Не говорите больше!..— закричал Иван Тарасович.

— Вы сами просили меня рассказать.

— Не говорите!

— Теперь уже и говорить нечего: остальное вы сами знаете. Недели четыре спустя, Маланья мне принесла оброк и сказала, что больная совсем было поправилась, да простудилась и что вчера ее начал лечить доктор, т. е. вы, почтеннейший.

Рассказ помещика Репкина, казалось, положил вечную преграду между Иваном Тарасовичем и его женой. Все мечты о спокойной семейной жизни, о воспитании ребенка разлетелись, как легкие облачные замки от ветра, погасли, исчезли от горькой истины, как робко мерцающие звездочки при восходе солнца. При имени Юлии Ивановны, при одном воспоминании о ней с языка Ивана Тарасовича срывались неблагозвучные слова: «притворщица, кокетка, преступница, змея в женском образе, сатана в юбке» и проч.; из них бы можно досужему человеку составить очень разнообразный словарь брани.

Зная мягкость характера Ивана Тарасовича и его любовь к примирениям, доказанную на опыте, многие приятели, чтоб иметь предлог попировать на чужой счет, пытались свести его с женой, но Иван Тарасович словно одел свою душу в твердую, заколдованную броню и на все предложения, увещания и т. п. отвечал решительным тоном: «Нет, никогда этого не будет!» да так решительно, что приятели умолкали без всякого возражения.

Иван Тарасович стал мрачен, нелюдим. А время все шло... Настали святки.

VII

Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая,
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке.

А. Пушкин.

Решительно противоположную картину представляла огромная, неуклюжая кибитка, запряженная тройкой тощих кляч, которая на рассвете выезжала из ворот постоялого двора недалеко от Петербурга. Несмотря на трескучий мороз, хозяин двора, здоровый мужик, с окладистой бородой, вышел в одной красной рубахе без шапки, с фо-

нарем в руке, отпер ворота и поклонился, освещая уезжавших гостей.

На козлах сидел кучер, немилосердно стегая измученных кляч; подле него мостился лакей в собачьей вытертой шубе, в картузе с назатыльником и в войлочных сапогах; за кибиткою, на горе мешков, узелков и чемоданов, торчала женщина,— верно, горничная; в кибитке полулежали две барыни: одна толстая, в лисьей шубе, в черном стеганом капоре, другая худенькая, вся укутанная вязаными разноцветными шарфами. Подле толстой барыни лежала тяжелая солдатская сабля.

— А что, далеко до Питера? — крикнула толстая барыня, когда кибитка выехала за ворота.

— Около тридцати будет,— отвечал хозяин, запирая ворота.

— Так мы еще довольно рано приедем.

— Как бы скорее, маман,— прибавила худенькая барыня.

— Слышишь ты, болван, Прошка! — сказала громко толстая.— Тридцати верст не будет; смотри, не зевай!..

— Зевать-то я не зеваю,— отвечал кучер,— да лошади не везут.

— Сам виноват: худо кормишь, худо смотришь!

— Овса не покупали, сударыня, во всю дорогу, а на сене далеко не уедешь.

— Ах ты, дрянь! Да я тебя!.. Еще и рассуждать смеешь! Вот я тебя сейчас!.. Этакая свинья стриженая!

— Не кричите, маменька! — сказала худенькая. — Можете простудиться, получить жабу. Приехав, можно взыскать на месте.

— Ты все их балуешь! Ну же, пошел, слышишь?

Кучер стегнул кнутом, лошади дернули, засуетились и опять пошли во весь шаг.

— Ох, вы мне!..— сказал кучер, вздохнул, махнул рукавицей и запел:

Ой, не белы-то снежки в поле забелелись!..

Рассвело. Утро было серое; однообразно тянулись кругом белые снеговые равнины, однообразно тянулись печальные звуки песни кучера; барыни спали в кибитке; лакей, пользуясь этим, вздремнул и кланялся на обе стороны. Кибитка тихо подвигалась к Петербургу.

В Петербурге зажигали фонари, когда кибитка с барынями, с прислугой, с узелками и мешками влезла в заставу и поползла черепахой из улицы в улицу и остановилась в Семиоконной, перед квартирой Афанасия Афанасьевича. Дамы взошли на лестницу, в квартиру, и поднялся крик:

— Маменька! — кричала Марья Ивановна.

— Маменька! — кричала Юлия Ивановна.

— Матушка! — басил усач.— Вы ли это?

— И сестрица! И Клеопатра! — завопили дамы.

— И сестрица! Чорт возьми, — прибавил усач, — вот неожиданно!..

Когда первые восторги родственного свидания прошли, Марциана Петровна спросила:

— А где же твой муж, Юлия? Ты одна здесь?

— Одна,— отвечала Юлия,— мой муж уехал.

— Куда?

— Уехал по казенному делу,— быстро подхватила Марья Ивановна,— в Кронштадт.

— Да, в Кронштадт, на следствие, — прибавила Юлия.

— Надолго?..

— Может, на неделю, может быть, и на две и более, как дело кончат. Мне скучно дома, так я и приехала погостить к сестре.

— Да, матушка, Марциана Петровна, как дело кончит,— прибавил усач Фоня,— может быть, и месяц проживет...

Когда, утомленная дорогой, Марциана Петровна вольно захрапела на мягкой постели, Клеопатра ушла к сестрам и долго шепталась с ними и о чем-то спорила, и кого-то журила и, наконец, сказала: «Покойной ночи, спите на здоровье, утро вечера мудренее, авось завтра все уладим...»

Рано поутру, по деревенскому обычаю, поднялась на ноги Марциана Петровна и начала ссориться с прислугой, потом послала нанять возок и оделась в желтое шелковое платье.

— Куда вы, маменька? — спрашивали ее дочери.

— С визитом, дети, с визитом!

— Так рано!..

— Чем раньше, тем больше уважения; а это человек важный: коллежский советник и кавалер!..

— Кто это?

— Какое вам дело? Наш земляк, человек с весом, понимаете ли: коллежский советник! Ведь тут рукой подать до генерала. Таких людей я не обойду поклоном.

Не успела выехать со двора Марциана Петровна, как Клеопатра Ивановна на лихом извозчике летела по Невскому проспекту, прямо за Лиговку.

Иван Тарасович только что хотел идти со двора и стоял со шляпой в руках, как явилась к нему тощая девица пожилых лет и отрекомендовалась его родственницей.

— С какой стороны? — смутясь, спросил Иван Тарасович.

— Со стороны вашей супруги: я родная сестра Юлии Ивановны.

— В таком случае, позвольте в другое время...— начал было Иван Тарасович.

— Я устала, позвольте присесть,— и, не дожидаясь ответа, Клеопатра Ивановна села на диван.

Иван Тарасович тоже нехотя присел.

Клеопатра Ивановна начала хвалить Ивана Тарасовича, потом стала ругать сестру Юлию, находила в ней всевозможные дурные качества и отыскала только одну добродетель — бесконечную любовь, привязанность к супругу, т. е. к нему, Ивану Тарасовичу, и кончила описанием бедственной картины положения Юлии; даже уподобила ее человеку, который умирает от голода, между тем как у него перед глазами стоят вкусные кушанья.

— Согласен,— отвечал Иван Тарасович смягченным голосом,— но после всех обманов, огорчений, неприятностей, которые я перенес от вашей сестрицы...

— Поверьте мне, что девять десятых этих неприятностей произошло от неуменья владеть собой, от неуменья жить, а не от злобы; она не зла, а немножко ветрена; много она терпела в разлуке с вами, но это все ничего с тем, что предстоит ей. Простите ее; она умрет, если вы ее не простите!

— Я здесь не вижу причины умереть.

— Вы не знаете, что наша маменька очень строга; мы ее или, лучше, Юлия и Маша, вчера уверили, что вы в Кронштадте, и потому не были в нашем семейном кругу; но пройдет время, маменька узнает ваше житье и — я знаю, она проклянет Юлию; проклятие матери сведет ее

в гроб. Пощадите ее, я вас умоляю!..— и Клеопатра Ивановна бросилась на колени перед доктором.

— Сударыня! Что с вами? Ради бога, встаньте! — кричал Иван Тарасович, поднимая ее.— Я готов все сделать для вас; встаньте, бога ради!..

— Простите несчастную! — простонала Клеопатра Ивановна, садясь на диван и утирая слезы.

— Сударыня,— начал Севрюгин,— я вас уважаю, как умную и прекрасного сердца девушку, и потому есть вещи, которых я вам объявить не могу, которые...

— Добрые люди делают благодеяния, не рассчитывая... Говорите, да или нет?

Иван Тарасович колебался; у него в глазах навернулись слезы.

— Верно, я напрасно умоляла вас,— сказала Клеопатра Ивановна, гордо подымаясь с дивана,— теперь я понимаю, что в семейных ссорах не одна сестра причиной; как ужиться женщине, любящей всей душой, с таким хладнокровным, бесчувственным человеком!.. Прощайте. Я с вами заговорилась; нам было хорошо, тепло... а она, бедная,— прибавила Клеопатра Ивановна, будто говоря с собою,— все это время дрожала у подъезда, дожидая решений своей участи...

— Кто? — спросил Иван Тарасович.

— Женщина, которая вас любит всей душой, несмотря на ваше хладнокровие, на ваши требования, может быть, и капризы, которая с любовью и раскаянием, и страхом ждет на холоде у ворот, как нищая милостыни, вашего прощения!.. Это сестра моя, Юлия, бедная Юлия!..

— Неужели?! — закричал доктор, выбегая из комнаты.

Клеопатра Ивановна насмешливо улыбнулась вслед ему и сошла вниз по лестнице; там разыгрывалась чувствительная сцена: Иван Тарасович плакал, обнимал свою жену, признавался, что виноват, что не понимал, и называл ее нежнейшими именами; Юлия Ивановна рыдала, обнимая мужа, и едва выговаривала: «Как я счастлива!» В таком положении супруги вошли в комнаты, сопровождаемые, словно стражей, Клеопатрой Ивановной.

VIII

Свой своему поневоле друг.
Пословица.

Яке коріння, таке й насіння.
Малорос. поговорка.

Торжественно шумя складками желтого шелкового платья, Марциана Петровна заключила в свои грозные объятия нового сына, Ивана Тарасовича; Иван Тарасович, давно не испытывавший подобных родительских нежностей, а может быть и вспомня свою покойную матушку, немного прослезился; дамы поднесли к глазам платочки, сам Афанасий Афанасьевич почтительно стоял, опустя свои длинные усы. Было зрелище, достойное мелодрамы!..

Марциана Петровна во весь день не отпускала от себя Ивана Тарасовича, называла его своим милым сыном, говорила, что нашла в нем гораздо более, нежели ожидала; что она с первого взгляда полюбила его всем сердцем, сроднилась с ним, будто сто лет была знакома, пила за обедом его здоровье и т. п. Всех приятных мелочей, от которых таял Иван Тарасович, не упомнишь.

Доктор, обласканный тещей, сделался покорнейшим слугой; не было, кажется, услуги, которой бы не выполнил Иван Тарасович для Марцианы Петровны, с радостью, не жалея ни денег, ни времени, ни других пожертвований. Не так ли бедная, забитая, загнанная собака привязывается к первому человеку, ласково бросившему ей кусок хлеба? Извините за сравнение.

Марциана Петровна как-то в разговоре заметила Ивану Тарасовичу, что ей жить у Афанасьевых немного стеснительно, и что, как ни приятно ей провесть время вместе с дочерьми, но она скоро должна будет уехать в деревню. Иван Тарасович почти обиделся этим и предложил теще переехать к нему. Марциана Петровна для виду стала немного отнекиваться: «Я вас,— сказала,— стесню».

— Помилуйте, маменька! Я сейчас еду и нанимаю на Невском лучшую квартиру в бельэтаже,— сказал Иван Тарасович.

— Это слишком; я не хочу,— отвечала Марциана Петровна,— мне грех разорять вас, мои дети; если перееду, так просто на вашу теперешнюю квартиру.

— Как вам угодно; рад вам повиноваться!

И Иван Тарасович расцеловал плотные руки своей тещи.

И вот, в один прекрасный вечер на квартире Ивана Тарасовича вокруг чайного стола сидели: он сам с женой, его теща, Клеопатра Ивановна и сестрица Эмилия. Дамы пили чай, ели тартинки и весело щебетали, как выводок воробьев весной на крыше против теплого солнышка. Иван Тарасович был восхищен донельзя: перед ним осуществилась одна из картин немецких романов, которые еще с детства глубоко запали в его сердце. Притом его жена с приезда маменьки сделалась словно шелковая, ласкалась к нему, как избалованная кошечка.

— Ах, маменька! — кричал Иван Тарасович.— Как я вам благодарен: вы привезли ко мне счастье; вы добрый дух, покровительствующий мне, бедняку! Я не знаю, чем заслужил у бога такую радость...

При этих словах он целовал ручки маменьки, сестрицы и горячо обнимал жену.

Но эти семейные радости никак не избавили от таковового же огорчения по случаю тесной квартиры. Где жил холостяк Иван Тарасович очень просторно, где потом жил он, женатый, прилично, там, поместив еще старуху-матушку, двух сестриц, сына да их прислугу, не мог он избежать тесноты. Эмилия еще ничего; но для старухи нужна особая комната: старуха привыкла к некоторым условиям жизни, которые ей менять на старости было тяжело; Клеопатра Ивановна, находясь на крайней границе отцветания, необходимо требовала особенной комнаты с особыми выходами, с особенным освещением, с особенными занавесками: там она проводила многие часы в беседе с отчаянными косметическими наставлениями и средствами, тщетно стараясь задержать, хоть на мгновение, быстро улетавшую красоту свою, хоть на минуту оживить беспощадно увядавшие прелести — пора, страшная для девушки! Не насмешки, а глубокого сожаления достойна она! Как же не дать было Клеопатре Ивановне особенной комнаты? Вскоре Марциана Петровна, несмотря на свою деликатность, заикнулась, что квартира тесновата; Клеопатра Ивановна подтвердила замечание маменьки; Юлия Ивановна, нежно обняв мужа, сказала :«Не беспокойтесь, мой Жан уладит это дело, не правда ли?»

— Правда, душа моя; я и сам думал об этом, да боялся огорчить маменьку: она подумает, что мы мотаем.

— Господи, сохрани меня! — вскричала теща, перекрестясь размашисто.— А что нужно, того нельзя переменить.

Иван Тарасович сломя голову бегал два дня по городу, и едва на третий день нашел квартиру в одной из лучших, широких улиц города. Вы, может быть, и видали: дом каменный в два этажа; еще во втором, или бельэтаже, есть на улицу большой, длинный балкон, род галереи, на него выходят стеклянные двери и шесть окон: этот самый бельэтаж нанял Иван Тарасович. Квартира была обширная, в 11 комнат; он прикупил лучшей мебели, убрал квартиру, украсил и переехал со всем семейством, обрадованный донельзя.

Марциана Ивановна заметила зятю, что на такой прекрасной квартире не худо бы обзавестить парой лошадок; очень жалела, что от своей тройки продала уже пару и подарила ему на новоселье третью, которой, между нами сказать, никто не покупал даже за бесценок. Иван Тарасович с чувством благодарил тещу за подарок; теща говорила, что ей совестно дарить такую неказистую лошадь, хоть эта лошадь отменной породы и удивительный рысак, и стоит только раскормить ее, чтоб удивить весь город.

— Не стыдно ли вам, маменька,— сказал Иван Тарасович,— ведь я очень помню нашу родную русскую песню:

Мне не дорог твой подарок,
Дорога твоя любовь!

— Истинный сын мой! — заметила Марциана Петровна, обнимая Ивана Тарасовича.

Зажил Иван Тарасович в недрах многочисленного родного семейства, которое еще увеличилось братцем Гаврюшей, который вовсе неожиданно, как говорила Юлия Ивановна, приехал в Петербург с обозом мерзлой домашней птицы. Марциана Петровна подарила Ивану Тарасовичу десяток гусей, пять индеек и барана, и просила его (не настоящего барана, а зятя) принять родственное участие в Гаврюше, коли он уже сглупил и приехал в Питер: авось из него выйдет доктор или что-нибудь другое путное и полезное. Иван Тарасович поцеловал ручку маменьки и

сказал: «Это мой долг», одел Гаврюшу с ног до головы, купил ему латинскую грамматику Кошанского и поместил его в лучшей комнате, выходившей окнами на балкон. Гаврюша исправно обедал и ужинал, сидел в своей комнате, глядя по целым часам на проходивших, или, раскрыв латинскую грамматику, брал хлыст со свистком и, уставя глаза на пестрые буквы, свистел что было мочи; пронзительный свист раздавался по всему дому. «Бедное дитя!— замечала Марциана Петровна. — Воображает, что он дома на охоте и скликает собак». Доктору редко удавалось слышать этот свист: он с утра до вечера ездил к больным. У него уже завелись свои лошадки: он к подаренной маменькою прикупил другую. Кучер объявил, что купленная лошадь хорошая, горячая и непременно издохнет, если ее станут запрягать с деревенской клячей. Иван Тарасович купил третью.

Так шло время беззаботно, приятно. Иван Тарасович ни о чем не заботился, кроме денег. Марциана Петровна распоряжалась деньгами прекрасно. Были бы деньги, а она кормила и поила все семейство на славу, принимала гостей, ругалась с дворней... Многие говорили, что Иван Тарасович живет не по состоянию, что он часто меняет на ходячую монету банковые билеты, собранные в продолжение многих лет. Иногда эти речи доходили до слуха Ивана Тарасовича. «Они правы,— думал Иван Тарасович,— да к чему мне деньги, если я не захочу ими улучшить жизнь моих милых родственников? Я ведь один на белом свете; у меня только и роду, что жена да ее родные!.. Я бы очень желал иметь случай доказать Марциане Петровне, как высоко ценю ее любовь ко мне и истинно материнскую привязанность».

За случаем дело не стало.

Как-то вечером сидел Иван Тарасович в кабинете и читал книгу. В кабинет вошла Юлия Ивановна, взяла мужа за подбородок, посмотрела в глаза и поцеловала. Этот прием всегда удавался; фосфорического огня темно-голубых глаз Юлии Ивановны никогда не мог выносить Иван Тарасович; он прищурился и спросил: — Что тебе нужно, душенька?

— Ах!..— сказала Юлия Ивановна и обняла мужа.

— Что с тобой, друг мой?

— Ничего, я растревожена... Что за добрейшая женщина! Что за благороднейшее существо!..

— Чем ты растревожена? О ком ты говоришь? Кто эта женщина!

— Наша маменька. Что за ангел!

— Я это и без тебя знаю: редкая женщина.

— Ах, я сейчас видела: если б я могла показать тебе... Впрочем, это не будет с моей стороны нескромностью. Пойдем.

— Куда?

— Ступай скорее, только не стучи сапогами.

— В маменькину комнату?

— Да.

— Помилуй, я в халате!

— Ничего, она не заметит нас. Ну, ради бога, пойдем! Ах, какой несносный!

— Не сердись, не сердись, иду, иду!

Юлия Ивановна тихо, осторожно ввела своего мужа в комнату маменьки; маменька сидела спиной к двери и что-то прилежно писала, наклонясь к столу. На столе горели две свечки. Приложив палец к губам, Юлия Ивановна на цыпочках подошла к маменьке, осторожно посмотрела ей через плечо и поманила пальцем мужа. Иван Тарасович тоже тихонько подошел и начал читать письмо. Марциана Петровна так была занята писанием, с таким усердием выводила четкие крупные буквы на бумаге, что, казалось, ничего не видела и не слышала вокруг себя. Иван Тарасович прочел: «Не беспокойся обо мне, друг мой: я нашла в Севрюгине отраду на старости; это не человек, а золото, любит меня и жалует, как родную мать. Только одна забота у меня: о нашей бедной деревушке; если ее за долги продадут с публичного торга, то под старость нам негде будет головы приклонить; но хоть продадут деревню, а я ни за что не решусь беспокоить добрейшего Ивана Тарасовича; он и то много для меня делает... мне совестно. Если он откажет, я умру со стыда и печали...» Далее Иван Тарасович не мог читать: слезы наполнили глаза его, буквы в письме Марцианы Петровны приняли всевозможные радужные цвета, зашевелились, задвигались и заплясали длинными вереницами на бумаге. Иван Тарасович не выдержал, схватил тещу за руку и закричал: «Не пишите, не пишите! Не стыдно ли вам так думать обо мне, маменька?»

— Ах!..— вскрикнула Марциана Петровна. Вдруг лицо ее приняло самый строгий вид и она довольно вырази-

тельно сказала: — Зачем вы здесь? Не стыдно ли вам подсматривать чужие письма?

— Маменька, я вам не чужой! Извините меня. Зачем вы сомневались во мне? — говорил Иван Тарасович. — Я готов для вас всем пожертвовать.

— Очень верю. Но кто же вам позволил читать мои письма и таким тайным образом?

— Это я виновата, маменька! — кричала Юлия Ивановна, бросаясь на шею матери.— Мне стало жалко вас: я видела, что вы писали письмо к папеньке и плакали; это меня растревожило, я подкралась, прочитала и — виновата — уговорила мужа посмотреть... Не сердитесь, все к лучшему. Слава богу, что мы увидели: мы вам пособим — не правда ли? Так?

— Располагайте мною, маменька! Прикажите, сколько нужно заплатить, и если это не превышает моего капитала, я сегодня же, сейчас внесу деньги куда следует.

— Ах, вы, мой добрый Иван Тарасович, истинный вы сын мой!.. Но все я на вас сердита: как вы решились придти ко мне и потихоньку читать мое письмо? Ведь это дерзость! Одной Юлии только могла придти подобная штука в голову... Ах, Юлия!..

— Простите меня...

— Ничего; а в наказание я не хочу брать у вас денег; пускай продадут нашу деревню, пусть я с мужем останусь без приюта, а не возьму. Идите спать, дети.

Иван Тарасович всю ночь спал неспокойно: он не мог себе простить, что оскорбил матушку. И поутру, за чаем, опять пристал к Марциане Петровне, чтоб она позволила ему уплатить долг.

— Это долг казенный,— заметила теща, смягчаясь понемногу просьбами зятя.— Видишь, мы должны внести проценты 3000 руб. ассигнациями — сумма порядочная! Наши обстоятельства теперь немного расстроились: падеж на скот подрезал нас. Не внесем процентов, может быть худо. И если б я нашлась вынужденной взять у вас эту сумму, то разве в долг...

Иван Тарасович возражал, Марциана Петровна понемногу уступала, и дело кончилось тем, что доктор достал из шкатулки банковый билет в тысячу рублей серебром и предложил на уплату процентов. Тут кстати подвернулся усатый братец Фоня; он взялся сейчас же разменять билет и отправить три тысячи на почту.

— А остальные за пересылкой привезите обратно,— заметил Иван Тарасович.

— Это, брат, я знаю, и говорить не к чему. Когда привезть?

— Да хоть сегодня, пожалуй, приезжайте с Марьей Ивановной к нам обедать.

К обеду Фоня явился с женой, но денег не привез.

— Три тысячи,— сказал он Ивану Тарасовичу,— я отправил, а остальные четыреста с чем-то считай, брат, за мной.

IX

Это присказка. Пожди,
Сказка будет впереди.

П. Ершов.

Кумушки Рождественской и Каретной части немного ошибались, считая у доктора Севрюгина сто тысяч в ломбарде. Конечно, у него были деньги, но далеко меньше той суммы, в которой подозревали его все, даже Юлия Ивановна и ее родственники, и потому он вечером, после отдачи тысячи рублей серебром теще, сосчитав остальной свой капитал, изумился его ущербу и задумался. Его думы были вроде следующих: «Если я так поживу еще с годик, то после жить будет плохо...»

— О чем ты задумался? — спросила его Юлия Ивановна.

— Так, ни о чем.

— Быть не может. Скажи мне; ты меня не любишь, не хочешь говорить со мной... Ах, я несчастная!...

— Опять за старое! — сказал Иван Тарасович с улыбкою, погрозив на жену пальцем.

— Полно, полно! Перестань! — и Юлия Ивановна начала целовать мужа.

— Я пошутил.

— Разумеется! Я знаю тебя: ты такой добрый! Ну, о чем же ты думал?

— Я думал... я думал — коли тебе уж непременно хочется знать — что пропали мои пятьсот рублей за этим усатым кутилой, за Фонькой.

— Кажется, можно бы лучше говорить о своих близких родственниках,— заметила довольно сухо Юлия Ивановна.

— Тут нечего обижаться, друг мой; по мне, крепко ненадежен человек, который занимает деньги, не спросясь их хозяина.

— Мне кажется, по родству это можно бы сделать: ведь он отдаст.

— Нет, Юлия Ивановна, не так он глядит, чтоб отдал, а я ему ни за что не напомню: мне кажется, он в состоянии прибить меня, если я спрошу своих денег.

— Фи! Какие гадкие мысли! А если б он и удержал год-другой, при нашем состоянии это безделица.

— В том-то и дело, что не безделица: ведь ты моих денег не считала и не знаешь моих средств. Мы — я это говорю не в укор кому-либо — мы немного живем не по приходам, и в теперешнем положении моих дел пятьсот рублей не безделица. Приходы мои уменьшились: от многих домов я отказался...

Юлия Ивановна не сказала ни слова, а посмотрела на мужа так, что взгляд ясно говорил: «Какой же ты подлец, если у тебя денег нет!»

— Что ты так на меня глядишь, друг мой? — продолжал Иван Тарасович.

— Я немного испугалась. Неужели у нас так мало денег?..

— Очень мало.

— Однако все есть...

— Сколько бы ты думала?

— Ну, хоть еще тысяч пятьдесят-шестьдесят...

— Да у меня их и никогда столько не бывало! А теперь, если соберу пять, шесть, так и хорошо; а тут расходы большие, на квартиру, на лошадей... мало ли на что... Куда же ты?

— Я немного нездорова, у меня голова болит. Пойду к себе в комнату, лягу.

«Обманул я немного жену, ну, да очень хорошо сделал, пусть будет поосмотрительнее: ведь никому же деньги будут, как *нашим* детям!» — сказал Иван Тарасович и улегся преспокойно спать, очень довольный своей хитростью, или своею характерностью, как он думал.

Тут не худо заметить, что, может быть, покажется странным, почему я в своем рассказе никогда не говорю о маленьком сыне Ивана Тарасовича. Что говорить о ребенке? Он кушал, спал, как и все ребята, кричал так громко, как немногие в его возрасте; у него была нянька — здоро-

вая, белокурая баба — вот и все. Правда, я забыл еще одно обстоятельство: Иван Тарасович терпеть не мог, чтоб выносили ребенка из детской, и всегда был к нему очень холоден, будто питал к нему какое-то отвращение, за что все знакомые Юлии Ивановне дамы называли Ивана Тарасовича камнем, льдом, жестокосердым и удивлялись, как могла Юлия Ивановна, кротчайшее творение, жить с таким варваром.

Наутро Иван Тарасович заметил большую тревогу во всех своих домочадцах: все, начиная от Марцианы Петровны до Эмилии Ивановны, были смущены, невеселы, почти печальны. «Это от погоды,— подумал Иван Тарасович,— теперь туман, а один известный доктор очень основательно доказал влияние погоды на состояние тела, следовательно, и духа человеческого» — и Иван Тарасович сам немного призадумался, вспоминая целую диссертацию, читанную им во время оно о том, как воздух, будучи отяжелен и сгущен влажными частицами, сдавливает, сжимает плотнее тело человека, замедляет кровообращение и проч... Но вскоре солнце рассеяло туман и осветило все те же угрюмые физиономии. Целое утро Марциана Петровна тосковала, что ей подали к чаю гадкие сливки; и когда Иван Тарасович уехал, сказав: «Извините, маменька, ведь я сам не доил коров; такие купили. Вперед прикажу покупать самые лучшие» — то гнев Марцианы Петровны разразился вполне; она ворчала часа два и начала восклицанием: «Дрянь, нищий, а важничает, смеет грубить: «сам не доил коровы!» Полно, так ли? Да была ли еще корова-то у его батюшки?»

При этом случае Юлия Ивановна заметила, что Иван Тарасович тяготится ими.

— Эка важность! — закричала Марциана Петровна.— Да я плевать хочу на него! Зачем звал к себе, когда жалеет куска хлеба для матери?.. Я от него сегодня же съеду; а тебя пускай кормит и содержит как следует: ты его законная жена. Зачем женился, дурак, когда нечем содержать жену? Живи у него, всего требуй, пусть хоть дрова рубит, а тебя содержит прилично: ты не какая-нибудь, ты дворянка, благородная!.. И без него нашла бы себе партию еще и получше... Лекаришка какой-нибудь, а важничает! Этих мужей только балуй сначала, так после такую волю заберут, что житья не будет... Я это испытала... Рожном идти против — все будет хорошо!

На эту грозную речь приехал Афанасий Афанасьевич. Юлия Ивановна посмотрела на него таким умолявшим взглядом, что он предложил теще переехать к нему.

— Нет, голубчик, погоди: попытаюсь, авось его переделаю; жалко как-то оставлять.

— Пустяки, сударыня-матушка! Внука можете взять с собою, а Юлия Ивановна каждый день может навещать вас; нас вы не стесните, вам же недолго остается здесь пожить; в деревне Эмилии скорее жениха сыщете, да весна на дворе: без вас там все хозяйство станет.

— Что правда, то правда! Огорода, мошенники, порядочно не обделают, капусты не посадят, коли не присмотрю сама, не накричу порядком да не приложу своих рук!.. А ведь коли не от хозяйства получить, да взять неоткуда. Ты, мой батюшка, хоть и благороден, да, нечего греха таить, гол как сокол; имение есть, да в долгу как в шелку, процентов не платишь. Бог тебя знает, чем перебиваешься. И ее-то лекаришко тоже нищий: напрасно на него надеялись... Убили бобра! А еще писали: вот, дескать, подходим штукой, авось сбудем Юлию за богача.

— Помилуйте! Да он человек...

— Уж не говорите мне, я знаю лучше вас, я чутьем слышу порядочного человека.

За обедом Марциана Петровна сильно капризилась: то суп ей был горяч, то соус холоден, то жаркое пережарено... из-за жаркого вышла целая история: теща хотела отослать повара в полицию; повар был собственный, благоприобретенный человек Ивана Тарасовича; Иван Тарасович воспротивился отсылке повара в часть. Марциана Петровна не настаивала, а принялась плакать, говоря, что гадкого холопа меняет зять на нее, благородную женщину и близкую родственницу; ее дочери плакали, говоря, что маменька обижена, и им теперь жутко жить на свете после этого. Юлия плакала молча.

«Что на них нашло? — подумал Иван Тарасович.— Уж не эпидемия ли какая? Не объелись ли они чего ядовитого?» — и хотел даже пощупать пульс у Марцианы Петровны да на первый раз прописать стакана два оршада с клещевинным маслом, а там приняться и за следующих; но после обеда все они ушли, немного спустя куда-то уехали и возвратились, когда уже доктор спал.

Поутру Марциана Петровна решительно объявила

Ивану Тарасовичу, что она, чувствуя себя в его доме лишнею, решилась переехать к Афанасию Афанасьевичу.

Иван Тарасович был неожиданно поражен этим известием; ему стало как-то тяжело и горько на душе. Он молча стоял и думал: «Боже мой, что я за несчастный человек! Правду мне толковали от самого детства, что я никуда не гожусь, что я дрянь, что я позор, поношение человечества! Иногда я в гордости думал: неправда, лгали на меня! А выходит правда: никто не уживется со мной! Все меня оставляют!»

— Что же вы молчите, сударь? Что не благодарите меня за приятное известие? Я сокращаю ваш расход, я не хочу быть вам ничем обязанной; и безделицу, которую я заняла, вы получите непременно, только поправятся мои обстоятельства.

— К чему это? Помилуйте... я знаю обязанности...— начал было Иван Тарасович.

— Не хочу, не хочу,— говорила Марциана Петровна, сверкая глазами,— не хочу ничем вам быть обязанной...

— Помилуйте, маменька, вы понимаете мои слова буквально...

— Как буквально? Что это значит? Вздумали меня попрекать букварем! Не всем учиться целый век; я, может быть, немного знаю побольше букваря; а если бы и один букварь знала, так не вам попрекать меня букварем! Вот до чего я дожила!.. После этого нога моя не будет здесь, я вас и знать не хочу... Я оставляю ваш дом, как недостойного сына, стряхаю пыль с ног моих. Небо видит мои поступки: оно накажет вас!

Иван Тарасович не на шутку испугался: эта тирада отзывалась немного проклятием, каких ему много случалось читывать на своем веку. Он уговаривал тещу, обещал отослать повара не только в полицию, но хоть в исправительный дом; сам брался лично отвезть его — ничто не помогало: видно было, что Марциана Петровна знала, что делала, и к вечеру доктор один гулял по своей опустелой квартире. Юлия Ивановна поехала навестить матушку на новосельи; правда, еще было в квартире живое существо — братец Гаврюша; он сидел в своей комнате и свистел в хлыстик.

Недели три прожила Марциана Петровна у Афанасия Афанасьевича; во все это время Иван Тарасович почти никогда не видал своей жены: она то навещала маменьку,

то ездила наведываться о здоровьи своего сына; возвращалась поздно ночью, часто и совсем не ночевала и, видимо, охладела к своему супругу. Часто Иван Тарасович намекал ей об этом.

— Ах, боже мой! — отвечала она.— Неужели ты мне запретишь провесть несколько дней с маменькой, может быть, последних в моей жизни; ведь старуха скоро уедет; бог знает, когда увидимся!

— Ладно, ладно,— говорил Иван Тарасович, успокоенный ответом жены,— только уже как уедет маменька, посиди, друг мой, со мною; не поверишь, какая скука гулять одному по этой огромной квартире.

— Знаешь ли, мой дружочек, — вдруг заговорила Юлия Ивановна самым ласковым, самым гармоническим голосом,— что нам делать с такой большой квартирой? Не принять ли нам к себе сестру Марью Ивановну?

— Как? А муж ее разве бросил?

— Фи! нет! с мужем; ведь их только двое, и нам было бы веселее...

— Нет, нет, ни за что на свете! Для меня и эта квартира мала, мне нужен простор...— Иван Тарасович нахмурился.

— Твоя воля, — отвечала печально жена и уехала к матушке.

Между тем, добрые приятели попрежнему стороной, деликатно, обиняками, что называется, спрашивали Ивана Тарасовича о его жене, о их отношениях, говорили, что часто видят ее опять на Невском под руку с усатым братцем и т. п.

Наконец, матушка уехала. Иван Тарасович не знал, что и подумать о своей супруге. Она решительно, как говорится, отбилась от рук: исчезала бог знает куда, являлась домой неожиданно, пропадала по целым дням. Иван Тарасович сначала было сердился, но видя, что она не обращает никакого внимания на слова его, не старается даже, как прежде, обмануть его грубою ложью или лестью усыпить его подозрения, махнул рукой и замолчал. Он сделался ко всему хладнокровен, задумчив; на него нашла какая-то ипохондрия и спячка. Чуть приедет домой и уже спит. Часто он отказывал больным, говоря, что нездоров, и засыпал преспокойно, не думая, что, может быть, минуты дороги, и пока найдут другого доктора, больной будет решительно безнадежен.

Раз Иван Тарасович был у богатого купца. Купец подробно рассказал ему свою болезнь; Иван Тарасович задумался.

— Вот, батюшка, еще тут есть сумление насчет, примерно сказать, пищи, — прибавил купец, сказав свою рацею.

— Какое? — спросил доктор.

— Изволите видеть: теперь пост, я кушаю постное, а, говорят, доктора этого не позволяют...

— Да, нельзя, нельзя...

— Помилуйте, будьте отцом-благодетелем, уж мы за себя постоим, в накладе не останетесь, только позвольте.

— Что позволить?

— Да постное кушать, как я докладывал давеча вашей чести.

— Хорошо, хорошо,— отвечал Иван Тарасович, задумался и прописал рецепт.

Каково же было изумление купца, когда ему принесли из аптеки десять унцов ухи из ершей и кусок жареной осетрины!.. Купец съел уху и осетрину, и, правда, выздоровел, но рассказ об этом с преувеличением пошел по городу.

Раз возвратился Иван Тарасович домой вечером, часу в седьмом, и начал звонить у двери своей квартиры, звонил полчаса — никакого отзыва; он походил с полчаса по улице и опять принялся звонить — нет ответа. Иван Тарасович кликнул дворника — дворника не было. «Не ночевать же мне на дворе,— подумал он.— Это очень странно: у меня в доме три человека, да четвертый братец Гаврюша. Не может быть, чтоб они все разом куда-нибудь вышли. Ужь не случилось ли чего? Надобно действовать осторожно». Доктор отправился к ближней будке, взял городового и подчаска и просил их разломать дверь. Уже блюстители порядка начали было каким-то железным инструментом, очень похожим на острую палку, пробовать дверь со всех сторон, как пришел дворник, вероятно, привлеченный шумом на лестнице.

— Кто тут? — спросил он.

— Я, Никита,— отвечал Иван Тарасович, где тебя нелегкая носит? Я два часа звоню, не дозвонюсь у себя никого; за тобой ходил, тебя не было: так я позвал полицию.

— Куда же вам надобно, ваше высокоблагородие? — спрашивал изумленный дворник.

— К себе, в квартиру! Куда же больше?

— Да ведь с этой квартиры другой месяц, как жильцы выехамши. Ваша повыше, во втором этаже.

Иван Тарасович оглянулся кругом, плюнул и пошел выше, ворча: «Как меня обморочило!».

Согласитесь, мог ли человек в таком состоянии быть хорошим доктором? Не удивительно, что больные мало-помалу оставляли его, и наконец он остался совершенно без практики. К довершению несчастия, в одну безлунную ночь, когда жена его была в отсутствии, навещала больную сестру Марью Ивановну, а Иван Тарасович спал обычным мертвым летаргическим сном, какой-то фокусник влез на балкон, намазал патокой стекла, чтоб они не звенели, выдавил их, влез в комнаты и распорядился, как дома; тогда начиналась весна: верно он вообразил, что перебирается на дачу и взял все, что было можно взять, даже и лишнее: шубы и теплые салопы.

Известие о покраже не произвело на доктора сильного впечатления; он махнул рукой и не подал объявления в полицию. «Молодец!» — сказал Иван Тарасович, рассматривая выдавленные стекла.— Не хочу ему мешать; мастер своего дела — пусть один пользуется!».

X

Заглянет в облако любое —
Его так пышно озарит,
И вот вошло уже в другое,
И ненадолго посетит.

А. Пушкин.

Спал да спал Иван Тарасович; его обокрали — он спал; и вот уже два дня нет его супруги, а он все спит. Кто-то из людей напомнил ему, что уже третьи сутки нет барыни. «Бог с нею!» — отвечал Иван Тарасович и спокойно улегся в намерении соснуть немного до обеда; но спать ему не дал усатый братец Фоня: он ворвался, как бешеный, в кабинет Ивана Тарасовича и закричал:

— Где Юлия Ивановна?

— О ком вы говорите? — хладнокровно спросил Иван Тарасович, нехотя поднимаясь с постели.

— О жене вашей.

— А вам какое до нее дело?

— Она сестра жены моей, наша родственница, и мы требуем...

— Моя жена не обязана давать отчета в своих поступках ни вам, ни вашей жене.

— Послушайте, у нас есть законы; это ваши штуки: куда вы ее девали?

— Оставьте меня спать. Я почти месяц не видел своей жены, а не бегал справляться к вам, да и вы не трудитесь навещать меня.

— Это потому, что Юлия Ивановна очень любит свою сестру и всякий день ее навещала, а теперь ее нет; мы ее не видим третьи сутки; посылали у вас справиться — и у вас нет; где же она?

— Так она не у вас? Где же она? — в свою очередь спросил удивленный Иван Тарасович.

— А! Вот насилу заговорил, брат, языком немного человеческим. Вели-ка подать бутылку вина; мне чертовски пить хочется; а там я тебе расскажу кое-что... да только вина дай основательного, не шипучки, не французского квасу, а мадеры или хересу! Ты, братец, просто фатюй, колпак, а не муж,— продолжал усач,— пей же херес, а то ничего не расскажу... Ну, вот так, ладно! Видишь: ты спишь, как сурок, как медведь зимой, а у тебя под носом комедию представляют, штуки выкидывают — понимаешь?

— Не очень.

— Ну, скажу проще; тебе, знать, не по нутру высокие речи. Я и сам их не больно жалую... Вот видишь: ты спишь, а у тебя украли жену.

— Быть не может!

— А почему так? Что, небойсь, она тебя любит? Положим, не украли; где же она?

— Бог ее знает!

— А может быть, и добрые люди знают; хоть не знают, так догадываются. Что, небойсь, она в воду бросилась? Не такова птица! Я ее раскусил порядочно; она брата родного продаст, променяет, а мужа и подавно.

— Коли украли, что я стану делать? Где искать ее?

— Тебе-то ничего не сделать; лучше говори: что *мы* станем делать? Я, брат, этого дела так не оставлю; я покажу ей, как чернить имя родственников! Бедная ее сестра плачет не наплачется...

— Делайте, что хотите; пожалуй, и я с вами же поеду.

Херес начинал немного оживлять Ивана Тарасовича.

— Ладно. Мы сейчас же должны отправиться в Павловск.

— Зачем?

— Это мое дело. Я замечал некоторые ее взгляды и поклоны при встрече с людьми, ни мне, ни тебе незнакомыми. Эти люди, по некоторым признакам, живут в Павловске. Едем. Смелым бог владеет!

Быстро перелетели наши два братца по железной дороге в Павловск, пообедали наскоро в вокзале и пошли гулять по самым уединенным аллеям, сговорясь, если увидят *ее*, известить сейчас же друг друга. С полчаса гулял Иван Тарасович и уже было начал забывать цель своей прогулки, как услышал невдалеке громкие слова усача Фони:

— Вы мерзавец! Вы увозите чужих жен; я вас осрамлю перед целым обществом... А! В рукопашный хотите? Так я вас уничтожу, изомну, как старую негодную пontёрку — понимаете?

Когда Иван Тарасович прибежал на место, то уже стоял усач один, держа на руках лежавшую в обмороке Юлию Ивановну; вдали убегала какая-то фигура голубовато красного цвета — верно, у Ивана Тарасовича в глазах радужило...

Усатый братец во всю дорогу очень грубо обращался с Юлией Ивановной и ворчал: «Я тебе покажу, как изменять мужу!».

Когда приехали домой, усач посоветовал Ивану Тарасовичу держать жену построже и даже, на первый случай, посадить ее под арест и уехал.

Иван Тарасович взял жену за руку, ввел в комнату брата Гаврюши, поклонился, вышел, запер за собой дверь на замок, а ключ положил в карман, и остался очень доволен своею строгою мерой.

Юлия Ивановна, оставшись одна, запертою в комнате, не могла представить, чтоб ее муж, смирный Иван Тарасович, решился на подобную штуку.

— Будь от кого другого, я перенесла бы терпеливо; но от Севрюгина — никогда! Это баба, без характера баба, дряхлая баба! И он смеет управлять мною!

И Юлия Ивановна обрезала перед зеркалом свои пре-

красные кудри, причесала их á la moujik *, надела платье своего брата Гаврюши, на голову шляпу, в руки хлыстик; вылезла в окошко на балкон, вошла с балкона в залу, где полудремал Иван Тарасович, прошла перед самым его носом, вышла на улицу и уехала на первом извозчике.

— Гаврюша! Гаврюша! — говорил Иван Тарасович, когда жена его прошла через залу.— Вишь, не откликается... И этот мальчишка не слушается!.. Гаврюша! Ушел!..

Немного погодя, пришел Гаврюша.

— Что ты, братец, не откликаешься? — спросил его Иван Тарасович.— Рад, что весна, тепло стало: все и сидишь на дворе! До сих пор третьего склонения...

— Я не хочу его учить: оно мне не лезет в голову... Отдайте меня в полк, а то из меня толку не будет.

— В полк?! — Иван Тарасович посмотрел прямо на Гаврюшу и спросил: — куда же ты девал свое платье?

— Какое?

— Сюртук и прочее... порядочное.

— Оно там лежит в моей комнате.

— Терпеть не могу, когда меня дурачат! Ты сейчас прошел сюда с балкона в сюртуке.

— Я и не был на балконе, а с обеда все гуляю в саду в блузе...

— Пожалуйста, не ври! Разве я глаз не имею?

— Пойдемте, посмотрим — вы увидите.

— Нельзя; там у меня есть пленник.

— Какой?

— Не твое дело.

— Так пойдемте к окну, в окно можно видеть мое платье; оно лежит сложенное на стуле.

Подошли к окну — окно растворено, в комнате никого нет.

— Ах, она плутовка! — закричал Иван Тарасович.— Она убежала в твоем платье!..

— Кто? В моем платье?

— Сестра твоя!

— В чем же я буду теперь ходить, Иван Тарасович? Закажите мне другое; я не виноват.

---

* Вроде мужика.

— Зачем тебе? Пойдешь в юнкера — ничего не будет надо.

— Разве так... только поскорее; а то я вам все буду наскучать платьем.

Иван Тарасович уже не искал своей жены и очень хладнокровно слушал своих приятелей, когда они ему рассказывали, как Юлия Ивановна в мужском платье гуляет по аллеям Павловска с молодежью, и хохочет, и ест мороженое, и пьет шампанское.— Может быть,— замечал Иван Тарасович,— это закон природы: стоит сорваться телу с опоры, упасть, и со всякой секундой оно полетит быстрее и быстрее. Почему же и нравственное падение не может следовать этому закону?.. Даже Иван Тарасович собирался поехать посмотреть на свою жену в мужском платье, но только собирался.

В один вечер Иван Тарасович, по обыкновению своему, лег спать очень рано и был скоро разбужен. Открывает глаза: в кабинете горят свечи, перед ним стоит жена его в мужском платье, в шляпе, с хлыстиком в руках и, слегка стегая его по одеялу, говорит: «Встаньте, господин доктор! Мы слышали, что вы желаете посмотреть на свою жену в мужском наряде; вот она, перед вами: полюбуйтесь? Это ваше дело!..»

— Ну-ка, вставайте, доктор,— прибавил другой гость.

Тут только Иван Тарасович рассмотрел, что в комнате были еще два человека в цветных платьях.

— Что вам угодно, господа?

— А вот что: мы будем говорить серьезно, только не пикнуть, смотрите...

Иван Тарасович заметил, что руки незнакомцев вооружены и, дрожа, встал с постели.

Начались переговоры.

Люди незнакомые требовали, чтоб Иван Тарасович обеспечил свою жену единовременно капиталом, назначил ей пансион и проч... Иван Тарасович согласился. Незнакомцы приказали, во-первых, подать шампанского, а во-вторых, послать за нотариусом; но прежде взяли с него клятву: ни словом, ни взглядом, ни движением не объявлять никому и не подавать вида, что все это делается не иначе, как добровольно, а в противном случае грозили страшной местью тут же, на месте преступления. Принесли шампанское. Иван Тарасович отдал жене остальные свои десять тысяч рублей и подписал условие, по которому

он должен выдавать ежегодно жене по две тысячи рублей на содержание и отдать ей в полное распоряжение ребенка.

— На последнее я с величайшим удовольствием согласен,— вскрикнул Иван Тарасович,— потому что...

— Почему? — грозно спросила, подступая к нему, Юлия Ивановна.

— Потому... потому, господа, что она его больше меня любит.

XI

> Приветствую тебя, пустынный уголок,
> Приют спокойствия, трудов и размышленья,
> Где льется дней моих невидимый поток
> На лоне счастья и забвенья.
>
> *А. Пушкин.*

Плохо стало Ивану Тарасовичу; он был обокраден, ограблен, разорен; у него не было денег, не было практики, даже от места, где служил он, ему отказали, как человеку неспособному. Страшно стало Ивану Тарасовичу в обширной, пустой квартире, где молчание только было порой прерываемо резким свистом братца Гаврюши. Каждую ночь Иван Тарасович сам запирал все двери на замок, запирал свой кабинет двумя замками и еще приставлял к двери стол и кресло: ему казалось, что, того гляди, придут незнакомые, цветные люди, придут с Юлией Ивановной и просто растерзают его. Испуганное выражение глаз Ивана Тарасовича — следствие родительской колыбельной купели — приняло более резкий характер: в них сверкали какие-то недобрые огоньки. Наконец, бедному Ивану Тарасовичу наскучило это положение; он понял, что глупо жить в одиннадцати комнатах почти одному, не имея чем заплатить за подобную роскошь, продал лошадей, экипаж, продал почти всю мебель за двадцатую долю, чего она стоила, и переехал опять за Лиговку, на Невский проспект, в свою старую квартиру.

Усатый братец Фоня из вырученных за мебель денег взял у Ивана Тарасовича на обмундировку Гаврюши двести рублей и увез Гаврюшу к себе, обещая определить его в полк и сделать из него человека.

— Сомневаюсь, — спокойно отвечал Иван Тарасович, глядя в землю, когда уже выходил усач с Гаврюшей из комнаты.

— Отчего? Разве я не имею знакомых? Разве я не могу пристроить мальчишку? Худо, брат, о нас думаешь, право, худо!..

— Не потому; я не сомневаюсь в вашем могуществе; но бог, сотворив мир, создал человека из земли,— продолжал Иван Тарасович, не поднимая глаз,— здесь заключается глубокий смысл; земля есть начало жизни и конец ее: из земли все выходит и в землю обращается; земля есть спайка невидимого кольца жизни всего мира... да, из земли другое дело... А Гаврюша просто животное!.. Из него и не вам трудно сделать человека...

Усач молча показал язык Гаврюше, поднял кверху брови и повел пальцем по лбу, будто говоря: «свихнул, голубчик!», потом мигнул на него значительно усом; Гаврюша улыбнулся, кивнул головой и тихо вышел вслед за Афанасием Афанасьевичем...

— Зададим себе вопрос,— продолжал Иван Тарасович: — почему именно природа избрала землю орудием для произведения прекраснейшего создания? Почему она не переделала человека из осла или барана?.. Тут сам вопрос некоторым образом будет ответом не так ли? — Иван Тарасович поднял глаза: перед ним никого не было. «Вот люди! — прибавил он, горько улыбаясь.— Заговори только с ними о задушевных предметах — убегут от тебя как от чумы, как от бешеной собаки!.. А будут целые сутки слушать сплетни о том, как моя жена убежала в Павловск, как кто-то обыграл кого-то в преферанс, как известная дама красит волосы?.. бррр!.. Какая гадость! Да и что удивительного красить волосы?.. Будто одна она красит волосы — все они красят! Все!... И всё красят: и волосы, и лицо, и брови, и зубы, и руки, и ресницы — всё красят! Мало этого: они красят свой голос, свои речи, свою душу, свои мысли и чувства! Все, все у них подкрашенное, до первой непогоды, которая неожиданно смоет поддельные краски и представит истину во всей отвратительной наготе!.. У! И как тогда ничтожны покажутся эти разоблаченные, развенчанные феи!.. Тогда спросите у них: чем гордились они? Чем превозносились перед нами? Спросите у них, и они не в силах будут отвечать вам; они сами сознаются, что блестели занятым светом, сверкали чужими

красками, чаровали умом и чувством, взятым напрокат за дешевую цену, и что они сами по себе просто самки!.. Есть чем гордиться!..— Иван Тарасович захохотал, повторяя:— Нашли чем гордиться!.. Вот одна польза, которую я купил ценою моего состояния, спокойствия и будущности, ценою моей женитьбы!..»

Жалкое было состояние Ивана Тарасовича! Иван Тарасович, казалось, ожил, когда переехал на старую квартиру. Он уселся попрежнему в кабинете у камина, хотя уже не было здесь прежних малиновых занавесок и обои были измазаны какими-то жильцами, которые недавно съехали с этой квартиры на дачу. Но все-таки он уселся и раскурил сигару. Это уже была не прежняя сигара, ароматная, гаванская, Regalia amoris или Cazadores regalia *, дым которой так упоительно ласкает чувства и, благоухая, разливается по комнате мягкими синебархатными волнами — нет; ему принесли десяток из мелочной лавочки, сигар М. Неслинда № 3, цена 10 штук $7^1/_4$ коп. серебром. Но Иван Тарасович курил грошовую неслиндовскую сигару с наслаждением; ему казалось, что прежний покой и мир душевный возвратятся опять к нему на старой квартире... И долго думал он... думал обо всем прошедшем, нарочно вспоминал все малейшие подробности своей жизни; перед ним являлась и старуха-салопница, и больная девушка, и сговор, и свадьба, и шопот шафера Юлии Ивановны, и рассказ простодушного помещика Репкина — и все и вся!.. Иван Тарасович не отгонял от себя подобных картин и воспоминаний — нет, он с любовью привязывался к ним, анализировал их до малейших мелочей, растравлял свои душевные раны: ему приятно было, когда сердце его болезненно сжималось, дух замирал!..

«Да, — шептал сам себе Иван Тарасович, — тяжелы были муки, но они кончились, и вспоминать их приятно!..» — Тут он вздохнул свободнее, от глубины сердца; слезы побежали у него по лицу. Вследствие чего были эти слезы? Не знаю; но они облегчили бедного страдальца: он утер глаза, подошел к окну, потянул дым из сигары и бросил несчастную сигару под стол, сказав: «Фи! Какая гадость!».

Значит, чувства возвратились к Ивану Тарасовичу. По моему замечанию, если человек, привыкший к хорошим си-

* Марка сигар.

гарам, раскурит грошовую и не бросит ее с ужасом далеко, далеко... то он опасно болен.

Иван Тарасович жил на прежней квартире, но уже не прежние толки шли о нем между кумушками Рождественской и Каретной частей. О нем жалели, и поносили его, и называли его несчастным; кто честил мотом, кто — тираном, кто — пьяницей, кто — сумасшедшим, даже один грамотный человек дал ему кличку: Рауль Синяя Борода, или мучитель своих жен. Все знакомые нашли эту кличку превосходной, особливо дамы; но кличка не пошла в ход по врожденному отвращению русского народа к длинным прозваниям, что, как заметил где-то один очень ученый муж, заставляло наших предков сокращать даже самые имена и вместо Михаила говорить Мишка, вместо Иоанна — Ванька, вместо Филиппа — Филька и т. д.

Каждое утро Иван Тарасович, по своему обыкновению, вставал, одевался и, вместо визитов больным, отправлялся гулять по улицам, предпочитая Невскому проспекту разные линии Песков, особливо Слоновую улицу, по которой когда-то, говорят, водили слона: с тех пор и осталось улице имя Слоновой — сюда он часто уходил по двум причинам: первое, здесь можно было очень хорошо философствовать, задав себе вопрос вроде следующего: где теперь слон? где его кости?.. а улицу все кличут Слоновою и, может быть, не одно столетие удержит она за собой это название! Не есть ли это факт, что живое переживает вещественность? А второе, Ивану Тарасовичу очень хорошо было известно, что на Слоновой улице слона не имеется, следовательно, там нельзя встретить праздной толпы, а в этой толпе — какое-нибудь знакомое лицо прежнего приятеля. Он избегал встречи с знакомыми лицами, потому что не отличался гардеробом: синий широкий сюртук, немного запятнанный, весь в пуху, и вытертая, измятая круглая шляпа составляли весь наряд его. Иван Тарасович пренебрегал нарядами, но по невольному инстинкту старался избегать людей, видевших его во время оно всегда одетого изысканно, даже немного чопорно. Впрочем, напрасно боялся Иван Тарасович своих приятелей: у него уже не было приятелей. Приятели, как мухи на сахар, налетают шумной толпой на достаточного или случайного человека; примите сахар, мухи еще раз прилетят, соберутся на месте, где был сахар, полазят, пожужжат и улетят с тем, чтоб никогда более не возвращаться... Все друзья и приятели

оставили Ивана Тарасовича; иногда только заезжал к нему молодой офицер Александр Иванович, привозил ему в гостинец пару хороших сигар, рассказывал приключения с тетушкой; но видя, что Иван Тарасович слушает его будто нехотя и все о чем-то задумывается, довольно простодушно говорил:

— Мне скучно у вас, Иван Тарасович: признайтесь, верно, и я вам наскучил моей болтовней? Вы хотите быть одни, да и я боюсь заболеть от вас скукой,— и Александр Иванович уезжал. Так шло лето. Дела Ивана Тарасовича шли все хуже и хуже: ничтожный капитал его истрачивался, поддержки ниоткуда не было и по самым верным расчетам, при всей ужасной экономии, много что в конце зимы приходилось ему или носить дрова и воду, или просить милостыню.

XII

Старый друг лучше новых двух.
Народная поговорка.

Вино веселит сердце человека.
Старинная истина.

Иван Тарасович задумчиво шел по Слоновой улице; страшная перспектива бедности, нищеты, как нарочно, рисовалась перед его воображением темными красками, раздвигалась, вытягивалась далее и сливалась в черную точку; ропот отчаяния, упреки судьбе шевелились на устах бедного доктора, а навстречу ему едет коляска, запряженная парою лошадей; в коляске сидит франт не франт, а должно быть хороший человек, в благопристойном мешке и в модной шляпе. Это был знакомый Ивана Тарасовича, один из прелюбезных коллежских секретарей, весельчак, балагур, мастер поесть, попить и покурить, тысячу раз обедавший в доме Ивана Тарасовича. Робко снял Иван Тарасович шляпу, приветствуя знакомого поклоном: но коллежский секретарь не заметил его и отвернулся в сторону.

— А что, Севрюгин! Не узнают господа? Отворачиваются знатные? — сказал сзади хриплый голос.

Доктор оглянулся: перед ним стоял небритый человек в желтой фризовой шинели, в поношенных сапогах и в старом истасканном военном картузе.

— Что тебе нужно? — спросил Иван Тарасович у фризовой шинели.

— О-го! Не узнаешь старых друзей — нехорошо, больно нехорошо; небойсь, тебе было не очень приятно, когда эта моська в коляске отвернула от тебя свою морду?..

— Кто ты такой?

— Верно, пятнадцать лет много изменили меня, когда и товарищ не узнает!..— О-ох!.. Вот я сед уже наполовину, а тогда был молод... Разве ты забыл Щелкунова, а?..

— Неужели Щелкунов?.. Боже мой! Я тебя не видал со времени... отставки...

— Смерть не люблю этих вежливых людей! Говори просто: «со времени как тебя выгнали из академии» — и дело с концом. Ведь ты знаешь, о чем говоришь, и я знаю; зачем же лисить?.. Ты все попрежнему проклятый скромник!..

— Нет, Щелкунов, я совсем не тот: я испытал много горя...

— Слава богу, я не обманулся, судя по твоему лицу и платью, и недаром обратился к тебе. Поверь, я никогда не поклонился бы тебе, не узнал бы тебя, если б встретил в карете, в бархате, веселого — никогда!.. Я ненавидел тебя еще в академии за то, что ты был лучше всех; я презирал тебя с твоей наукой, со всем! А теперь другое дело. Давай руку!

— Что же вышло хорошего? Тебя выключили, и вот через пятнадцать лет я нахожу тебя —и не радуюсь моей встрече.

— Да я хоть здоров, силен, посмотри на меня: давай любого коня — сборю!.. Я человек! А ты что? буква ходячая; высох, желт, тощ и, кажется, не очень весел, не очень щеголяешь, не очень вкусно обедаешь... Чем же ты выиграл передо мною?.. Везде судьба: против нее не поедешь! Чему быть, тому не миновать.

— Оставим этот разговор, — сказал Иван Тарасович,— не хочешь ли зайти ко мне?

— Пожалуй, только с уговором. Я знаю твою спесь: чур не побрезгать и моей квартирой; я посижу у тебя и пойдем ко мне после.

— Пожалуй.

Новые приятели, или старые знакомые,— хотя, правду сказать, Севрюгин в академии никогда не говорил и двух

слов с известным лентяем Щелкуновым,— пришли в квартиру Ивана Тарасовича, напились чаю. Щелкунов спросил к чаю птичьего молока и очень смеялся, что Иван Тарасович не понял, чего ему хочется, крича: «Водки, братец, водки!» Когда стемнело, Щелкунов потащил Севрюгина к себе в гости.

— У меня, брат, не барское житье, а весело, по пословице: не красна изба углами, а красна пирогами,— говорил Щелкунов дорогой Ивану Тарасовичу,— живу я с двумя товарищами тут же, на Песках, в Болотной улице; люди они молодые, не из богатых, порой всяко бывает, а придет первое число, получат жалованье, купят бутылку мадерцы, да бутылочку того, другого, придут два-три приятеля, со скрипкой или гитарой — и пошла потеха, шум, брат, песни, дым коромыслом! Не заметишь, как и ночь пролетит... Вот житье!

Иван Тарасович шел и почти завидовал рассказам Щелкунова.

— Что ж ты молчишь? Или не нравится тебе наше житье-бытье?

— Не то, чтоб не нравилось, но...

— Что же *но*? да! Я и забыл, ваше высокоблагородие все обедаете у французов, да пьете ренское, да знаетесь с людьми богатыми... хоть они вам и не кланяются, хоть они рады заплевать вас...

— Перестань, Щелкунов! Так не говорят товарищи; я и то несчастен...

— Ну, коли ты товарищ — доброе дело! Поступай же по-товарищески — зайдем.

И вдруг, схватив под руку Ивана Тарасовича, Щелкунов поднялся с ним на три ступени крыльца, отворил ногой дверь — и чудная картина представилась изумленным глазам Севрюгина: против двери был полукруглый прилавок, на прилавке лежали кучи изрезанной ломтями рыбы, колбас, печенки, горла и других закусок; подле них возвышались горы саек, калачей, ситника. За прилавком, на полках, красовались графины и штофы различных цветов, форм и объема. В интервале, между прилавком и полками, бегали и суетились две бороды в белых фартуках. Воздух в комнате был напоен каким-то одуряющим запахом лука, спирта и съестного.

— Петрушка! Порцию селянки и полштофа испанской горечи! — повелительно крикнул Щелкунов и вошел

с Иваном Тарасовичем в другую комнату. Здесь наши приятели сели в углу за маленький столик.

Прибежала борода, поклонилась, встряхнула головой и спросила: «На чей счет прикажете?»

— Ах, ты, чухонский рукосуй! Борода бесталанная! На мой! Не знаешь меня, что ли?

— Как не знать вашей чести! Много о вас известны. Деньги пожалуете, или колечко?

— Денег нет, а кольцо возьми.— Щелкунов снял с пальца золотое кольцо и отдал его бороде.— Да смотри ты мне, знаешь: потеряется, так и головой не расплатишься!

— Не в первый раз, будьте покойны! Селянку прикажите?

— И полштофа испанской горечи!

— Это кольцо часто меня из беды выкупает,— заметил, смеясь, Щелкунов; но лицо его приняло такое грустное выражение, так принужденная веселость изменила его, что Ивану Тарасовичу даже стало страшно.

— И к чему эти селянки? — робко сказал Иван Тарасович.

— Не твое дело! Я рад угостить старого приятеля. Помнишь пословицу: старый друг лучше новых двух? Меня еще хватит заплатить за селянку; а завтра, что бог даст.

— Неужели кольцо пойдет за селянку?

— Кольцо?.. Нет, друг мой! Я не едал по суткам, дрожал от стужи под заборами, а с кольцом никогда не расставался... В залог я его здесь даю иногда, если денег не случится; но завтра же выкупаю — они знают это, мошенники, и за кольцо дадут хоть на сто рублей; потеряй они его — я перебью всех их, как мух, сожгу и заведение и сам сгорю в нем! Это кольцо я отдам разве с жизнью...

— Это, верно, подарок матушки?

— Матушки я не знавал, отца тоже, чужие меня выкормили... А была мне раз на веку светлая минута — да, я полюбил девушку и она полюбила меня. Господи! Что было за время, вспомню — смешно самому станет: для нее я готов был учиться хоть еврейской грамоте, сделаться подьячим, солдатом, огородником — всем, чего бы ни пожелала она... Но меня выгнали — послушай, брат... вытолкали из дома, как собаку!.. Эй, Петрушка, скорей горечи!.. Да, вытолкали!.. Сказали, что я еще не человек, что на мне

и чина нет никакого!.. А у меня была душа!.. Видит бог, была душа не собачья... О!.. как я хотел рассчитаться с этими гадкими людьми!.. Но она прислала мне это кольцо и просила не делать зла ее родственникам — и я молча глядел, как таяла она, как угасала; каждое воскресенье я видел ее в церкви и замечал, что она быстро идет в могилу. Иногда было кровь прильнет к голове моей, сердце забьется — я сожму кулаки, взгляну на них; но прямо блеснет мне в глаза кольцо — я вспоминаю ее волю и разжимаю кулак... Скоро я проводил ее в могилу; певчие пели, родственники плакали; я один не плакал и глядел на них живым укором. С тех пор для меня все пропало, все трын-трава, кроме кольца; с ним я пойду в могилу!..

— Чем же ты утешаешься?

— А вот чем,— продолжал Щелкунов, показывая на принесенный полуштофик.

— Будто это помогает?

— Как рукой снимет! Все забудешь, все тебе нипочем; один сам большой на свете. Попробуй!..

— Пожалуй, хоть я и не пью водки.

— Ну, что?..

— Горько, противно.

— Первая колом, вторая соколом, а прочие юркнут словно мелкие пташечки!..

— Не думаю.

— Увидишь на деле. Вот для меня первая рюмочка так себе, будто встретился с человеком, которого где-то когда-то видывал, да не знаешь, кто он и откуда; вторая — уже добрый приятель; третья — старый друг, вот как ты, Севрюгин; четвертая — брат или сестра; пятая — любовница; шестая — мать родная; седьмая — гром и молния!.. Дальше уже я не считаю: там уже я пришел в себя... и знать никого не хочу.

Пока принесли селянку и Щелкунов рассказал систему своего питья, Иван Тарасович окинул глазами общество, в котором он находился. На самом видном месте сидел какой-то лакей, одетый в узкий фрак, короткие, верно, барские, брюки и необъятный шарф, который покрывал всю шею и грудь, и был зашпилен чудовищно большой булавкой; развалясь сколько возможно на стуле, лакей курил трубку и беспрестанно кричал: «Половой, трубку! Да смотри Жукова! Я не курю другого»... А между прочим

говорил сидевшему против кучеру: «Что мне барин?.. Что мне он — ничего!.. Кричит, вòрчит, а я и ухом не веду!»

— Оно так,— заметил кучер,— на всякое чиханье не наздравствуешься!..

Остальные гости был народ чернорабочий, в разных, а более в серых армяках; они сидели — человек восемь — за столом и пили вприкуску чай; по полштофикам, поставленным на столе, можно было заключить, что они намерены впоследствии кутнуть порядком.

Покушав селянки, Иван Тарасович хотел было раскланяться и уйти, но Щелкунов решительно не пустил его; он уже окончил полуштофик, дошел до грома и молнии, потребовал другой и присудил Севрюгину выпить еще рюмочку, уверяя, что она дойдет соколом. Соколом не соколом пролетела рюмка, но выпилась как-то глаже; приятная теплота разлилась по всем членам Ивана Тарасовича; легкий чад шумел в голове, на сердце отлегло, и он стал прислушиваться в шумному говору мужиков, уже опорожнивших большую половину своих штофов.

— Что ж, братцы, не пьете? Деньги заплачены, не выливать стать,— говорил один парень, одетый в синий зипун.

— Небойсь, Алеха, все порешим; поесть, попить нам не учиться. Правда, земляки?

— Вестимо,— отвечали прочие,— постоим за себя!

— Ах ты, Тереха, Тереха! Расхвастался земляками... никак вашенские лапти растеряли, по дворам искали, было шесть, а нашли семь!..

Общество рассмеялось.

— Погоди, Алеха,— отвечал серый зипун,— то костромичи; Кострома себе сторона, а мы галичане!..

— Просим прощения,— заметил синий зипун,— вам и честь и место. Вы мастера и съесть и выпить. Вы толокно веслом в реке мешали, а толокна не достали...

— Ой ли? Знаем мы вас, москвичей: у вас толсто звонят, да тонко едят.

— А все лучше вас, ершеедов, озерняков.

— И за то спасибо, хоть ерши есть, хоть живем на озере; а у вас, в Москве, бают, и речки нету-те, течея не течея, куры вброд переходят, просто болото!..

— Куда вам до Москвы! Рада б свинья на солнце посмотреть, да рыла не подымет. Наша Москва — городам

краса. Москва стоит на болоте, ржи в ней не молотят, а больше деревенского едят.

Шутки становились час от часу злее. Москвич трунил над добрыми галичанами, которые ни за что, ни про что, разве за синий зипун, угощали его на свои деньги; галицкие мужички стали переглядываться, будто выжидая сигнала начать драку; расторопная борода в белом фартуке подоспела во-время:

— Что, ребята? О чем призадумались? Наследство делите, что ли? Пришли в веселое заведение, так не ссориться, а веселиться! Бывал я и в Москве, и в Костроме, и в Галиче — везде есть хорошие люди и везде есть дрянь... не правда ли?

— Правда, правда!

— О чем же заспорили? По-моему, кто ни поп, тот батька!.. Коли добрый человек — хорошо ему... Прикажите-ка, господа, подать еще штофика три-четыре, да затяните песню... знаете поговорку: волынка да гудок, сбереги наш домок.

— Ладно, а соха-борона разорила дома!.. — сказал синий зипун.— А я и песню знаю разудалую московскую.

— Ладно, ладно,— заревел серый зипун...

— Только ты, Алеха, погоди с своей песней,— заметил Тереха,— мы деньги платим, так мы уже и споем свою, озерную...

Мужики выпили по стаканчику, и один серый зипун затянул:

Как у дяди, у Петра,
Да поймали осетра!..

Ухмыляясь, мужики подпели:

Ай дербень, дербень Калуга,
Дербень Ладога моя!..

При начале этой песни сильно сжалось сердце Ивана Тарасовича; его воображение, согретое испанскою горечью, живо представило ему прошедшее: и больную Юлию, и его, богатого, довольного судьбой, и эту песню за дверью, которая так ужасна показалась ему тогда... Он быстро схватил стакан, налил его водкой и выпил зал-

пом. Между тем запевала, с обычной расстановкой, затянул окончательные два стиха песни, и когда хор запел припев:

Ай дербень, дербень Калуга,
Дербень Ладога моя!..

то в хоре прибавился еще один голос; он пел резко, дико, стараясь, казалось, заглушить всех и самого себя... Это пел Иван Тарасович!..

XIII

О дружба! кто тебя не знает,
Не знает тот и красных дней.
Н. Карамзин.

Но дале, дале звук несется,
Слабей... и — смолкнул за горой
А. Пушкин.

Часто видели на Песках Ивана Тарасовича с Щелкуновым, идущих дружно, рука об руку, входивших в заведение, или выходивших из него тоже рука об руку, но шедших недружно, шагавших вразлад... Их походка была похожа на две скрипки, играющие одну и ту же пьесу, только не с одного тона. Так ходил Иван Тарасович до осени, продал понемногу всю свою мебель, кроме маленькой латинской книжки «Корнелия Непота» и старого рукомойника. «Корнелия Непота» он хранил как подарок доброго старого учителя Ивана Павловича; он часто, глядя на эту книжку, вспоминал и покойного отца, и матушку, домашний кров, и баню в саду, и охоту за голубями, и Ивана Павловича, поющего: «Гром победы» — и бывал счастлив несколько часов воспоминаниями. Но почему он дорожил рукомойником — никак не могу понять; да, кажется, и сам он не в состоянии был бы объяснить, хотя при всяком вопросе: «Что это у вас за дрянь?» заботливо глядел на рукомойник и таинственно говорил: «Эта вещь — не простая вещь!.. Недаром Мухаммед предписал омовение; он был философ, а это рукомойник, да я за него не возьму Мухаммеда...» Не имея чем платить за квартиру, Иван Тарасович переехал к своему другу Щелкунову и зажил в углу под старыми деревянными стенными часами. Служащие объявили, что ничего не возьмут за угол, разве когда Иван Тарасович напишет рецептик.

— Видишь, друг мой, я говорил тебе, — заметил Щелкунов, — что это благороднейшие люди; вот где надобно искать людей, а не в ваших великолепных гостиных....

Было уже довольно холодно. Ивану Тарасовичу нечем было опохмелиться; он грустно шел по Слоновой улице и повстречал молоденького офицера Александра Ивановича. Он отвернулся: ему совестно было глядеть на этого беззаботного юношу; но Александр Иванович остановил его вопросом:

— Вы ли, Иван Тарасыч!..

— Я,— отвечал он робко, будто преступник.

— Что с вами?.. Я был в лагерях, приехал и навестил вас; но на вашей квартире какая-то старуха-немка; она очень сухо приняла меня, захлопнула дверь перед носом, и я никак не мог допроситься, где вы. Что с вами?..

— Ничего, Александр Иваныч... несчастия! Судьба — и больше ничего.

— Как же вам не стыдно покоряться судьбе! Воюйте с нею; коли ничего не выиграете, так утешитесь, что вы не жили как баран, стояли за себя; знаете пословицу: хоть нету барыша, да слава хороша.

— Куда мне! Я никуда не гожусь, я с детства был всегда посмешищем людей; все мне говорили, что я дрянь, и я сам это чувствовал...

— Экая дикая фантазия! Не стыдно ли вам говорить подобные вещи? Я первый всегда любил вас, как ученого и доброго человека...

— Благодарю вас, и... позвольте побеспокоить вас моей просьбой.— Иван Тарасович почесал в затылке.

— Говорите, говорите; рад помочь вам.

— Я хочу отправиться на родину, хочу умереть там; все собираюсь и не могу выехать: мне нужны деньги... знаете, упаковать мои вещи.

— А у вас много вещей?

— Вещей довольно; надобно купить рогожек, завернуть их...

— Много ли вам надобно?..

— Да хоть рубль серебра.

— Рубль серебра!.. Какие же у вас вещи?..

— Книга и рукомойник, редкий рукомойник; хоть он фаянсовый и пообит немного по краям, но штука дорогая, хотелось бы отвезти на родину.

У Александра Ивановича навернулись на глазах слезы; он дал Ивану Тарасовичу красную ассигнацию и ушел быстрыми шагами.

С зверскою радостью посмотрел Иван Тарасович на ассигнацию, побежал на квартиру, отворил немного дверь и кивнул на Щелкунова. Щелкунов вышел.

— Ну, что там?

— Смотри,— говорил Севрюгин и, дурацки улыбаясь, показал ассигнацию.

— Ого-го! Да это ладно! Откуда?

— Какое тебе дело?

— И то правда, по-моему: хоть чорт снеси, лишь бы яйца были.

И приятели рука об руку вошли в заведение. Роскошно пировали они полдня и полночи. Щелкунов, по старому знакомству, остался ночевать в заведении под прилавком, а Иван Тарасович пошел домой; кое-как ощупывая заборы и отдыхая у фонарных столбов, добрался он без шапки до квартиры, свалился в комнату и лег под часами. Но не успел он закрыть глаз, как часы зашипели, застонали — словом, начался процесс репетиции, который они исполняли чрезвычайно медленно, с усталостью и с одышкой.

«Неужели 12 часов? — подумал Иван Тарасович.— Сосчитаем».

«Раз...— прошептал Иван Тарасович и, пока часы шипели и мучились, готовясь разразиться новым звуком, он считал: — два, три, четыре, пять, шесть».

— Два,— ударили часы.

— Семь,— продолжал Иван Тарасович,— восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать.

Три,— ударили часы.

— Тринадцать, пятнадцать, шестнадцать, восьмнадцать... И когда часы ударили двенадцать, то Иван Тарасович с ужасом насчитал их около тысячи, взбесился не на шутку, протянул над головой руки, поймал веревки с гирями, приговаривая: «Вот я вас, проклятые, целую ночь спать не дают», и, сдернув часы с гвоздя, хватил их об пол.

И страшно, будто миллионы змей, зашипели часы, захрапели, застонали, словно умирающий, зазвонили, будто на похоронах — и затихли. Волосы на голове Ивана Тарасовича поднялись дыбом: ему представилось, что он убил кого-то... А между тем, служащие всполошились, надели

халаты, зажгли спичкой свечку и явились, как грозные судьи, в угол ни живого, ни мертвого Севрюгина.

— Кто разбил часы? — спросили они, помахивая красными полами халатов, словно мантиями.

— Я,— отвечал Иван Тарасович.

— Зачем? Как ты смел?

— Они спать не давали, били да били всю ночь, тысячу шестьсот сорок четыре часа ударили.

— Да ты, брат, спился с кругу!.. Не доволен, что тебя держат из милости, еще и чужие вещи портишь? Вон, вон, пьяница, сейчас вон!

— Вон, вон! — кричал другой. От тебя, как от козла, ни шерсти ни молока; только пакости строишь.

Иван Тарасович встал, положил в карман латинскую книгу, взял в руки рукомойник, перекрестился и, пошатываясь, вышел из комнаты. С этих пор никто в Петербурге не видел Ивана Тарасовича и не слышал ничего о нем; ни на Песках, ни на Слоновой улице, ни в заведении — нигде не показывалась его робкая фигура в синем оборванном сюртуке,— и люди забыли его.

XIV

Эпилог

> Когда постранствуешь, воротишься домой,
> И дым отечества нам сладок и приятен.
>
> *А. Грибоедов.*

Далеко от Петербурга была зима, злая, лютая зима, какой и старожилы не запомнят. На самый праздник рождества христова поднялась метель, вьюга, и бушевала трое суток, воздвигала горы среди дороги, засыпала снегом деревенские хижины; ветер выл, шумел, стонал, срывал крыши; опасно было выйти на двор, на улицу; но на четвертый день метель утишилась, обессиленный ветер улегся, и первые лучи утреннего солнца весело заиграли на прихотливых горах, утесах, башнях, зубцах и фестонах, изваянных бурей из снега. Маленький уездный городок ожил; праздник — время хорошее, кто ему не рад? Притом же, в город недавно вступил полк, много было офицеров, говорили, что они затевают устроить благородное со-

брание. Мало-помалу, на пустых улицах показался народ, кое-как расчистили снег, пошли пешеходы по хрупкому снегу, завизжали на морозе кованые полозья саней. Все ожило.

В большой малотопленной, или, может быть, и многотопленной, но холодной по натуре комнате, сидело за длинным столом человек десяток или более писцов. Они беспрестанно дули себе в руки и мало писали. Становой Автомат Человекович, в волчьей шубе, подпоясанной красным кушаком, в теплых калошах, ходил по комнате, слушая бумагу, которую ему читал секретарь — человек с проседью, в вицмундире, в теплых вязаных перчатках.

— И принесла нелегкая этого ревизора как раз к празднику! — выразительно сказал становой.— Да еще во время болезни исправника! Люди гуляют, а ты занимайся!.. Спасибо, хоть вы ему отрезали хорошенько объяснение. Все оно, что ли?

— Еще осталась статья об освещении.

— А ему и до этого дело!.. Мало, дескать, жгут свечей! Разве от этого польза казне? Иной и в потемках больше наделает, нежели другой среди белого дня. Ну, читайте!

— Насчет освещения я дал следующий ответ: «Недостатки, замеченные вашим высокородием в освещении, будут немедленно увеличены».

— И больше ничего?

— Ничего.

— Прекрасно! Коротко и ясно!.. Очень хорошо!.. Давайте подмахну, да и с плеч долой... А, Иван Павлович! Здоровы ли вы? — вскричал Автомат, обращаясь к толстому низенькому человеку, вошедшему в суд в тулупе из черных барашков, покрытом синим сукном.

— Слава богу,— отвечал Иван Павлович,— вы присылали за мной? Уж не случилось ли опять нашествие мертвого тела? Нашего брата, уездного врача, редко зачем более тревожат!..

— Вы опять насмехаетесь! Беда с ученым народом! Впрочем, с того времени, как вы заметили, у меня никогда не пишут дело о нашествии мертвого тела; долго спорил, долго бился вот с господами, да отучил. А к вам таки есть дело... о чем бишь там?

— Дело о найденном в синем сюртуке, с заплатками, мертвом теле, в нетрезвом виде,— отвечал секретарь.

— Что ж я с ним стану делать?

— Посмотрите для порядка. Нельзя же иначе,— заметил становой.— А что, вы не покупали еще новой водки? Говорят, удивительная.

— Слышал я, а не покупал. Как ваша супруга, Марта Ивановна?

— Слава богу! Посмотрите же скорее на мертвое тело, да и пойдем ко мне на пирог... Знаете, их задерживать не следует: того и гляди после метели, словно дров, навезут из уезда!

Иван Павлович подошел к мерзлому телу; оно лежало под рогожей; сняли рогожу, стряхнули снег, и ему показалось, что где-то он видел это лицо.

— А что у него отдулось за пазухой? — спросил он сторожей.

— Не знаем, должно быть, снег: мы не смели смотреть.

— Посмотрите.

Сторож с трудом отстегнул примерзший сюртук, запустил руку в боковой карман и вынул оттуда небольшую книгу в пергаменте.

Иван Павлович раскрыл книгу: это был «Корнелий Непот», с его, Ивана Павловича, подписью. Потом он пристально посмотрел на безжизненное лицо мертвеца, покачал головой и безмолвно поник над ним. Сторожа с удивлением заметили, что крупные слезы Ивана Павловича падали на лицо мерзлого знакомца...

— Что с ним прикажете делать, ваше благородие? — спросили сторожа, наскучившие стоять на морозе.

— Ничего,— сказал Иван Павлович глухим голосом,— я похороню его... И, перекрестив труп, тихо, печально побрел он домой.

А навстречу ему неслась лихая тройка. Коренной, гордо подняв голову, навострив уши, бежал стройной, ровной рысью; пристяжные скакали, завившись в кольца; они шаловливо хватали на бегу снег и заметали дорогу широкими волнистыми гривами. В санках сидела полная, румяная дама; пышное белое перо с ее бархатной шляпки веяло в воздухе; на запятках стояли два офицера. Когда санки поравнялись с Иваном Павловичем, он было что-то хотел сказать даме, открыл рот, но вдруг замолк, махнул рукою и пошел своей дорогой.

— Что это за чудак, Елизавета Тарасовна? — спросил один офицер.

— Видно, что вы недавно стоите у нас и не знаете здешнего уездного доктора: он пребольшой оригинал.

— И по всему заметно,— прибавил другой офицер.

— Представьте, господа, он было вздумал в меня влюбиться!..

— Неужели? О варвар!..

— В этакое божество! — прибавил другой так тихо, что кучер с трудом мог расслышать это восклицание.

— Не правда ли, это смешно? — спросила Елизавета Тарасовна.

Удивительно смешно!..— И офицеры захохотали.

Елизавета Тарасовна тоже засмеялась.

1844 г.

СОДЕРЖАНИЕ



Редактор *А. Гуреев*
Худож. редактор *К. Золотарева*
Художник *О. Фаерчук*
Техредактор *А. Соколов*
Корректор *С. Каминская*

БФ03851. «Радянський письменник». Сдано на производство 11/III 1954 г. Подписано к печати 17/VII 1954 г. Бумага 84 × 108/32 = 5 бумажных, 16,4 печ. листов, 17,4 уч.-изд. листов. Заказ 542. Тираж 100 000. Цена в переплете 6 руб. 75 коп.

4-я типография Управления Воениздата МО Союза ССР.